

84 (2p = Банк)

T 346

10 76 315

Алиш Вертепов



УБ  
✓  
НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОСТИ ·

Алим Теппеев

# Валля

РОМАН

Перевод с балкарского  
И. Каримова

Наб.-Балк. республ. ордена и научная

**БИБЛИОТЕКА**

имени Н. К. Грузинской

г. Пятигорск, ул. Герцена 42

МОСКВА  
«СОВРЕМЕНИК»  
1986

1076315

С/1000/2

84Кав7

Т34 **Б**

Рецензент А. СКАЛОН

Т 4702100000--295  
М106(03)—86 253—86

---

## I. ЗЕМЛЯ И РОД

Три вещи были неизменны для мальчиков  
шум реки внизу, за откосом двора,  
отвесные скалы, нависающие над домом,  
и белая борода старика.

Река несла свои воды в неведомые края—стоя над обрывом, мальчики видели, как белые волны спешили, убегали вниз. Почти всегда тревожные, они словно боялись, что не достигнут в срок заветных пределов: тех, что за краем земли,—если уж вода выходит из самых глубин ледников, то она обязательно должна достичь тех пределов. В ясные дни, провожая волны в дальний путь, мальчики видели свои колеблющиеся отражения на отесанном и отглаженном ледяной водой ложе реки; каменные ступени—то ли спускающиеся со двора прямо в воду, то ли из воды выходящие—тянули их к грозному, всегда пенному водовороту так, что слабели ноги; но они боялись этого зова, потому что в глубинах, омываемый струями водоворота, лежал затаившийся зверь, ждал их опрометчивого прыжка, ждал до поры до времени; он был хитер, этот зверь, и терпелив, это было терпение ледника; струи воды ударялись о бок зверя и набирали скорость и оставляли крупицу терпения, которую они вымывали из толщи гор и ледников, но старик был мудрее его, наперед знал, что надо делать мальчикам, чтобы зверь не застиг их врасплох. Река шумела летом и зимой. Ночью, когда мальчики просыпались, они бежали во двор, и невероятные изгибы тонких струй, летящих из обрыва, уходили в шум реки, и они, еще радуясь этому, ныряли обратно в свой овчинный закуток, засыпали, повернувшись на другой бок, всем сонным телом вдыхая покойный запах нагретой постели. Но в другой раз их будил грохот в скалах, мальчики, еще скованные сном, соображали не сразу и, наконец, поняв, вскакивали с постели, выбегали во двор. Река стонала, билась о кручи, ее боль, ее смятенные яростные удары в каменные берега, невыносимо жавшие ее с двух сторон, уходили в скалы и там многократно разрастались в

мощи своей. Вода поднималась, уже цеплялась за край высокого обрыва, касалась ног мальчиков, а они (как и вода — от силы и слепоты) не знали, куда идти, и, захлебываясь от восторга, бегали по воде, кричали и пытались изловить в темноте, уцепить из того, что катила, крутила, подминала под себя вода, пока кто-нибудь из домашних не просыпался и с проклятьями не уводил их в дом.

Но река продолжала шуметь, скалы нависали над домом и старик все так же сидел на своем кленовом чурбане, застланном овчинным аппуном<sup>1</sup>.

Река,  
скалы,  
и старик—

отделившиеся от остального единого, цельного мира, который до поры до времени не имел ни своего вида, ни названия. В них был смысл прихода мальчиков *сюда*, и они существовали только потому, что мальчикам надо было купаться, лазить, узнавать. Зимой, там, где река высвобождалась из ига камней и, даже не успев расправить плечи и отдышаться, попадала под другой гнет, еще жестче и крепче, — гнет льда, мальчики катали хайнухи<sup>2</sup>, сначала, как и все, кленовые, а после того, как дядя Ордан приехал однажды к ним и погостил несколько дней, — и костяные. Из чьей кости дядя Ордан вырезал хайнухи, мальчики не знали, но белые, тяжелые, гладкие, они давали такие дикие обороты и гудели так, что сразу же стали предметом зависти всех ребят, даже Шабатая, княжеского сына, у которого тоже был лишь кленовый хайнух. Летом они лазили на скалы, сначала только над домом, на глазах у старика, потом им позволяли подниматься выше. Когда мальчики уже могли сами седлать ишачка, гонять телят на водопой, за ними перестали следить вовсе. Теперь они поднимались на скалы все выше и выше, до тех пор, пока не теряли из виду аула и от голода и усталости не начинала кружиться голова. Так они росли, перегоняя друг друга, перебарывая и превосходя, — два мальчика, два теленочка, две радости и заботы старика. Два мальчика-близнеца из рода Жандаровых — Жансох и Каншау, похожих и непохожих, зачатых в один и тот же миг и рожденных из чрева одной матери в один и тот же вечер, когда шумела эта река, когда нависали эти скалы над домом и когда старик сидел на кленовом чурбане во дворе — в молит-

<sup>1</sup> Аппун — подушечка, которую кладут на стул для старших.

<sup>2</sup> Хайнух — юла, кубарь, его катают по льду, раскручивая кнутом лучше всего из козьей сыромятки.

ве ли, во сне ли — и просил у бога внука, хотя он и без того был уверен, что у Коналия, как и у всех Жандаровых, будут сыновья, и будут они правильными людьми, и сами никого не будут обижать, и не дадут в обиду ни рода своего, ни аула своего, ни народа своего; но старик желал первенца-внука, и поскорей. В ауле Жамауате и прежде говорили, что «аллах благоволит Жандаровым». Он и на этот раз подтвердил неслучайность жамауатского присловья, наградив Коналия не первенцем, а первенцами. Теперь они росли, спешили, уже предъявляли к жизни своей спрос; похожие и непохожие, бестолковые и смышленные, унаследовавшие черные глаза у матери, непоседливость, неизменную тягу к дереву и к камню у Жандаровых—первенцы эти продолжали Жандаровых, но считали, что только они-то по-настоящему и начинают их, и тропинки, некогда проложенные Жандаром в этих местах, уже пора проложить по-иному. Они были одного роста, и мать их Кундуз шила им одинаковые рубашки, и поясы, и чабуры<sup>1</sup>, и шапки тоже были одинаковые, а потому и общие; братья не разбирались, какая рубашка чья и какие два чабура из четырех, оставленных у порога, он надевал вчера; те, которые больше нравились, надевал тот, кто раньше вставал и успевал раньше, и это тоже было упорным и постоянным соперничеством братьев. Они были похожи, как и положено близнецам, но была и несхожесть, смутная, неуловимая, никто не мог бы ясно сказать, в чем она, эта несхожесть, но она сразу бросалась в глаза. В одно и то же время одни и те же сказки рассказывали им, в один и тот же день из одного и того же полотна шили рубашки, одинаковыми делами были заняты их дни — катали хайнух, купались в реке, лазили по скалам, пасли телят. Но одни и те же сказки они воспринимали по-разному—один страдал, другой ликовал; но одинаковые рубашки сидели на них неодинаково—на одном строго, будто он каждый день надевал ее впервые, на другом просто и свободно, словно он и родился в ней; но одинаковые хайнухи крутились под их яростными ударами различно—у одного хайнух застывал на месте, лишь мерный, скользящий гул выдавал, что он крутится, у другого кособочился, бегал и переваливался, словно в танце; одних и тех же телят пасли они, но при одном—телята резвились, больше бегали, чем щипали траву, и пастуху вечером доставалось за то, что он плохо пасет телят; при другом—телята ели не поднимая головы, домой возвращались сытыми, и пастуха ожидали пох-

<sup>1</sup> Чабуры — обувь из сыромятной кожи.

валы за умение. Один лишь старик понимал, в чем неискоренимое и не подвластное никакой силе сходство и различие братьев: на одном лежала печать трагической судьбы, на другом—кровь и пот долгой дороги. Но он был дедом мальчиков и очень строго любил их.

Дед никогда их не бил, но мальчики всегда боялись, что побьет. Отец, когда рядом был дед, говорил с ними не прямо, а через мать, мать же не уставала напоминать им, что если они плохо исполняют порученное дело или где плохо будут вести себя, то дед побьет их. Случалось, что они заигрывались, забывали сделать порученное дело, бывало нечаянно, не подумав, совершали недостойный поступок, тогда палка деда и впрямь грозно поднималась над их головами, но на этот раз дед не бил, откладывал. Мальчики же, совершив проступок, горько раскаивались в нем, меряли тяжесть своей вины тем, как отнесется дед: побьет, поругает или заставит самим же свой грех и исправить. А может—и поругает, и побьет, и заставит исправить. Чаще всего дед так и поступал—ругал и заставлял исправить хоть днем, хоть ночью; надеяться на то, что он забудет, отложит, а тем более простит, не стоило; самое тяжкое для мальчиков было то, что исправлять недоделки вместе с ними шел и дед—если это было возможно, если не было связано с другими людьми. Только в мальчишескую драку не вмешивался дед, слушал, улыбался и качал головой. Мальчики старались не сплеховать перед дедом, не озлить его, но если случалось—случалось вопреки их воле, и он, этот последний поступок, расценивался самими мальчиками как самый тяжкий во всей цепи их провинностей, потому что каждый новый грех приходился на новый круг их жизни, более взрослый и сознательный, а значит, уже не от неведения совершался сей последний грех, а от нежелания или легкомыслия, а это уже касалось чести не только их самих, но и деда, а дед—внуки уже понимали это—воплощал в себе род. Он и был родом. Мальчики помнили это, старались делать как лучше, но иногда получалось наоборот, и наступал день, когда дедова палка грозно вздымалась над их головами... Для мальчиков не имело значения, кто из них виноват: за любое дело, хорошее или плохое, доброе или злое, совершенное кем-то одним или обоими вместе, дед и хвалу и хулу воздавал по ровну, ибо брат не должен при другом брате вести себя плохо, несправедливо, непочтительно, нечестиво. Когда дед, грозя палкой, поучал их так, Қаншау обычно слушал молча. Родившийся вторым, он был за старшего, его первым хва-

лили за успехи братьев, но и первым отчитывали за проделки, он лишь опускал голову — и когда ругали, и когда хвалили; чаще попадало из-за Жансоха — он был горяч и, взрослея, затевал опасные игры или исчезал куда-то и возвращался домой, как теленок с пахоты, еле ноги волооча. Но Жансох был и находчив, всегда искал и, к удивлению Каншау, находил оправдания любым проделкам, чем и смущал деда. Так шли дни, река несла свои воды в неведомые края, мальчики росли, уже приходили с первыми синяками под глазами, уже сами седлали ишачков и привозили первые вязанки дров, уже знали многие места в долине по названиям, и дед уже поговаривал об учебе, о черноте корана и сам давал им первые уроки намаза.

Дом — возле каменной скалы, сложенный из камня, огороженный каменным забором, с переулком, поднимающимся по каменным ступенькам, — стоял на высоте; с его двора был виден весь аул Жамауат, рассыпавшийся по пологим склонам долины Жандара, — все четыре его части: Езень, Кюнлюм, Чегет и Ажока. На той стороне долины, в ауле Чегет, возвышался двухэтажный дом князя Айдарука, это был единственный в этих местах дом с белыми стенами, крытый красной черепицей, широкий его двор выходил на берег реки и тоже был обнесен высоким каменным забором. По обеим сторонам крыши высоко вздымались два выкрашенных зеленой краской полумесяца, выкованные, как пояснил дед, из железа. Они, эти зеленые полумесяцы, были первым открытием и первым удивлением Каншау. Дед сказал, что это — знак верности аллаху. «Но разве мы не верим в аллаха? Почему над нашим домом нет железных полумесяцев?» — спрашивал он. «Мы не князья, мы простые люди, зачем нам железные безделушки?» — отвечал дед. Так мальчики узнали, что кроме шума реки, белых скал над домом, надежного всезнающего деда есть еще и князья — люди, непохожие на других людей. Но они играли вместе с мальчиком из того дома, Шабатаем, и не чувствовали разницы между ним и другими мальчишками; однажды они подрались из-за ржавого ножа, найденного на дне реки, и Каншау побил Шабатаю, тот заплакал и ушел, нож достался Жансоху; Каншау и побил-то его из-за каприза Жансоха, который захотел взять этот ржавый нож себе. Никто не пришел в дом Жандаровых с жалобой, как иногда бывало после мальчишеских драк, и Каншау не вспомнил бы о той ссоре, если бы из-за этих полумесяцев высокий белостенный дом и те, кто жил в нем, не приобре-

ли какой-то иной, таинственный смысл. Железный полумесяц над домом не нес в себе превосходства, не был он и знаком беды, но придавал дому какую-то притягательность, делал его таинственным и оттого желанным. Взрослея, Каншау жалел даже, что побил Шабатая, его вины не было, мальчишки даже не помнили, кто заметил первым и кто достал, но Жансох уперся на том, что нож его.

На восток по склону и на север к ложбине от княжеского дома сплошняком шли каменные дома с плоскими крышами; если ряды домов, идущие к северу, как-то можно было различить, то дома, спускающиеся к ложбине, казались террасами скал, которые стояли позади Чегета, продолжением их. Кривые, зажатые каменными оградами переулки мало чем отличались от изрытых ливнями расщелин на склонах. Прорезанные потоками, загаженные скотиной, узкие, каменистые, они, однако, хорошо и надежно служили жителям этих каменных жилищ — и тяжело груженные арбы проходили по ним, и всадники проезжали, и ослы семенили под большими вязанками дров. С восходом вечерней звезды низинный ветер приносил запах густого кизячного дыма, идущего из плетеных, обмазанных глиной кривых дымоходов, торчащих над плоскими крышами прижавшихся к скалам домов. Может, сам по себе кизячий дым ничего и не значил бы для мальчишек, но он долетал, смешавшись с зовущим, протяжным голосом муэдзина; мальчишки его никогда не видели, но, как и шум реки, голос муэдзина всегда стоял в ушах, услышав его, они замирали, точно задохнувшись от кизячного дыма; мальчишкам казалось, что муэдзин знает все — все то, что есть между небом и землей, знает и видит, оттого его голос звучит как небесный глас, всеохватный и всепроникающий. Вырвавшись из тесноты похожего на плетеный дымоход минарета, он достигал всех щелей, всех дверей, всех закоулков Жаматуата — и кого где настигнет, завладеет им полностью, смутит, озадачит, напомнит о суетности всех мирских забот, заставит вернуться к истине, к богу; непонятные, страшные, но и такие близкие, сердобольные, эти небесные слова муэдзина проникали в душу, люди повторяли их, благодарность и раскаяние переполняли их, каждый был готов в любой час пожертвовать собою ради этого заступничества всевышнего — милостивого, милосердного, единственного; под зовущий и остерегающий голос муэдзина они молились на ходу, в постели, за едой, за вечерней дойкой коров, за кормлением ребенка, молились губами, глаза-

ми, сердцем, помыслами. Путники останавливались там, где настигал голос с минарета, спешивались и, если поблизости не оказывалось воды для омовения, довольствовались землей — священный коран разрешал и землей, ее, как и воду, создал бог, — после чего тут же, на траве у обочины, в поле, на камне — все равно где, располагались, устраивались на намаз. Даже река была бессильна заглушить этот голос, этот вышний всепроникающий глас — и река в этот час замирала. А здесь, в доме Жандаровых, особенно пронзительным становился звон капли, источавшейся из задней стены; словно и капель, и муэдзин черпали силы из одного родника, из одного источника, и потому в один и тот же час они вдруг обретали одинаковую проникновенность, остроту и точную соотнесенность силы удара и звучания; это была единственная капель в доме — в скале, в нише, падала в стоявшую там деревянную чашу зимой и летом, днем и ночью, с одним и тем же промежутком, с одним и тем же коротким тяжким звоном; когда Коналий строил дом, скала была сухой, не было и следа сочащихся вод или малой хоть сырости, а потом в год рождения близнецов именно здесь пробилась и закапала вода. Коналий вырубил нишу, подставил под капли деревянную чашу-гоппан; за день она наполнялась черной студеной водой, и чаша казалась бездонной, потому что в каждой капле была глубина, пили сами и давали соседям; вкус воды был необыкновенным — и говорили о ее лекарственной силе; дед же считал ее божественным посланием, так что переносить дом на другое место и не думали. Коналий был счастливым хозяином и счастливым отцом — в один год получил и скальный источник, и сыновей-близнецов. И снова в Жамауате говорили о роде Жандаровых с почтением и завистью, и снова в Жамауате никак не могли понять прихоти богов, дарящих благополучие и знак избранности тем, кто вовсе не отличался особой приверженностью им. Бури и ураганы трепали этот род, обвалы обрушивались и молнии испепеляли построенные им дома, языческие боги отворачивались от него, аллах гневался, но род всегда выбрасывал новые побеги, не колючие, но суровые, так как расти им предстояло на каменистой почве. Коналий же знал одно: всем ведает и правит аллах, если же судьбе было угодно, чтобы из задней стены дома пробилась вода, то это к добру — быть, значит, здоровым, сильным и везучим тому, кому суждено родиться и жить в этом доме.

Капель была всегда, мальчики не слышали ее, как не

слышали стука собственного сердца, но когда и дед, и отец, и мать становились на намазлыки<sup>1</sup>, эти капли били как божьи удары — пронзительно и предупреждающе; а вечером в полутьме дома и вовсе становилось страшно: шепот губ, глубоко скрытых в бородах отца и деда, пугливое, растроганное покаяние матери, потрескивание горящих в очаге сухих чинаровых дров — и эти резкие удары. Мальчикам казалось, что происходит незримая, сокрытая от их глаз борьба между их близкими и посланниками аллаха. Охваченные этой войной, обессиливающей, изнуряющей, но и одухотворяющей всех взрослых — деда, отца и мать, мальчики стояли и, покуда совершался намаз, не могли ни сдвинуться с места, ни шевельнуться. Страх ли, удивление ли, а может, то и другое вместо сковывало близнецов, превращало в каменных истуканов. По велению деда они должны были все это время повторять про себя «аминь», но мальчики не помнили, говорили они это слово или нет, — но задолго до совершеннолетия, до того часа, когда, доказав своими ответами свое знание шариата, что они мусульмане и теперь должны встать на намазлык, должны молиться и просить бога о прощении независимо от того, грешны они или никакого греха не совершали, всегда просить о его милосердии, с его именем ступать за порог дома, браться за любое дело, — они хорошо запомнили власть муэдзина, власть его зова; запах этой власти был запахом кизячного дыма, густого и спокойного в вечерние часы, — в изнурительные дни весенней пахоты и летнего сенокоса.

А потом в один год произошли два события, которые сделали мальчиков намного взрослей. Первое из них случилось в день месяца мухаррам<sup>2</sup>. Правда, оно не было неожиданным — дед говорил об учебе давно. Но когда настал день и Кундуз одела их во все чистое, они почувствовали, какой это праздник. Уже был куплен букварь — аптеюк, один на двоих, отец отдал за него овцу с ягненком, аптеюк был новенький, буквы большие, еще больше, чем в дедовском коране; и еще два дефтера — тетради для упражнений в письме, большие с желтыми листами, с такой же, как и на страницах корана, каймой по краям. Дефтеры были куплены по настоянию Адея-эфенди<sup>3</sup>, он собирался обучать

<sup>1</sup> Намазлык — коврик для молитв, выделанный из козьей шкуры.

<sup>2</sup> Мухаррам — первый месяц мусульманского календаря (май — июнь).

<sup>3</sup> Эфенди — здесь: учитель медресе.

не только чтению, как делали до него в мектебах<sup>1</sup>, но и письму. Дед шел впереди, торжественно переставляя свою палку, пропустив одну руку под шубой, оглядываясь, вопрошая взглядом: видят ли жамауатчане, как он ведет своих внуков на учебу в медресе к Адею-эфенди? Жамауатчане, конечно же, видели Науруза, уважаемого человека, приветствовали его и желали добра его внукам. Первым вслед за дедом шел Жансох — засунув руки в широкие карманы домотканых шаровар, гордый и готовый учиться как надо; всем своим видом показывал он, что уже вырос и созрел для келама — учения пророка. Каншау шел позади него, как бы собирая взгляды людей, из-за каменных оград приветствовавших деда. Жансох шел и показывал свое шествие. Каншау шел и старался видеть, как их провожают. Он словно стеснялся своего участия в этом шествии, неловко перекидывал котомку с аптеюком и дефтерами из руки в руку. Мальчики были одеты в белые домотканые рубашки, в шаровары из домотканого же сукна, только коричневого, шапки из нетугого, переросшего курпея ладно сидели у них на голове. Так шли внуки уважаемого Науруза — в Кюнлюме все знали, что старик ведет их в медресе Адея. В долине Жандара оно было первое — медресе Адея, и быть первыми его учениками, конечно же, большая честь. В Жамауате давно верили в аллаха, давно уже не обращались с просьбами к родовым камням — иные уже не боялись и помочиться, надежно укрывшись за их горестным молчанием, но медресе открыли только теперь. До этого учение было лишь в мектебе при мечети, и сам Адей учился там. Эфенди, который там втолковывал им келам пророка, с ликованием говорил, что жамауатчане, слава аллаху, своих языческих богов превратили в места, где справляют нужду, но дальновидные жамауатчане считали это плохим знамением — помочившийся сегодня у родового камня завтра не постесняется хорошо покласть и под дверями мечети, камень-то свой, а мечеть хоть и божественный дар, но извне. Известно: орошая своей струей прошлое, лицом к будущему не встанешь. И еще известно: стоя спиной к дороге, никто никогда вперед не шел.

По пути к ним присоединился Хассеит, сын Омара. Невероятно худой, утянувшийся вверх, как молодое деревце в чаще, он шел один, без сопровождающих, никакого пыла,

---

<sup>1</sup> Мектеб — школа низшего разряда, медресе — разрядом выше.

никакой торжественности, будто шел не на учебу, а в лес за дровами.

— А, сын Омара? — сказал дед. — И твои руки чешутся по балаке?

Мальчики переглянулись: они уже слышали, что самое страшное в медресе — не эти немыслимые крючки, привязки, дужки арабского письма, а балака — это когда того, кто пришел в медресе не подготовившись, бьют жгутом по ладони. Дед ласково потрогал палкой Хассеита по узкой спине и опять же палкой показал, чтобы он шел рядом с Каншау. Во дворе приземистого, словно наполовину ушедшего в землю, каменного дома еще никого не было. Дед Науруз подошел к двери и, послушав с минуту, крикнул:

— Адей-мадей, почтенный эфенди!

Не получив ответа, он толкнул палкой, и все звуки потонули в возмущенном скрипе тяжелой, треснувшей в нескольких местах двери. Дверь была под стать каменной кладке — серая, шербатая, мощными петлями-перекладами прикрепленная к грубо обтесанному косяку. Первое, что, войдя, ощутил Жансох, был холод; чувствуя, как озноб пробирается по жилам, он повернулся к деду и глянул на него укоряюще: мол, зачем ты привел нас сюда? Но вслух сказал:

— Это и есть твоя хваленая медресе? — и палка деда поднялась над его головой.

Жансох отошел, посмотрел по сторонам, надо было обследовать окрестности — на случай, если придется бежать. Он уже чувствовал, как в нем зреет желание оставить медресе — если там будет холодно, если Адей вздумает наказывать его балакой. Каншау молчал, он волновался все это время. От тяжелого скрипа дверей он вздрогнул — так он вздрагивал, услышав протяжный голос муэдзина; но голос муэдзина звал к милосердию и верности, а этот язвительный трескучий скрип был как клич сура<sup>1</sup>, как приговор. Хассеит, сын Омара, все шмыгал носом, издавая при этом протяжный страдальческий свист. Когда с кораном в руках вошел Адей-эфенди, дед Науруз уже осмотрел все внутри. Нет только разной домашней утвари — а так обыкновенный дом, с очагом для огня, с нишами в стене для священных книг, с каменными подставками для бочек с водой. По земляному полу расстелены кийизы<sup>1</sup> — дед Науруз знал, что их валяли, катали женщины, чьи дети будут учиться в ме-

<sup>1</sup> Сур — мифический музыкальный инструмент, звук которого разбудит мертвых в Судный день.

<sup>1</sup> Кийиз — кошма.

ресе, здесь и кийиз его снохи Кундуз, кажется, вот этот. На кийизах тремя рядами стояли невысокие табуретки, еще новехонькие, пахли свежим сосновым духом. Когда Адей-эфенди появился в дверях, дед Науруз не пошел ему навстречу, а присел тут же на табуретку, пригласил и эфенди сесть рядом. Он молчал, Адей ждал. По обычаю, он не имел права говорить первым, покуда не заговорит старший.

— Благодарение богу, есть у меня два мальчика,—сказал наконец старик.— Аллах дал их мне, теперь я отдаю их тебе. Будь строг, эфенди! Кто с детства не научился трудиться — потом хорошим человеком не станет. А познание корана тяжкий труд! Камень ли тесать, коран ли читать — все едино. Мальчики здоровые, правильные — строгость твоя будет им в пользу...— Дед помолчал, подумал еще, глядя в землю, и, как бы советуясь с землей, сказал: — Начинается новый век, что он нам сулит — мы не знаем, а мужчины должны быть готовы ко всему.

И ушел. Не выслушал ответа эфенди, не взглянул на мальчиков во дворе — он пошел, выставив грудь, все еще широкую и крепкую, все так же торжественно переставляя палку. Белая его борода, полная радости, достоинства и благодарности аллаху, развевалась на ветру. Он жил как жил, ходил по этим тропам, работал, не жалея себя, как человеку и положено, зла не чинил, на чужое добро не зарился, всегда, во всех своих делах, в счастье и в беде помнил аллаха — помнил о судьбе и бренности жизни. И аллах не обошел его своим милосердием — дал двух сыновей и дочку, потом и внуков, которых сегодня он сам отвел в медресе. Он шел, и шаги его становились быстрее, а перелеты палки стремительней и четче.

В медресе в это время уже собрались все будущие сохты<sup>1</sup> Адея. Они сидели на низких табуретках и ждали изъяснения первой воли эфенди: лица напряжены, даже растеряны, лишь один Хассеит все шмыгал носом, но и страдальческий посвист в его носоглотке теперь был исполнен веры и послушания. Впереди сидели трое: Жансох, Шабатай и сын Ерюзмека Мурай, а уж за ними остальные — Алихан, сын самого Адея, Қаншау, Хассеит, Қочар, сын Шамуюка, и Тарох, сын Хута.

Адей стоял над ними — выше среднего роста, крепкий, ладный, одетый добротню, по-горски, с рыжеватыми коротко подстриженными усами, лицо и голова гладко выбриты, крепкие, сшитые на кабардинский лад генчарыки вы-

<sup>1</sup> С о х т ы — ученики.

крашены в черный цвет, коричневые ишимы-гетры перевязаны подколennыми поясочками. Его длинный, до колен, бешмет также был скроен умелой рукой, окаймлен тьюмечалыу — самодельной круглой тесьмой.

Он стоял с кораном в руках и пристально смотрел в лицо каждому мальчику, двое только выдержали этот взгляд — Мурай и Жансох; Мурай и Жансох, как бы споря между собой на выдержку, смотрели на учителя не моргая, как два волчонка, вдруг увидевшие чужого в своем логове, — смотрели бы и дальше, но учитель перевел взгляд на других. Он смотрел в упор, подолгу, изучающе, словно читая их мысли; то, вспомнив что-то, улыбался, то хмурил брови, возвращаясь к какой-то своей тревоге. Так он посмотрел на Хассента и подумал, что там, в том месте, где сейчас находились мысли мальчика, должно быть очень интересно, или он там чем-то провинился — Хассент не ощущал на себе пронизывающего взгляда учителя, и его рот чуть ли не от уха до уха тянулся в улыбке — не радостной, а настороженной; блестящий от проступившего пота нос, казалось, растет и все больше вылезает на длинном худом лице. Солнечные лучи проникали сюда лишь через небольшие оконные проемы под самым потолком, и у сидящих здесь освещалась только одна сторона лица, другая казалась темной и безжизненной, словно обожженная оспой. Адей хорошо знал большую семью Омара, был рад, что тот решил хотя бы одного ребенка в семье выучить грамоте, но растерянный и отсутствующий вид Хассента вызвал в нем жалость, он подумал, сумеет ли этот немощный ребенок уважаемого Омара одолеть коран и науку о природе. Адей, открывая медресе, мечтал, что дети Жамауата получают в нем образование, пусть малое, пусть всего глоток, но чтобы в этом глотке им открылся вкус жизни. На большее его не хватит, вряд ли он, Адей, сумеет то, чего не сумел сам князь Айдарук. Но он попробует: все то, что он вычитал из книг, усвоил в своих странствиях, он постарается передать этим мальчикам, так он продолжит неудавшуюся затею Айдарука, благо, он уже имеет кое-какой опыт, и у него есть единомышленник — сам князь. Если Адей сумеет поставить дело так, как задумал, князь найдет и пригласит за свой счет учителя, уже настоящего. Адей вздохнул и отвел взгляд от Хассента. Остановившись глазами на Шабатае, он ничем не выказал почтения, которое испытывал к его отцу, Айдаруку, ничем не выделил его, лишь строго предупредил взглядом,

что никаких поблажек не будет — что с других, то и с него, с него даже больше. Другой княжич — Мурай, сын Ерюзмека, смотрел на него живыми дерзкими глазами, угадывалось, что он уже осознает свою избранность. Учитель тоже заметил про себя, что это не пустое, не зря мальчик полон достоинства, при случае свое превосходство он готов доказать силой и умением. Такой, если придется защищать свою честь, не отступит и перед смертью, подумал эфенди. А эти двое — Кочар и Тарох — были из самых бедных в Жамауате. Шамуюк, отец Кочара, прозванный за лень и обжорство Аштапар-обжора, с охотой трудился лишь на одной ниве, урожаем с которой являются дети. Он так преуспел в этих трудах, что, казалось, и спит и ест он так много днем лишь для того, чтобы набраться как можно больше сил для своих ночных радений, но, как праздная птица, он лишь откладывал яйца, других забот не имел, хотя и следовало бы; жена его с красивым именем Ариука — что и значит «красивенькая», в этой страде растеряла всю свою красоту, кожа задубела, почернела, присохла к ее стройным костям, и сносно Ариука выглядела, лишь когда носила. Адей посмотрел и понял, что поначалу он не разглядел, не уловил истинного состояния Кочара. Поначалу увидел только рано озлобленные, жесткие глаза, ничего, однако, не выражающие — ни светлого порыва постичь вещи посулы аллаха, ни затаенного гнева на тех, по чьей вине он родился в бедной семье; не было, как показалось вначале учителю, ни стыда за свои лохмотья, ни зависти к своим сверстникам, одетым лучше. Но Кочар дрожал и, силясь скрыть свою дрожь от других, поеживался, будто от холода, идущего от каменных стен медресе, но крепко сжатые кулаки, торчавшие из обтрепанных коротких рукавов старого залатанного бешмета, беспокойно лежащие на коленях, выдавали его. Тайная эта дрожь изнутри выбелила его лицо. Эфенди, удивленный своим открытием, смотрел на него, и Кочар под взглядом учителя все ниже опускал голову. Вдруг он, как человек, который вдруг увидел на полу, в узорах кийиза под ногами, что-то ему предначертанное, вскочил и, не зная, как быть, что делать, обезумевшими глазами уставился на Каншау. Тот сидел не шевелясь, не поднимая головы, но все видя и все замечая, казалось, он всем телом чувствовал учителя и своих товарищей. Но почему Кочар вскочил, как застигнутый врасплох вор, он не понял, однако, как при вспыш-

ке молнии, он увидел его бледное, тревожное лицо — и запомнил это навсегда.

— Садись, Кочар, — мягко сказал учитель. — Аллах увидит твои старания и поможет. — Это были его первые слова перед учениками.

Кочар не сел, а повалился как скошенный. Жансох, не отводивший от Кочара взгляда, прыснул от смеха. Глаза Кочара вспыхнули недобрым огнем, он ничего не сказал, только сильнее прижался к холодной каменной кладке.

Отец же Тароха — Хут умер рано, сгорел в работе. У него был сенокосный надел над высокими скалами, подхода туда не было ниоткуда, но трава там росла буйная и сочная, а Хут был человеком хватким, никогда не унывал и своим сенокосным наделом был доволен. Он брал косу и карабкался на скалы. И если из долины порой видели на высоких скалах острый просверк, то знали — коса блеснула, Хут косит. Он скашивал траву, складывал сено в стога, стога сбрасывал со скалы, а там внизу, когда складывал стога заново, он даже пел — отчего бы и не петь, если теперь до дома рукой подать и дорога ровная. Можно тюками на ишачках, можно и возами на арбах. Так Хут обеспечивал свой скот добрым сеном, покуда однажды, сбрасывая стога со скалы, не зацепился за что-то и вместе с сеном не съехал вниз. Кровь так перемешалась с сеном и запеклась, что потом, когда его обмывали, чтобы многострадаальный Хут там предстал очищенным от земной грязи, обмывальщикам пришлось долгие часы кропотливо выбирать сено из его ран. Хут поздно женился, рано умер, оставив своей жене шесть душ детей — Тароху, самому старшему, было всего девять лет. Теперь Тарох уже сам косил над скалами, но он-то, прежде чем начать косьбу, привязывал себя длинной веревкой — единственная мудрость, которой сам Хут не имел, не оставил своему сыну. Из здесь, в медресе, Тарох был старше всех мальчиков, он стеснялся своей одежды и своего возраста. Он боялся, что вдруг Адей, сославшись на бедность семьи и на его, оставшегося за отца, домашние обязанности, не примет его и отправит домой. Он старался показать себя меньше, чем есть, и все прятался за спину Қаншау. Но Адей отправлять домой никого не собирався. Дождавшись тишины, он прочитал фатих — первую суру корана. Он читал глубоким голосом, четко и ясно произнося каждое слово, строго соблюдая единство аятов<sup>1</sup>; мальчики, захваченные пением учителя, замер-

<sup>1</sup> Аят — стих корана.

ли, исполненные чувством первородного греха. Прочитав фатих, Адей сказал:

— Два пути у каждого человека на земле: путь в жаннет и путь в жаханнам. И в воле каждого избрать любой. Земной грех ведет в жаханнам, где человеку гореть и страдать вечно; доброе же дело откроет ему дорогу в жаннет, где каждому уготовано блаженство и вечный покой. Однако добро можно добывать лишь в поте лица — как воду из камня. Творящий добро — кровью исходит, и, однако, плата за него редко наполнит даже его обеденную чашу. Мало того — тяжкий труд во благо добра не исходит золотым сиянием, тогда как зло непрестанно влечет человека обещанием легких вершин власти, богатства и покорности женщины... Неправедно свалив всадника с коня, легко стать хозяином скакуна, никто этого, может, и не увидит, но ведь есть аллах! Нетрудно и чужой стог сена завести ночью в свой загон, но ведь есть аллах! Иной мужчина, позабыв, что носит на голове шапку, может оклеветать честь женщины, и ему поверят, но ведь есть аллах! И потому нет победителя, кроме аллаха. Но самый большой грех — это грех непослушания родителям. Человек велик, если в душе у него бог. Многое он может изменить, одолеть, многое обрести, но только не родителей, ибо они даны ему вместе с землей и вместе со светом. Человек не может еще раз родиться или иметь другую родину. — Адей снова взял коран и прочитал суру о Муссе, выводящем свой народ из тьмы плена. Он закрыл коран, посмотрел на безмолвно сидящих учеников и вдруг спросил: — Теперь скажите, мальчики, кто из вас не знает своей родословной?

Сохты переглянулись в недоумении: коран и родословная. Что у них может быть общего? Учитель тут же ответил:

— Ибо наша родословная — и есть наш первый коран!

Мальчики опустили головы. Напряженная тишина и немолчимый взгляд эфенди требовали немедленного четкого ответа. Оттого, полагали они, знают или не знают они свою родословную, зависит теперь, учиться здесь им или нет.

— Кто же не знает своей родословной! Мы с братом давно знаем! — вдруг сказал Жансох. Каншау вспыхнул и с укоризной посмотрел на брата. Но тот и не думал отступать от своих слов. — Мы — Жандаровы! — Каншау покраснел еще сильнее, неужели Жансох не понимает, что учитель не о фамилии спрашивает, а о родословной! Родословной же им никто не рассказывал. — Дед нам расска-

зал, долина Жандара и все эти земли — наши! Кто не знает, пусть уйдет, а мы с братом знаем!

Но они не знали. Облокотившись о колени деда, они слушали вечерами сказки, легенды, песни, дед и загадки загадывал, и притчи на все случаи жизни рассказывал, но никогда не касался их родословной: то ли считал, что еще срок не настал, то ли все ждал чего-то. Науруз понимал, что Каншау и Жансох уже выросли, уже созрели для того, чтобы узнать историю своего рода, пора засеять их душе семенами долгой памяти своего рода, но все обдумывал, все прикидывал что-то. Дед считал: тот, кто собрался передать память своего рода следующему поколению, должен быть искусным сеятелем, умело взрыхлить почву, угадать верные сроки, чтобы проросло и возшло каждое зернышко. Важно было все — и время, и обстоятельства, и сам рассказчик; нельзя, считал он, начинать родословную, как сказку, без всякой святости, глядя на ночь, — род силен будущим, и пусть утро станет часом приобщения к этому родству. С каждым новым поколением род рождается вновь, новое поколение пускает корни и побеги, уже имея силу и устремленность рода, но не имея одного — его памяти. Дед спешил, волновался, но все откладывал.

И лишь в тот день, когда мальчики пришли, возбужденные первым днем ученья, и Каншау пожаловался на брата, навравшего эфенди, что знает свою родословную, он понял, что в сомнениях и раздумьях замешкался с очень важным для внуков делом и опозорился перед эфенди.

И, как всегда, сильное огорчение дало и прозрение. Он догадался, почему откладывал, кого ждал, чьими руками хотел бросить семена. Ордан. Именно он — человек из другого рода, не Жандаров, но родившийся от дочери Жандаровых, взошедший из плодородной почвы долины Жандара, всегда Жандаровым верный и Жандаровыми любимый.

И старик вышел к дороге, чтобы дожидаться всадника, едущего в горы. Опершись на изогнутую рукоять своей палки, он сидел у крутого локтя каменистой дороги, смотрел на еле заметные следы арб, прислушивался к звону цикад в скалах. Три дня он сидел, три дня смотрел, три дня слушал, а на четвертый день на изгибе дороги спешился молодой всадник, отдал ему салам. Науруз не спросил, откуда всадник и куда едет, лишь сказал, чтобы он нашел в горах Ордана и передал просьбу: пусть Ордан приедет в аул.

Обратно домой дед Науруз шел спокойно, заложив палку за спину под бешмет и перекинув через нее руки — так он ходил всегда, когда бывал доволен.

А еще через три дня приехал Ордан, высокий, плотный, увешанный всякой всячиной, с белой, ровно подстриженной бородой, загадочно улыбающийся — все как всегда; хурджины его были набиты сушеной олениной, медвежьим салом, шкурами разного зверья. Коналий зарезал овцу, совершив в честь дорогого гостя курманлык<sup>1</sup>. Всю ночь проговорили дед Науруз, Ордан и Коналий. Мальчики мало что понимали в мудреном разговоре взрослых, но слушали затаив дыхание. Так и уснули. Сказ Ордана, полный лесных запахов и охотничьих чудес, раскрывался им во сне. Они летели, перегоняя друг друга, в полете им было хорошо, ясней и ближе подступали места, о которых говорил Ордан. Потом они оказались над теми краями, куда спешила, куда катила свои воды река Юрду. И только в последнем полете кто-то из них задел высокую, до неба, загородку, и они, проваливаясь вместе с каменным потоком в пропасть, разом проснулись и вскочили. Над их кроватью стоял дед, в утренних сумерках было видно, как улыбалась его борода.

— Ордан уже оседлал коня, а мои телятки еще даже и не проснулись, — сказал он.

Тогда они подбежали к очагу, наперегонки надели чабуры и, прижав к груди седла и сбрую, побежали в сарай. Там их ждали лошади, взятые у соседей. Сегодня мальчики отправляются по местам Жандара, а для этого они должны сами оседлать коней — это тоже входило в ритуал, который создавал в своих думах дед Науруз. Потом старик стоял на плоской крыше дома и смотрел им вслед. Они перешли каменный мост через Юрду, исчезли в светлеющих сумерках — он помолился, поблагодарил аллаха и мысленно представил их путь.

Это было второе великое событие в этом году.

Высоко над землей ехали в своих седлах мальчики, и казалось им, что едут они за чудом. Впервые они сидели верхом вот так, в седле, и даже с подтянутыми по ноге стременами. Каншау старался быть серьезным, а Жансох уже чувствовал себя княжеским сыном. Его глаза возбужденно оглядывали все — и гриву коня, и белую дорогу, и отвесные скалы, пахнувшие в эту раннюю пору хвоей, ледниками.

<sup>1</sup> Курманлык — празднество.

— Что скажете, джигиты, если предложу вам сократить дорогу? — Ордан посмотрел испытывающим взглядом сначала на Қаншау, потом на Жансоха. — Или вы поступите, как поступил тот незадачливый джити?

— А как поступил тот... незадачливый? — насторожился Қаншау.

— Однажды несколько всадников отправились в путь, — сразу начал Ордан. — Один из путников постарше и говорит: «И путь дальний, и еды мало, кто же сократит нам дорогу?» — «Я могу сократить!» — вызвался один из молодых, спрыгнул с коня и начал рубить дорогу кинжалом.

Мальчики расхохотались, хотя и сами не знали, как же сокращают дорогу.

— Дорогу сокращает слово, а не меч! — сказал Ордан просто. — Придет время, настанет ваш черед, и вы научитесь сокращать дорогу и защищать слово. — Мальчики сели удобнее в седлах и приготовились слушать рассказ Ордана. — Жизнь человека подобно огню горит и подобно огню затухает, — начал он. — Огонь гаснет, но его тепло еще долго греет камни очага... Не осуждайте старика, он вырос в мире сказок. Когда б человек в горах у стада остался без огня и сказок, он бы спятил с ума и пошел по скалам. Когда запевал мой отец — у зимнего ли очага, на больших ли тоях<sup>1</sup>, — оживала далекая и горькая судьба, люди в горах рождались вновь, уходили в поход, на войну, и раны нартов вновь кровоточили и жгли. Жарко догорал овечий кизяк в очаге, в котле варилась жирна<sup>2</sup>, я сушил мидели<sup>3</sup> чабуров, а отец, лежа на деревянной кровати, положив ногу на ногу, тихо, словно про себя, пел... — Ордан вдруг умолк и, ругнувшись про себя, сказал: — Уже стар, да все речист не стал. Не то я хотел рассказать, мальчики. Про Жандара хотел, но видите, куда занесло старика.

В былые времена в долине Юрду буйствовала непроходимая чащоба. Веками стояли чинары, покуда не падали, подгнив в корнях. Не ступала здесь нога человеческая, да и рука его не касалась здешней травы. Судите сами, каков был лес, если даже птица не могла найти обратную дорогу к своему гнезду. Юрду в этих местах останавливала свой бег, запах ее воды смешивался с запахом гниющих чинар. Чуть левее истока Юрду из того же ледника

<sup>1</sup> Т о й — празднество.

<sup>2</sup> Ж ы р н а — похлебка из очищенной кукурузы.

<sup>3</sup> М и д е л и — соломенная подстилка в обуви горца.

брала начало другая река — Чегем. Но если Юрду уходила в дебри, Чегем нес свои воды людям, теснившимся в долинах и узких рукавах ущелья, которое он сам себе и проложил. То был обжитый, плодородный край, даже ячмень там сеяли люди, и жил в Чегеме большой древний род Хаукаевых. Дружным и сильным был род, и был в этом роду Туган — человек крепкий и мудрый. Но умирают и мудрые, и крепкие становятся слабыми. Оставшись без отца, три сына его решили разделить наследство. Помните, джигиты: земля наша велика — но велика она ледниками да неприступными вершинами. Людям нужны земли доступные и щедрые. И потому велика наша земля, да мало ее у нас. Земля-то не везде одинаковая, она, как и люди, то щедра и милосердна, то скупа и сурова. А на суровой земле и люди становятся суровыми...

Никогда не было такого обычая, чтобы при разделе наследства без доли оставался младший брат. Обычай нет, но так всегда и случается. Вот послушайте. Их было три брата: Ахмат, Ахия, Жандар. Умирая, отец завещал им жить дружно, а имущество разделить так: скот пусть поделят Ахмат и Ахия, а земля отойдет младшему — Жандару, и пусть Жандар до женитьбы живет в доме самого старшего, ибо по обычаю самый старший заменяет младшему отца. Ахмат так и сделал. Во всех делах опирался на младшего брата, и Жандар не чувствовал себя сиротой. И он злился на старого пастуха, в коше, когда тот без толку и некстати говорил, что младший в дому у старшего мил, когда работает, но бельмо на глазу, когда ест. Он возненавидел пастуха за эти злые слова, Жандар втайне гордился суровой и молчаливой любовью брата и старался быть достойным его. И был уверен, что все будет так, как завещал отец, он знал: никогда в роду не нарушалась воля старшего. Весь год он пас овец на пастбище, даже зимою редко бывал дома, когда приходил, то спал на сеновале, и ничего обидного в этом для Жандара не было, и ничего в этом для него зазорного не видели брат и сноха, для пастуха так даже привычней.

Но вот однажды он проснулся и почувствовал жажду, спустился в сенцы и, черпая воду из бочки, услышал голоса в доме. Разговор, видно, шел давно. «Я не могу нарушать завещание отца», — это говорил брат. «А это справедливо, по-твоему, — это сноха, — справедливо отдать землю ему? Чем он заслужил?» — «Как мы заслужили скот, так и он заслужил землю». — «Что скот? Нападет мор, и

нет его. А земля... Только землей силен человек. Почему отец ваш из трех сыновей лишь одного решил сделать сильным?» Брат молчал. «Чем ты не угодил твоему отцу? Может, ты был ему плохим сыном?» — «Закрой свой рот! — закричал Ахмат. — Закрой, не то я закрою!» — «Отдай его Ахие, пусть теперь Ахия кормит его. Подели с ним этих паршивых овец и отправь его к Ахие». Молчали долго. «Оба вы мне надоели, и он, и ты», — глухо сказал брат.

Жандар тихо опустил черпак в воду и вышел. Вышел, оседлал коня, взял топор, ружье брата, до самого края аула вел коня, и только там уже сел в седло.

На пятый день очутился Жандар в долине, заросшей глухим лесом. Весь день пробирался вдоль реки, ведя своего коня в поводу. Потом вышел на большую поляну, стреножил коня, повесил седло на могучую ветку, топором вырубил на дереве знаки — они потом стали родовой тамгой Жандаровых. И он пошел — в крепких руках ружье, за поясом топор, он шел по лесу и не боялся ничего. Бояться должны были его: человек с ружьем в лесу самый сильный зверь. Еще при нем в мешочке из бычьего мочевого пузыря были трут, кресало, соль, шило. И он заблудился. Заблудиться там, где и птицы не могли найти путь к своему гнезду, позора нет, джигиты. Он не вернулся к своему коню, к тавру будущего своего рода. Подстрелив молодого оленя, он развел костер и, насадив на можжевелевый прут, пожарил себе мяса. Ночью его охватила жажда, он побрел по лесу и вышел к сказочному черному роднику.

Вся ли тут правда или нет — не знаю, говорю то, что слышал, — вставил Ордан в свой рассказ. — Не думайте, джигиты, что Ордан на старости лет начал привирать, но родник Жандар нашел потому, что, учуяв запах хозяина, заржал его конь. Стреноженный конь, соскучившись по хозяину, тоже шел всю ночь и, тоже мучимый жаждой, чуть раньше Жандара вышел к роднику. Наступило утро. Жандар увидел найденный им родник при свете солнца. Тогда и крикнул он: «Быть здесь роду Жандаровых!» На третий день он заложил камень в основание будущего дома. Одним топором возвел он себе жилище — без пилы, без единого гвоздя. Он поднимался на крышу своего дома и кричал в лес: «Быть роду Жандаровых умельцами по дереву! Вечно им строить дома!» Человеку, поставившему новый дом на новом месте, дозволено говорить все!

— У-ух! — воскликнул Жансох, представив своего родоначальника.

— У джигита есть дом, есть земля, есть даже родник. Что теперь нужно? Жандар снова оседлал коня, снова взял в руки ружье и снова отправился в путь. Даже сердце коня затрепетало, он заржал, поняв, какой предстоит им путь. Ее звали Кулина, хотя можно было назвать и Солнцем. Она жила в Чегеме, неподалеку от дома старшего его брата, Ахмата. Поздно ночью подъехал Жандар к ее дому. Он спешился и заглянул в окно. Девушка сидела у очага, чесала шерсть. Старики уже спят, решил он, и тихо открыл дверь. А та — чтобы мать ее умерла — будто ждала его, не испугалась. Жандар взял ее за руку и шепнул: «Не шуми! И не забудь свою шерсть и чесалку». Он снял бурку, набросил на нее и, завернув девушку вместе с шерстью и чесалкой, легко вынес из дома.

Жандар был отчаянным, но бездумным не был. Взяв девушку на гриву коня, он не припустил из Чегема, а направился к своему другу. Въехав во двор, он, не слезая с седла, окликнул его:

— Скорей, друг, не то погоня настигнет нас прежде, чем ты успеешь спеть орайду<sup>1</sup>.

Гинадука, друг Жандара, быстро оседлал коня. Друзей не спрашивают, куда и зачем. Он посадил девушку перед собой, не подозревая, что под буркой к его сильной груди прижималась Кулина.

Утром они были там, на новых землях.

— Мир дому твоему, — сказал Гинадука, отдавая девушку под буркой в руки ее законного мужа. И он пел орайду, ведя невесту в дом. У очага он приподнял белую шаль и побледнел. И закрыл глаза. Он узнал Кулину. Жандар, не поняв, почему его друг схватился за кинжал, встал перед Кулиной. Гинадука все стоял, закусив губу, с закрытыми глазами.

— Что за кровавый дождь пошел, алан? — спросил удивленный Жандар, глянул в искажившееся лицо друга и тоже положил руку на рукоять кинжала.

— Жандар, сын Тугана, из рода Хаукаевых, — заговорил Гинадука. Он все еще стоял с закрытыми глазами, и кинжал дрожал в его руке. — Жандар, сын Тугана из рода Хаукаевых... По своей ли воле женишься на Кулине... — Он выдержал первый удар и переборол гнев.

А Жандар спешил, торжественность друга его смешила. И, смеясь, отвечал небрежно:

— Люблю! Иначе на пожар, что ли, спешил...

<sup>1</sup> О р а й д а — свадебная песня.

Гинадука стоял все так же с закрытыми глазами. Губы его о том же спросили и девушку. Но она спрятала лицо. Открыв глаза, Гинадука увидел ее отражение в выдолбленной из цельного дерева бочке с водой. В темной воде металась белая птица. В правую руку он взял руку девушки, в левую — руку друга. Он не отводил глаз от воды. Птица билась и не могла вырваться из черноты воды.

— Ну и длинная у тебя молитва, — сказал Жандар, терпя терпение.

— Да... Значит, вы любите друг друга?

— Да, любим. Еще что?

«Жандар поступил со мной подло, — Гинадука почувствовал, как лезвие само стало выползать из ножен. — Но ведь он не знал. Не знал. Я никогда не говорил ему. И он не говорил. Один из нас был обречен на горе...»

— Будьте счастливы, — сказал он глухо. Он не смотрел на девушку, не смотрел и в воду — боялся, что не выдержит. Зломыслие разгоралось у него внутри. Подлое, кровавое дело сулило оно. — Теперь вы семья в новом доме, так познайте друг друга... Я же позабочусь о жертвенном жугутуре. Попрошу его у апсаты...<sup>1</sup>

Поднявшись на гору, Гинадука снял ружье с плеча и навзначь лег на траву. Прямо над ним села на ветку какая-то незнакомая серая птица и стала чесать под крылышком. В высоте в синем небе парили горные птицы. Гинадука лежал на траве и точно впервые видел замерших в высоте орлов. «Надо быстрее уехать отсюда, — подумал он. — побыстрее, пока... пока... Не могу видеть Кулину. Не выдержу...»

Лучи высоко стоявшего солнца растянули меж деревьев причудливые кружева, играющие блики падали на траву. Гинадука прижимал к лицу приклад ружья и думал. На небе ни тучки. Та сине-серо-белогрудая птичка перестала чесать под крылышком и, только теперь заметив человека, насторожилась. Печальный человек и настороженная птица смотрели друг на друга — у того, кто лежал на земле, глаза были влажные, полные горя, глаза же той, что сидела на ветке, — озорные и любопытные.

Внизу, на расстоянии конского ржания, у родника, в пахнущем осиной доме лежали рядом дочь Шабана из рода Беккаевых и сын Тугана из рода Хаукаевых. Они думали о том, как будут жить...

— Ах, мой день, что за жизнь будет здесь, — прошеп-

<sup>1</sup> А п с а т ы — божество охоты, лесных зверей.

тала Кулина. Она просила мужа встать, боялась, что вернется Гинадука.

— А так мы будем жить... Увидишь как!

Кулина промолчала. Сильные руки обнимали ее белую шею. Не было на этой земле женщины богаче ее. Деревянный домик у родника обещал им такое счастье, какого не могла обещать и крепость из белого камня...

Холодный пот прошиб тело Гинадуки. «Или умру, или отниму любимую!» От этой мысли он вздрогнул, вскочил на коня, ударил его прикладом ружья. От неожиданного удара конь встал на дыбы, заржал. И подобно тому как вздыбившийся конь медленно опустил копыта на землю, опустился и вздыбившийся рассудок Гинадуки: «Жугутур. Ты обещал жертвенного тура. Если ты мужчина, ты не предашь друга из-за женщины!»

К заходу солнца Гинадука вернулся с убитым туром. Жандар, сидя на камне у костра, строгал новое веретено для жены. Кленовые дрова горели, треща и выстреливая острыми хвостатыми угольками.

— Пора и обратно, — сказал Гинадука, повесив тушу молодого тура на сук. — Дома ничего не сказали, исчезли среди ночи...

— Нет! — резко сказал Жандар. — Сегодня я тебя не отпущу! — Он быстро приготовил турий жалбаур<sup>1</sup> и, нанизав кусочки на можжевелевый прут, положил на жаркие угли. — Ты должен сыграть нам свадьбу. Неужто уедешь, не совершив обряда? — Не видя, что потупившийся Гинадука стоит ни жив ни мертв, пошутил: — И тебя пора женить. Хочешь, поставлю тебе дом рядом с этим? И украдем из Чегема еще одну девушку. Ты посмотри, какая тут земля!

— Нет! — почти крикнул Гинадука. — Мне и в Чегеме будет хорошо.

— Как знаешь, — Жандар не стал спорить с другом. — Но свадьбу нам сыграть ты обязан.

— Какая уж тут свадьба?..

— Не-ет, друг верный, свадебное веселье — не от множества гостей. — Жандар перевернул жалбаур на углях и показал на быстро темнеющий лес: — Березы эти стройные — будут девушками в белых шالях, валуны эти — на-

---

<sup>1</sup> Жалбаур — шашлык из свежей печени. Печень режут на небольшие куски, обматывают их тонким слоем нутряного жира, на огне печень впитывает жир.

шими танцорами! Ты сыграешь на сырйине<sup>1</sup>, я буду петь!

Переступая порог дома, Гинадука чуть не споткнулся.

— Будь счастлива, Кулина, — сказал он. — Пусть дом ваш будет многодетным и изобильным.

И все же, когда Жандар обнял его и положил голову ему на плечо, Гинадука решил остаться. Он вырезал из сухого полога стебля сырйину. Он играл, и сердце его четко выводило имя любимой — Кулина это слышала. Жандар же слышал только свирель. Он радовался, что друг желает ему добра. Он не знал своей вины, он женился на любимой. Кулина красивая была, и в Чегеме не один Гинадука, не один Жандар были влюблены в нее; желали ее многие, любил и юный князь Келемет. Но суждено было ей выйти за Жандара, самого счастливого, самого удачливого из всех любивших ее мужчин...

Когда поднялись на перевал, Ордан решил дать отдых коням. Да и самим пора было поесть. Они спешились. Каншау снял с коня недоуздки и пустил пастись.

— А что потом стало с Гинадукой? — спросил Жанох.

— Кто знает, — задумчиво ответил Ордан. — Жил, наверное, своей жизнью. Но куда не женился, в долине Юрду он не появлялся. А женился — и он в поисках счастья пришел на землю Жандара. Там уже выросло целое селение. Кулина родила четырех девочек, семерых сыновей. Сыновей женили, дочерей, как водится, выдали замуж. Единственный сын Гинадуки женился на младшей дочери Жандара — Эркехан. Затянулась и зарубцевалась тайная саднящая червоточина в сердце Гинадуки. Так оно и должно быть меж людьми.

А земли в этих краях были жирны и плодородны, воздух чистый, реки студены. Оттого и люди здесь рождались мощными — от ледниковых вод. А щедрость они наследовали от земли. Селение все дальше уходило вверх, к скалам, а пашни вниз, к долине. Дом можно поставить и на камне, плодородные же земли — священны. Поставь дом на пахоте, а зерна брось на камни — увидим, какой ты урожай соберешь. Потомки Жандара и Гинадуки знали эту истину и были хорошими хозяевами, умели ценить землю и все, что земля дает. Помните, мальчики, кто дорожит землей, тот дорожит человеком, а кто дорожит своим близким, дорожит и всеми людьми на земле. Потому что повсюду пашут землю одинаково... Оттого-то новый аул Жан-

---

<sup>1</sup> Сырйина — свирель.

дара, названный им Жамауат, скоро обогнал старые аулы Чегема, и слава его пошла к далеким землям.

...Ха, то, что называется жизнью, — река: рождались дочери, вырастали сыновья; каждый в свой срок уходил в землю, но шум реки Юрду никогда не стихал. Негоже мне говорить неправду, скажу одно: родник Жандара ныне обмелел. Извека было сказано людям: лес — молочная мать реки. Когда Жандар пришел в эти места, долина реки Юрду была густым лесом. Но лес дарил первым поселенцам плоды и одежду, дрова и жилища, арбы и колыбели. На свадьбах парни деревянными хлопущками веселили ганцующих, а в горький день на похоронной лестнице уносили тело на кладбище. Старикам лес дарил загнутые клюки, не оставлял без щедрых даров и детей: зимой потомки Жандара катались на санках, а летом лакомились красными плодами. А женщины? Доныне женщины наши славятся своими сукнами, своими кийизами, а какие тауаты<sup>1</sup> сооружали для них мастера по дереву, хотя женщины Жамауата, как и женщины любого селения на земле, не хотят делиться с ними славой. Долгою зимою, греясь у очага, где, треща, ярко горели живые дрова из леса, старики рассказывали о походах нартов. Это еще не все, мальчики! Когда на Жамауат нападали чужеземцы, самой надежной опорой становился лес. Он вставал стеной, силу придавал защитникам, прикрывал, когда неприятель наступал на Жамауат, а могучая толща леса глотала врага, на погибель свою входил враг в эти чащобы, добычей зверя и дебрей становились охочие до славы и чужого скудного хлеба иноземцы. На быках вывозили лес из ущелья, звенящие сосны обменивали на кукурузу и пшено. Хороший воз тонкостанных берез вдали от Жамауата стоил доброго арбуза, и этого арбуза хватало всем детям округи! Каждую редкость в нашем детстве мы сравнивали с тем, что мы видели, но достать не могли — и дольку арбуза носили, как семидневный месяц, вдруг попавший нам в руки, и от восторга не могли ее есть. О чем старый Ордан говорит, мальчики? Лес был силой жамауатчан, их надеждой. Свято относились они к своему лесу, не на хмель и шарманку тратили блага леса, а расходовали на жизнь. Лес отходил, уступая людям свои плодородные земли, не родники питал он доброй влагой, а людей. Жизнь людская становилась изобильней, но родники иссякали.

---

<sup>1</sup> Та у а т — ткацкий станок.

Кони ушли вниз и теперь паслись возле старого стойбища.

— Спустимся и мы к коням, там поедим, — сказал Ордан. Мальчики, взяв хурджины, последовали за ним. — Здесь стояли коши Жандара. Как думаете, джигиты, умел он выбирать места для стоянок? Глянешь вверх — луга сочной травы, сенокосы; глянешь вниз — плодородные земли... Зимой они закрыты от ветра и снежных заносов горами, летом их поит прохлада ледников. Ну, умел он выбирать?

Братья были полны гордости за родоначальника, но молчали, они помнили наказ отца: нельзя выражать своих чувств при старших. Дед Науруз тоже рассказывал о Жандаре. «Мы сами люди неприметные, но были у нас в роду выдающиеся люди», — говаривал дед. Но то ли он не знал об этом, то ли просто не хотел рассказывать — об умыкании Кулины дед не говорил никогда. Слушая Ордана, Қаншау видел солнечное утро, бьющуюся в черной воде белую птицу, кинжал, сам собой выскальзывающий из ножен, и юное простодушное лицо отца рода. И когда Гинадука, подняв белую шаль, узнал любимую и схватился за кинжал, Қаншау невольно привстал на стременах. Он понимал, что предок тогда остался жив, иначе откуда бы пошел род, но сердце его сжалось, ожидая кровавую схватку. Он продолжал стоять в стременах, пока Гинадука не срезал полый сухой стебель и не сделал свирель. Лишь тогда он опустил в седло. Мужеством жертвы назвал поступок Гинадуки Ордан, это слово запало в душу Қаншау. Гордясь своим предком, он, кажется, больше любил его друга.

Ордан хорошо помнил родословную Жандаровых. Вслед за Жандаром он назвал Окулая — тот был знаменит в ущельях не меньше самого Жандара. Вслед за Окулаем шли Ойсул, Жашу, Канамат, Толгур...

Ордан устроился на вершине большого, поросшего травой камня.

— А может, весь мой рассказ — просто сказки, небыль старых времен, — сказал он, доставая из хурджина мясо, ячменный чурек, сыр. — Ешьте, джигиты, сила мужчины в еде! — Он положил перед мальчиками мясо и лепешки. — В прежние времена, когда людей нанимали на сенокос, то смотрели, как они едят. А как же! Кто хорошо ест — хорошо и работает!

Жуя ячменный чурек с холодным мясом, Қаншау смот-

рел на Ордана. Он все хотел представить себе Жандара, и тот виделся ему похожим на этого человека — мощный, многознающий, добрый и лукавый. Ничего удивительного! Почему бы Ордану не быть похожим на Жандара? Он не из их рода, но родила-то его женщина из Жандаровых. А кровь, говорят, к крови всегда потянет.

— Вон на той поляне, по эту сторону каменного моста, лежал камень. Дожди и ветры обточили его, но, слабые, как муравьиный след, еще проглядывали арабские письмена. И глаза у меня в молодости были острые. — Ордан, нахмутив брови, глубоко задумался, молчание затянулось дольше, чем ожидалось, и Каншау спросил:

— А что было написано на камне?

— Похоже, что камень этот устанавливал границы. Он лежал на краю поля, там сходились горы и долина. Всей этой долиной, от камня вниз и до выхода из ущелья, теперь владеет князь Айдарук. Поля хорошо возделаны, хитро проложены поливные арыки — и князь берет два укуса в лето. Он человек умный, хозяйственный, князь Айдарук. Привез откуда-то неведомую траву, засеял всю долину, она хорошо принялась здесь. Вот и берет два укуса. А в годы моей юности все это было пашней. Женщины приходили сюда жать ячмень. Моя мать часто брала меня с собой. Я играл на этих склонах, лазил и на тот камень. Женщины жали серпами и пели «Эререй», мы же, мальчишки, уже ходившие в мектеб, пытались прочесть высеченные на камне буквы. Так мы вычитали всю историю, выбитую на камне, и кто-то в наших играх был крымским ханом, кто-то Казаноко Жабаги, а кто-то Жандаром Хаука. Мы рассаживались на лужайке возле камня и играли в тот тере<sup>1</sup>, о котором говорили арабские письмена.

Но что было высечено на камне? Наши земли — великие пастбища, долины, курящиеся медовым разнотравьем на склонах, нарзановые родники — издавна влекли близких и дальних любителей поживиться на чужой счет, особенно — добром малых беззащитных племен. У наших врагов в глазах темнело, стоило им вспомнить о том, что эти пастбища и ущелья, эти долины и леса принадлежат какому-то племени, у которого даже имени приличного нет — горцы, и все. Но и горцы оказались упрямыми, ничего их не брало — ни холера, ни меч. И непонятливы были эти горцы. Бывало, крымские ханы посылали им мешки из цельной бычьей шкуры, чтобы они наполнили их данью. А

<sup>1</sup> Тере — суд, собрание.

непонятливые горцы в этих мешках возвращали головы посланных. Однажды и голова самого хана, решившего наведаться в горы, вернулась на родину в таком же мешке. Об этом мы поем в песне про Ачемеца.

Однажды в какой-то год перемирия возник спор о границах между крымскими ханами, кабардинскими князьями и пятью балкарскими обществами. Старейшины пяти обществ собрались и выбрали своим посланцем Жандара. Из Крыма прибыл Баян из династии Сосрановых, из Кабарды Казанокко Жабаги. Решение того высочайшего тере и было высечено на камне. Буквы, как в святой черноте корана, и сегодня стоят перед моими глазами. То было завещание потомкам: «От Татартюпа до великих долин Кубани, от Кубани до Желурского перевала, отсюда до горы Жамбаш и печально памятной горы Канжал, подножьями спускающейся к реке Малке, — являются землями Балкарии... Да будут благословенны потомки, помнящие границы завещанных отцами владений... Тере установили: Баян из Крыма, Жабаги из Кабарды, Жандар из Балкарии. Свидетели сего установления: Агалархан из Крыма, Таучеж Керим из Кабарды, Отар Отаров из Балкарии... Последний день месяца раджаб, 1127 год хиджры<sup>1</sup>, высек слова хаким из Крыма Абдул-кади Маас...» Так мы читали высеченные на камне слова. Не было равного в горах Жандару ни по красноречию, ни по смелости, ни по мудрости.

Каншау не мог представить тех земель, о которых говорил Ордан. Но он понял, что некогда племена таулу<sup>2</sup> были могущественными, а страна их огромна. Не только эти продуваемые серым влажным сквозняком ущелья принадлежали им — были у них прогретые солнцем бескрайние поля, реки, озера. Такими тесными были переулки и дворы родного аула, такими маленькими надель, а дома тесными и серыми, что великие просторы, о которых рассказал Ордан, дальними своими пределами, казалось ему, уходили в сказочные края, которые расстилаются в воображении любого мальчишки.

— Если наши земли, если они были так велики... Почему наши аулы так тесны?

Ордан знал легенды и предания. И он видел, что жизнь в горах несправедлива и бедна, но откуда, с чего пошла эта бедность и несправедливость, он не знал.

— Видите ли, джигиты... Мы скотоводы, а скотоводу не

<sup>1</sup> 1749 год.

<sup>2</sup> Таулу — горцы, горские.

широкие аулы нужны, а луга, пастбища, сенокосные угодья...

— А тот камень? Где он? Ты его нам покажешь? — Қаншау всмотрелся в поляну возле старого моста.

— Нет камня. Будь он там, я бы давно показал вам его. Приехали люди и увезли. Мы не знаем, что это были за люди, откуда приехали и куда увезли этот дорогой для нас, балкарцев, камень. Знать, неспроста вывернули тяжелый камень из земли и увезли в дальние края. Кому-то понадобилось. Те люди, думая о своей пользе, не подумали о тех, кому был камень завещан. На кого досадовать? На них, что забрали, или на себя, что отдали? Вот мы, джигиты, говорим, что народ наш темный, — это не значит, что он не моет руки или не может зрелые плоды отличить от зеленых. Темнота наша в том, что мы, готовые на смерть биться за клочок своей земли, равнодушны к своим камням, расточительны, хотя в них — жизнь наших предков, наша память. И послом народа мы называем того, кто умеет защищать и землю его, и слово, и камни. Жандар был таким.

Глаза Қаншау горели. Он с тоской думал: а сможет ли он вырасти таким, как Жандар? Ордан замолчал. Рассказав историю камня, он вдруг приуныл. Лишь когда они доели и, оседлав коней, тронулись в путь, заговорил снова и рассказывал, куда не доехали до айдаруковых кошей в Глухом овраге.

— Жизнь шла, мальчики. И даже в это глухое ущелье начали проникать книги, хапары<sup>1</sup> из дальних неведомых стран, обездоленные люди тянулись сюда не только из Чегема, но из Кабарды, Кумыха, Карачая, искали себе уют в долине Жандара. Не зря он назвал свое становище Жамауатом — от слова «Жамаат», что означает «общество», «народ». Жандар был провидец, далеко вперед смотрел. Вам жить, вы и увидите: большая будет жизнь в этих местах...

И другое есть, джигиты. Когда аулы, сливаясь в одно, наживая свычай и обычаи, порядки и повадки, обретая свой норов-характер, начинают жить своей собственной жизнью, они хотят, чтобы и все аулы мира считались с ними. И Жамауат решил тоже обзавестись собственным князем. Ибо Жамауат без князя, считали они, что мечеть без муллы. Теперь им было мало камней и деревьев их языческого поклонения. Камней в Жамауате было два, а

<sup>1</sup> Хапары — вести, новости.

дерево Жандар сам привез из Чегема. Жандар был вольный человек, никогда ничего не просил у богов, но святыни были нужны его народу, и он решил дать народу утешение. Однажды ночью с Большого Дерева, которому поклонялись в Чегеме, он срезал поросток и в кожаном мешке с чегемской землей перенес к себе в долину и посадил у родника. А в Чегеме поднялось смятение. Пропажу единственного поростка, который выбросило Большое Дерево, заметили утром же. Когда поросток появился на свет, народ Чегема принял это как божественное знамение, ибо отвеча было известно, что идолы побегов не дают. Люди продолжали молиться Большому Дереву, но освященные их души уже целиком принадлежали слабому и немощному побегу. И вот он исчез. Это была божья кара — не иначе! Людское зломыслие не смело коснуться поростка. Страх и уныние охватили Чегем. Была еще только весна, а листья Большого Дерева стали опадать. И однажды утром несчастные чегемцы увидели, что идол их умер: голые ветви Дерева застывшей молнией торчали кверху.

В начале осени молодая женщина, бывшая замужем в Чегеме, вернулась в Жамауат, чтобы в доме матери разрешиться от бремени. Она пошла навестить Кулину, свою родственницу, увидела возле родника Жандара Поросток Большого Дерева и упала в обморок. Женщина узнала не дерево в желтых уже листьях, а узнала памятный лоскуток из собственного девичьего платья — его она весной привязала в Чегеме к Поростку в знак благодарности, когда почувствовала в себе новую, изнутри теснящую ее жизнь. Теперь эта жизнь спешила на белый свет, а она, решив навестить перед неведомыми и так ее пугающими схватками Кулину, некстати упала в обморок у родника. Пока женщины приводили ее в чувство, она шептала: «Жива! Жива!» Женщины не знали, что этот бред означает, что это она на всякий случай предупреждает о себе. Очнувшись, она побежала к Поростку, обняла и зарыдала. Беременной женщине нельзя плакать, это знали и тогда, но все молчали. Она же благодарила Тейри<sup>1</sup> за его бесценный дар, плакала от раскаяния и предчувствия первых материнских мук.

Возможно, она еще рыдала возле родника Жандара, а весть о переселении Поростка уже достигла Чегема. Это было новым знамением, и оно указывало народу Чегема, куда идти поклоняться. Поросток был священен, как и са-

<sup>1</sup> Тейри — одно из имен верховного божества.

мо Большое Дерево, и он не мог быть перенесен руками человека, только божьими. Жандар понял, какую беду накликал на свой дом. Люди шли и шли. Нужно было перенести жилище, а он был уже стар, и Кулина очень любила свой теперь уже ветхий деревянный дом, в котором длинные ее косы впервые перепутались со стеблями сухого сена. Она была статна, не потеряла прямой осанки, одевалась строго, и волосы все еще заплетала в две теперь уже жиденькие косички. Кулина хотела остаться здесь. Пока старик Жандар и старуха Кулина спорили, часто совсем не слыша друг друга, Поросток уже сам вытягивался в Большое Дерево, и родник и дом Жандара все глубже уходили в его тень. И спор между мужем и женой разрешили сами боги: Кулина совсем неожиданно, не проболев и дня, умерла. И была она первой покойницей в этих местах, как была и первой невестой. Жандар похоронил ее посредине своего поля, которое он называл Алау. Он остался в старом доме, прожил в нем до седьмого правнука и умер на охоте в возрасте девяноста четырех лет. Народ почитал его святым, поскольку Тейри сам перенес Поросток священного Дерева на околицу поселения, основанного им. Еще в Чегеме вспомнили, как был обижен младший брат, вспомнили, как давно и бесславно кончили его братья — один погиб при обвале в горах, другой сошел с ума и долго бродил среди скал. Жандара похоронили рядом с Кулиной — они были счастливыми мужем и женой, прожили счастливую жизнь, и жамауатчане поставили над ними тот склеп, что поныне стоит посредине поля Алау.

Время шло, Большое Дерево росло, и Жамауату, кроме бога небесного, молчаливого и благостного, захотелось еще и князя, не небесного, не молчаливого, а благостного или не благостного, какой уж будет. Все старые аулы имели своих князей. А Жамауат, как он считал, был не ниже любого селения в мире. Стремительно рос он и уже своей стремительностью заслужил себе князя. Исполненный сознания своего достоинства, он снарядил в Чегем большое посольство за князем. Тогда и привезли в Жамауат прапрадеда Айдарука и устроили в честь этого пышные языческие торжества и голлу<sup>1</sup>. Лучшие каменщики и плотники строили князю дом, дровенщики везли дрова, топили очаги в доме, пастухи согнали для него скот и сами же пасли его.

Князь Бурундуев понемногу обживался, сидел тихо,

<sup>1</sup> Голлу — веселое празднество, состязание, смотр красоты, умения и силы, здесь выбирают самого отважного и ловкого.

княжил справедливо и мало-помалу перетягивал своих со-родичей на обильные земли Жамауата. И также мало-помалу заводил в новом Жамауате старые порядки. Теперь и здесь, как во всех селениях мира, жили бедные и богатые, князья и карахалк, роды высшие и роды низшие. Лишь первенство Жандаровых оставалось в Жамауате неизменным. Первыми после князей сидели за столом они, и завершающим на совете было их слово. Потому и говорили, что Бурундуевы княжат, а Жандаровы решают. Но времена менялись. Все больше власти забирали князья. И чем больше забирали их руки, тем мельче становились их сердца. Тускнела и звезда Жандаровых. Редко теперь вспоминали славных джигитов из рода Жандаровых — Окулая, Ойсула, Жашыу, Канамата, а если вспоминали, то рассказы о них больше походили на сказки, словно жили они во времена нартов.

— У Жандаровых больше рождались сыновья, но род не был ветвистым, не множился, — сказал Ордан. — Из семерых сыновей Жандара знаменит был лишь один Окулай. Он пропал, не оставив наследника. У другого сына Жандара — Алимырзы — тоже было семеро сыновей: Туган, Жантуган, Бийтуган, Байтуган, Оразай, Ойсул, Гитчеулан... Тугана унес паводок в год его женитьбы. Жантуган женился на своей невестке. Он жил долго, но в семье рождались одни дочери, и имя Жантугана кончилось на нем. Бийтугана в семилетнем возрасте похитили сваны. Весь Жамауат искал мальчика, видя в нем будущего посла и защитника аула. Ходили и к сванам, но сваны были суровы и сильны, как и их высокие скалы, — так и не отдали маленького Бийтугана.

— Через много лет, — сказал Ордан, — в Жамауат по торгово-обменным делам пришли сваны, и был среди них красавец джигит Нодар Жандаридзе. Долго вглядывались в него жамауатчане, стараясь угадать черты Жандара. Но он был сван и вскоре уехал, лишь долго потом лили по нем горячие слезы жамауатские девушки... Байтуган и Оразай очень походили друг на друга, хотя близнецами не были, — продолжал Ордан. — Они и стали настоящими джигитами, — Каншау и Жансох переглянулись, — слава о них быстро разошлась по ущельям. А погубило их коварство... Помните, джигиты, судьба каждого людского поселения, маленькое ли оно — в три дома, большое ли — на три склона, измеряется не тем, сколько в нем людей и скота, а тем, есть ли в нем человек, способный сказать слово и под-

нять меч. Тогда в Жамауате их было сразу двое — Байтуган и Оразай. И погубили их те, кто замышлял набеги на коши Жамауата. После того как Байтуган и Оразай были убиты из засады, Жамауат долго оставался без своего заступника. Но подоспел юный Ойсул и своей отвагой затмил даже старших братьев. Никто не знал, не мог постичь, какими путями ходил Ойсул, но пуля его всегда достигала цели. Зная и турьи тропинки, и дальние города, Ойсул стал надежной стеной Жамауата.

Младший внук Жандара, Гитчеулан, был мирным крестьянином. Пас свой скот, косил свои луга и кормил свою семью. Три сына было у Гитчеулана — Жашыу, Тапырай, Ако. Еще маленьким Жашыу был отдан русскому помещику в батраки, там и выучился русскому языку. Видно, помещик тот был ясного ума, богатством своим не чванился, если даже своему батраку дал образование. Жашыу вернулся в Жамауат ученым человеком: он умел писать, он говорил по-русски, у него были книги, совсем непохожие на те, что были в Жамауате. Но беда в том, джигиты, что ни Жашыу аула, ни аул Жашыу не понимал. Молодой из Жандаровых тосковал среди сородичей, чувствовал себя чужим. И он отправился в странствия, он путешествовал по Востоку, по другим странам, учил языки. Все новые и новые книги привозил он в Жамауат, но читать их было некому. Жамауатчане любили подержать эти книги в руках, ощутить их на вес, переложить из ладони в ладонь, выразить свое восхищение и почтительно положить на место. Поначалу, толком не уразумев мыслей молодого странника, они заслушивались его насихатами<sup>1</sup>, даже муллы и те уклончиво качали головами. Но понемногу стали замечать, что слова, которые говорит Жашыу, не во всем соответствуют корану. Жамауат был терпелив, он даже уважал Жашыу — ведь тот знал языки далеких народов, но отступать от священной черноты корана он не собирался. Сын Жамауата, видевший священную землю Магомета, пусть аллах благословит его, да к тому же знающий другие языки, на родном балкарском начинал нести сущую чепуху: что затмение солнца — это вовсе не гнев алаха, а случается оно по извечному закону хода звезд. Будто земля не стоит на рогах быка, а вертится вокруг солнца, словно бабочка вокруг светильника. Трудно было мириться с такими зловредными насихатами. Но не собирался смириться и Жашыу. Теперь он задумал, окаянный,

<sup>1</sup> Н а с и х а т — наставление.

выучить людей непонятным буквам, похожим на русские, которые выдумал сам. Жашу сооружал эти свои тамги из досок, ставил во дворе своего дома и, зазвав аульских зевак, просил узнать, что за буква. Потом решил придумать книгу, напечатать свои тамги на бумаге, прямо как в коране, и учить народ новой своей грамоте. Вот тогда поняли всю злокозненность того русского помещика. Из рода сатаны он, этот гяур из гяуров, исподтишка пускал свою струю под мечеть Жамауата, а заодно и под дома всех благоверных мусульман! Гнев благоверных не мог достать далекого гяура, а поскольку тот был недоступен, то решили разобраться с Жашу. Жашу прилежно и вовремя отправлял все положенные мусульманину обязанности, при этом он утверждал, что его книги никак не расходятся со священной мудростью корана. Наоборот, его книги научат людей стать здоровыми телом, чистыми в помыслах.

Люди стали избегать его, особенно в дни жумы<sup>1</sup> и исламских праздников, но выступать против него открыто то ли еще боялись, то ли стеснялись Ойсула. Тогда за дело взялся сам аллах, и вспугнутый конь Ойсула ночью понес и влетел в пропасть вместе с седоком. И осмелевшие муллы сказали Жашу: на коране отрекись от своих помыслов, предай книги огню. В ответ Жашу лишь улыбнулся: «Все мои помыслы: открыть глаза единоверцам, зажечь в них свет разума. Мы стали мусульманами, станем же и понимающими!» Лишь недавно Жамауат был обращен в мусульманство, убежденность в том, что вера в аллаха уже просветила разум и открыла им глаза, была еще свежа, и люди в долине не считали себя непонимающими. Если Жашу так оскорбил их светлые чувства, то они имели право плюнуть ему в лицо. Судьба решила сама.

Помолившись в день жумы на общей молитве, народ вызвал Жашу на площадь, схватил и связал его, завернув в черный войлок, его положили поперек крупа коня и отвезли к керагачу. На судилище пришел весь Жамауат: пятеро стояли по одну сторону керагача, все остальные — по другую. Эти пятеро были теречи — судьи: Али, главный мулла Жамауата, два его помощника и два свидетеля. Суд был справедливым: всем народом плюнуть в лицо отступнику, а потом его сжечь.

Керагач был поставлен для того, чтобы растягивать и потом сжигать язычников, не покорившихся единому аллаху, милостивому и милосердному. Его здесь возвели рань-

<sup>1</sup> Ж у м а — пятница.

ше, чем построили мечеть. Четыре мощных, в человеческий обхват, чинаровых столба изнутри соединяли такие же мощные перекладины, к перекладинам были прикреплены тяжелые цепи с крюками, на них-то и подвешивали осужденного. Первым на этом керагаче был растянут и сожжен Эльбуздук, не пожелавший поменять своих богов на аллаха.

— История эта длинная, расскажу в другой раз, — обещал Ордан.—Сейчас рассказ не о том. Керагач стоял как свидетельство тяжких дней, когда языческий Жамауат с трудом становился мусульманским. Ныне, слава аллаху, людей на нем не жгут, стоит он лишь как грозный страж дин-ислама...<sup>1</sup> На глазах смятенного, но исполненного святым долгом народа опустили цепи, зацепили острыми крючьями за предплечья мощного, по-жандаровски рослого нераскаившегося Жашу и подняли его над толпой. Под черной густой бородой светилась улыбка, от которой заволновались и заспешили твердые судьи. С четками в руках, в длинных одеяниях, они стояли возле керагача и ждали отречения Жашу. Но из глубин густой черной бороды Жашу лишь светилась улыбка; с крючьев, пронзивших предплечья, сочилась кровь и стекала по груди, а он что-то говорил, похоже было: «И Жамауат, и все вы вместе крутитесь, а я снова вернусь к вам и на этом костре сожгу ночь...» Слова его доносились сквозь треск горящих чинаровых дров. И люди дрожали, готовясь плюнуть ему в лицо. И когда его, уже потерявшего сознание, опустили снова, мулла закричал: «Налат!»<sup>2</sup> По долине, словно близкий камнепад, прокатился многоголосый крик: «Налат! Налат! Гори в огне, дьявол!» И каждый старался попасть плевком ему в лицо.

После сожжения Жашу на керагаче в Жамауате стало тихо. Торжественно сожгли книги и тамги Жашу, а отец его был объявлен гяуром. Гитчеулан хорошо понимал, что это означало, он связал в тюки все, что считал необходимым в пути и в жизни в дальней стороне, хорошенько смазал жиром деревянные колеса арбы, запряг двух волов и в ночь на двадцать первое второго месяца весны Рабиас-сани 1174 года хиджры с двумя сыновьями и семьей Жашу тайно выехал из долины Жандара. Одни говорили, что Гитчеулан уехал в Турцию, другие — что подался к тому помещику. Но точно не знал никто.

<sup>1</sup> Д и н - и с л а м — религия ислам.

<sup>2</sup> Н а л а т — проклятье.

От Оразая остались Салимгерий и Канамат, от Ойсула — Тенлик. Салимгерий и Тенлик были мирными крестьянами, людьми простыми и незаметными. Они были двоюродные братья и свой скот пасли вместе, соединив их в один кош. Так прожили они всю жизнь, и ничего в ней примечательного не было. Даже когда Жамауат осудил и сжег Жашу, они никого не обвинили, зла не держали и ни с кем враждовать не стали.

Лишь один Канамат не смирился. Как затравленный волк смотрел он на людей. В глазах его горел такой недобрый свет, что казалось, он взглядом мог поджечь весь Жамауат. Он носился по окрестностям, загоня лошадь, словно искал смерти. Он не был томим желанием зажечь свет разума в своих односельчанах — теперь тем более, — но с тоской перелистывал две книги Жашу, которые сумел спасти от сожжения. Он еще безумствовал несколько дней, а после сорокадневных поминков по Жашу уехал в Карачай.

Одна из дочерей Оразая была замужем в Карачае. Канамат часто бывал у сестры в Картжурте и там нашел себе невесту. Две семьи договорились о свадьбе и стали ждать сбора урожая и пригона скота с пастбищ. Они ждали, но мир не застыл в ожидании с ними, и в мире происходили события более значительные, чем свадьба двоих влюбленных. Один из крымских ханов двинулся на Карачай; он собирался заново покорить богатые земли Карачая и богатой данью пополнить свою казну. Пришлось Карачаю забыть на время о свадьбах. Он бросил клич своим близким и дальним соседям. Одного хотел Карачай — защитить свои приютившиеся в глубоких ущельях жилища, других помыслов у него не было, потому клич этот был священным. Канамат тогда был в Картжурте и не мог отвести счастливого взгляда от тяжелых кос своей возлюбленной. Но он оторвал взгляд, оседлал коня, выехал и встал в ряд с карачаевцами, решившими принять смерть за свои жилища и волю. Был бой, была резня, потом в народе сочинили песню об этом сражении, о том, как безоружные и необученные горцы, к тому же преданные сородичем (нашелся такой), пали за свою волю. Мусульмане резали мусульман, и топор покорителей был беспощаден.

Но аллах милостив и милосерден, мальчики! Аллах благословил любовь Канамата, и он сумел провести ночь перед сражениями со своей невестой. После той кровавой резни и родился в Картжурте мальчик, которого нарекли

Гуа. Старый и упрямый аул Картжурт теперь не хулил своих женщин, родивших сыновей без отцов, все знали, что отцы их, сумевшие, уходя, оставить после себя защитника своей земли, полегли на склонах горы Хасаука и на перевалах Схауута и Гягнша... И этого мальчика приняли, запеленали, нарекли добрым именем Гуа и отправили с матерью в долину Жандара, ибо мужчины должны расти на глазах своего рода.

Гуа был женат два раза. От первой жены рождались одни лишь дочери — и, как и все женщины рода Жандаровых, они славились красотой и здоровьем, были мастерицами на все руки. Но особенно ценилась их щедрость на материнство. словно породистые кобылицы, они быстро наполняли свои дворы крепкими, как жеребята, малышами, всегда успевали их чисто одеть и сытно покормить. «Дочери Гуа не успеют отучить от колыбели одного ребенка, как уже кладут туда другого», — говорили о них. Оттого и снаряжались сваты в дом Гуа из самых уважаемых людей аула, оттого не задерживались белошоеие, стройные, краснощекне девушки в отцовском доме. Издавна были в почете дочери рода Жандаровых, но эти пять, рожденные от неказистого Гуа, затмили даже славу своих предшественниц. Лишь вторая жена — Кызтуума — одарила старость Гуа двумя сыновьями — Заурбеком и Наурузом. Сыновья не женились долго, словно решили посостязаться с нартом Алауганом, тот ведь тоже не женился, пока не дождался, что уже дети стали срамить его на улице.

Совсем уже старый Гуа, рассерженный, что сыновья так долго тянут с женитьбой, взял и женил обоих разом, сам выбрал себе невесток и сам договорился с их родителями. Хотя братья и не знали, на ком их собирается женить отец, отцовское решение приняли безропотно и зажили спокойной, согласной семейной жизнью. Но не в том было удивление аула, что так круто поступил Гуа: не один Гуа женил своих сыновей, не спрашивая их, — удивление аула было в том, что у схожих лицом и натурой, на один лад скроенных братьев и семьи оказались скроенными одинаково: жена Заурбека родила двух сыновей и дочку — Инала, Жанмирзу и Хорасан, и жена Науруза родила двух сыновей и дочку — Коналия, Дебоша и Абидат.

Науруз с двумя сыновьями переехал в Кюнлюм. Заурбек же остался в ложбине со старшим сыном Иналом и отцом. Жанмирза, младший сын его, был отдан в Малую Кабарду в батраки к русскому коннозаводчику. После де-

сяти лет батрачества он вернулся, женился и поставил себе дом в Кюнлюме рядом с домом дяди. Жанмирза тоже знал русский язык, но он не был похож на Жашыу, не носился с книгами. Он любил красиво одеваться, неделями пропадал на свадьбах, в слободе Нальчик. Но, женившись, бросил разгульную жизнь, открыл в Жамауате лавку и, если отлучался из аула, то лишь затем, чтобы пополнить товары в своей лавке. Он ездил в Ростов, Тифлис, Баку, одевал женщин Жамауата в ситец, лен, шелк, привозил керосин.

Дочери Заурбека и Науруза вышли замуж за кабардинцев. Сначала выдали Абидат, дочь Науруза. Она и увела следом за собой Хорасан, нашла ей жениха в том же роду, откуда был ее муж.

— А того, что станется с нынешним поколением Жандаровых, я узнать уже не успею, — заключил свой рассказ Ордан.

Они переночевали у пастухов. Мальчики всю ночь не сомкнули глаз. Все имена запомнились им, как запомнились письма, что были выбиты на камне, который потом исчез. В сознании мальчиков буквы на камне вырастали, становились огромными, обретали человеческий облик; казалось, в каждой из них прячется кто-нибудь из Жандаровых — Окулай, Ойсул, Жашыу, Канамат... То вдруг и сам сказочный камень превращался в Жандара, и древние письма становились морщинами на лице патриарха их рода, и они двигались, когда он улыбался.

— Ты кого запомнил? — спросил Жансох, толкнув брата в бок.

— Всех надо помнить. Это наше дело, наша родословная.

— А ты кого бы выбрал?

— Я? Я выбрал бы Жашыу!

— Жашыу?

— Он все вытерпел! Его жгли, а он терпел.

— А ты бы вытерпел?

— Я не могу! Это нельзя вытерпеть, когда жгут...

— Я бы хотел найти Гитчеулана, — сказал Жансох. Он повернулся к Қаншау, встал на локти и, почти касаясь лицом лица брата, зашептал: — Вот станем взрослыми и давай поищем Гитчеулана! Ну, Гитчеулана теперь, наверное, нет в живых, очень давно все было. Найдем кого-нибудь из его корня... Или кого-то, кто знал его.

Так они говорили всю ночь. А ранним утром Ордан

ушел к себе в горы, их же отправил домой. Близилась осень, горы пахли вызревающей рябиной и сеном. Мальчикам казалось, что возвращаются они домой через много лет, пройдя много дорог, одолев много перевалов и многое перевидев. На склонах, спускаясь все ниже, паслись отары овец, кто-то сильным молодым голосом пел песню о Бий-нёгере, и по дороге они нагнали две воловьы арбы.

Говорить не хотелось, ехали молча.

— А вдруг мы с тобой Байтуган и Оразай! — сказал Жансох. — И слава о нас пойдет так же далеко!

— А что, и мы Жандаровы! — Каншау ударил лошадь, она понеслась. — Догоняй, если ты Оразай!

Жансох припустил следом.

Так они и примчались в аул на взмыленных конях — в полдень, в самый разгар ерюзмековского тоя, устроенного в честь открытия в Жамауате медресе. Они поставили коней, разузнали все у матери и, жуя на ходу чурек, побежали в медресе. Но здесь никого не было, ни учителя, ни учеников. Все находились у Ерюзмековых. Мальчики постояли, не решаясь идти туда сами, но все же пошли: а вдруг им достанется бычий пузырь, лучшая забава всех мальчиков Жамауата во все времена?

К удивлению всего Жамауата, первый курманлык по случаю открытия медресе дал именно Ерюзбек. Жадный, нелюдимый Ерюзбек созвал в свой двор не только равных себе, но и всех достойных жамауатчан, не разделяя их, как обычно, на аксюеков и каратабанов — «белую кость» и «черные пятки». Одного за другим забивали бычков и барашков, на покато, поросшем травой дворе, никогда раньше не знавшем веселья и многолюдия, стояли длинные столы, длинные скамейки, на столах — откупоренные круглые в боках тонкошене кувшины с бузой. За неожиданно щедрым столом старшины Ерюзбека люди ели вдоволь мяса, пили бузу и диву давались такому хлебосольству, судили-рядили про себя, гадали, перегадывали, но истинной причины сего расточительства уразуметь не могли, к тому же Ерюзбек говорил хорошие слова, полные раскаяния за былые грехи, полные желания слиться с жамаатом; сам обхаживал каждого гостя, так обхаживал, что вся былая неприязнь уже казалась мелкой. К вящему удивлению, и собравшийся народ каялся в своей долгой нелюбви к Ерюзмеку — за бузой и мясом становились пустыми, ничемными былые обиды и взаимный взыск.

Пришел сюда и Науруз, и покуда он был в силах си-

деть в застольях, Коналию или его другому сыну Дебошу хода сюда не было. Науруз сидел рядом с Айдаруком, справа от него, как по горскому обычаю полагалось старшему. Но оба, и Науруз, и князь, думали о том, что воля старшего князя Исмаила предана забвению, и оттого боля тяжело обоем. Чтобы освободить Айдарука от неловкости, Науруз вскоре пожелал добра дому Ерюзмека и ушел. А князю, сыну Исмаила, кусок в горло не шел, и совсем не по той причине, о какой думал Науруз, хотя и Айдарука мучило это. Но сейчас он маялся в догадках: что же задумал Ерюзбек, не сошел же он с ума? Айдарук был проныцательнее других, он видел, что лицо и глаза Ерюзмека выдают его; как бы Ерюзбек ни старался придать лицу дружелюбие и хлебосольную властность, приличествующие этому случаю, глаза оставались холодными, со злым проблеском, а в широкой улыбке проскальзывала боль. «Аллах, за что же людей так наказываешь?» — подумал Айдарук с горечью, не в силах понять истинного смысла ерюзбековской затеи.

Молодежь толпилась в огороде и за домом на поляне. Ей не полагалось застолья, младшие должны обслуживать гостей, колоть дрова, следить за огнем, смотреть за котлами, за конями. Но они успевали и поиграть, поспорить, посястязаться в чем-нибудь. Пузырей ни бычьих, ни овечьих жандаровским мальчикам уже не досталось, но зато досталось мясо — Каншау целое ребро, Жансоху кусок грудинки и печень, Хассеит крутился возле взрослых ребят, но то и дело уносился к котлам, где варилось мясо. Там его одаривали то отрезком тонкой кишки — он его проглатывал, точно пегушок дождевого червя, то жирным куском мяса, который он ел, держа обеими руками, давясь, обжигаясь, опасливо, как птица, озираясь по сторонам. Хассеит уже знал, что возле полных котлов люди добреют, здесь легче жалеется и проще угощается. Братья смотрели на него и порой перебрасывались взглядами — было совестно за его жадность и прожорливость.

Взрослые ребята спорили о лошадях, обсуждали девушек, хвастались, кто на ком и когда женится. Мальчишек потянуло домой, они устали с дороги да и было уже неинтересно. Жансоху хотелось, чтобы Мурай подошел к ним, а тот, хотя и давно увидел их, подойти к братьям и поприветствовать их что-то не собирался. Подойти же самому, а тем более позвать его казалось унижительным. Вот он, злясь, и поглядывал в его сторону.

— Эй, Мурай, пусть твой курманлык будет к добру! — не вытерпев, крикнул он.

Но Мурай крутился возле взрослых, где стоял и его старший брат Заммай, и на слова Жансоха не обратил внимания. Тогда Жансох, позабыв, что они собирались уйти, подбежал к Заммаю и сказал:

— А твой брат трус!

— Иди играй! — сказал ему Заммай.

Жансох видел его несколько раз в долине; высокий, мрачный, он всегда слонялся без дела, Жансоху казалось, что он очень злой. И здесь на шумном многолюдном курманлыке он потерянно и недобро смотрел на гостей, всем своим видом показывая, что он тут ни при чем и словно бы даже не одобряет затеи Ерюзмека, а если и остался во дворе, то лишь ради приличия.

Жансох и сам не знал, чего хотел, то ли подружиться с Мураем, то ли хорошенько подраться с ним. Но там, в медресе, княжонок не шел на сближение, а здесь, в своем дворе, даже не подошел к ним. И Жансоху показалось, что старший брат Заммай, несмотря на возраст, более допустен, он даже выглядел, несмотря на угрюмость, как-то беззащитно, потому он и решил сказать такое. Каншау толкнул его в бок: ты что, осел? Но это лишь распалило Жансоха, и он, глядя на Заммая снизу вверх, повторил:

— Не будь твой брат трусом, он бы подошел к нам.

— Пошли отсюда! — потянул его за рукав Каншау. Но Жансох уперся. — Решил заработать оплеуху? — вспылил Каншау.

Но Жансох не отставал от Заммая:

— А ты сделай так, чтобы мы с Мураем поборолись!

— Иди играй! — чуть громче сказал Заммай.

Жансох потупился на минуту, пнул камушек, который громко стукнул о кринку, оставленную кем-то у ограды. Кринка повалилась, остатки бузы выплеснулись в траву. Заммай лишь хохотнул, довольный. Ободренный тем, что ему не досталось за кринку, Жансох, засунув обе руки в карманы, сказал:

— Я вырасту и обязательно поборюсь с тобой!

— А ты, Жандаров сын, оказывается, и хвастунишка!

Заммаю вдруг захотелось поговорить с этим мальчишкой, сообщить ему новость, которой он про себя, внутри своей мрачности, радовался в эту минуту и которая ставила его выше всех, кто был сейчас здесь, в их дворе.

— Когда ты вырастешь, меня уже в этих краях не бу-

дет, — улыбнулся он. Жансох свел брови и посмотрел на него. — Да, Жандарчик, я еду на войну с Жапоном. А там... если останусь в живых, и вовсе не вернусь.

— На войну? — удивился Жансох.

— На войну!

Увидев, что Заммай рассказывает Жансоху что-то интересное, к ним подошли другие мальчишки и молча встали рядом.

— На войну? — теперь уже нарочно громко удивился Жансох.

— На войну, — повторил и Заммай, будто не замечая, что глаза всех мальчишек словно привязаны к его рту. — Война — это вам не крючки да уздечки выводить, пустые слова корана повторять...

Мальчишки ужаснулись, встали теснее друг к дружке.

— Ого! — снова сказал Жансох, чтобы еще сильнее распалить любопытство мальчишек, и, не скрывая довольства — пришел-таки! — покосился на Мурая. — Это не то что... как некоторые... На войну! А тут есть такие — даже бороться трусят.

— Как же ты пойдешь на войну с Жапоном? — спросил Кочар. — Откуда ты знаешь, где Жапон? — и с широкой ухмылкой оглядел всех вокруг. — Как ты его найдешь? Никто в наших краях не знает, где Жапон, — заключил он.

— Это твой отец Шамуюк не знает, — сказал Мурай, улыбочивым взглядом посмотрев на старшего брата. — А Заммай все знает. Мы знаем.

— Ну а как знает Адей, где Стамбул? — спросил сам Заммай. Казалось, сейчас он ничем не отличается от этих мальчишек. — Если Адей знает, где Стамбул, другие знают, где Жапон.

— Ого, сравнил! — сказал на это Жансох. — О Жапоне никто не слышал, а Стамбул вон за той горой...

— Да кто отпустит его на войну! — засмеялся Мурай. — Он просто дразнит нас.

Глаза Заммая зло сверкнули, изменившись в лице, он крикнул:

— Замолчи, щенок! Этому даже твой отец будет рад! Уж он-то знает...

— Уж он-то... — подхватил было Жансох и осекся. Видно, хотел сказать про Ерюзмека что-то плохое, что слышал от взрослых, но вовремя вспомнил, где находится.

Но Ерюзбек действительно знал, что скоро не один Заммай отправится из долины Жандара на войну с япон-

цами, но и кое-кто еще, может, даже против собственного желания. Знал и делал свое дело. Прежде чем сообщить о войне, вернее не о войне — о ней уже несколько месяцев все знали, а о том, что войне нужны люди, а точнее — джигиты из Жамауата, он должен был как можно скорее уладить свои пошатнувшиеся отношения с народом.

Долина Жандара, как и все в ней, принадлежала царю. Вернее — выше всех был аллах, потом царь и уже потом таубий<sup>1</sup>. Аллах — он аллах и есть, он везде и всегда, днем и ночью, в молитве и во сне, бий тоже рядом, ко-сишь ли на него, пашешь ли, пасешь ли его овец, гуляешь ли у него на курманлыке. И земля была их. Если говорили про какое-то поле, то говорили: бия такого-то. А то, что это еще и царево поле, знали сам этот бий и царь — это были их дела. Так что царя, можно сказать, и слышно не было. Потому в долине Жандара как-то и не думали о том, что между князьями и аллахом есть еще царь. Правда, Жамауат платил налоги, но налоги-собирали Ерюзбек, так что все и считали, что налоги платят ему. Но теперь царь — то ли сам проснулся, то ли Жапон его разбудил — потребовал к себе лучших джигитов Жамауата. Вот что предстояло узнать всему этому люду, который сначала с опаской, потом с оглядкой, с тайной усмешкой, а потом уже безоглядно гулял на Ерюзбековом тое.

Времена менялись. Низинные туманы поднимались все выше и ложились на каменные дороги ущелья. Теперь Ерюзбеку приходилось действовать иначе. Пусть ему придется пожертвовать парой бычков, дюжиной барашков, пусть из уст его льются речи, полные такого смирения, словно это не старшина Ерюзбек говорит, а суфий из Бахчисарая, пусть, — главное, не упасть в тумане с обрыва, удержаться; и царя не прогневить, и народ удержать в спокойствии. Народ — стадо, куда погонишь, туда и пойдет, был бы корм. Вот почему он был непривычно щедр, говорил несвойственные ему речи. Он благодарил аллаха за то, что в долине Жандара есть такой мудрый и образованный человек, как Адей-эфенди, он благодарил Адея за то, что его сын Мурай будет учиться в медресе и, возможно, когда-нибудь — если дозволит аллах! — переймет у своего учителя хоть сотую часть его ума и образованности. Он договорился до того, что с самого начала, с того самого дня, когда был срублен дом Жандара у родника, лю-

---

<sup>1</sup> Таубий — князь.

ди здесь жили дружно, согласно, умели в час беды быть вместе; в общем, это был истинный горский жамаат, потому и аул их носит это красивое имя — Жамауат! Говоря эти слова, он знал, что в слободе Нальчик уже готовился отправиться в долину Жандара или даже был в пути некий армейский чин, имея в руках предписание о наборе рекрутов на войну.

И не успели убрать столы во дворе, не успели аульские псы разгрызть все кости, что остались после тоя, вылизать всю кровь, как явился в Жамауат высокий рыжий ротмистр, очень худой и немолодой уже человек. Ерюзбек угостил его остатками с застолья, а когда старшина, князь Айдарук, несколько узденей собрались в управе, ротмистр объявил, что согласно воле императорского величества аул Жамауат должен отправить на войну с японцами десять человек. Говорил нехотя, брезгливо оглядывая голые, пахнущие мышами и плесенью стены. Единственная примечательность управы — портрет царя, всласть изъезженный мухами, по краям покрытый плесенью, не был прибит, как обычно, к стене, а на кожаном ремне, пропущенном в дырку прямо над насупленными бровями царя, был подвешен к балке — точно так же, как в домах Жамауата подвешивают половинки бараньих туш на вялку. Ротмистр вдруг с содроганием осознал, что всячески старается увернуть свой взгляд от взгляда покачивающегося царя, и тогда другим, уже твердым военным голосом повторил высочайшее повеление — десять всадников от Жамауата.

Чтобы не всколыхнуть народ, решили созвать старшин родов. Пусть они и решат. Когда же все снова собрались в управе, Ерюзбек слово в слово повторил все то, что говорил накануне у себя во дворе, он лишь сокрушенно добавил, что война с Жапоном и есть та беда, при которой надо объединиться всем вокруг царя. И если не помочь царю, то не получишь его благословения, а царское слово — что боже, без него земля Жандара может вовсе опрокинуться. Почти все, кто сейчас сидел здесь, сидели и на тое Ерюзмека. Теперь они покусывали усы, из которых еще не ушел запах ерюзмековской бузы, и вспоминали свои опрометчивые обещания за щедрым Ерюзмековым столом, обещания быть всегда и во всем вместе. Ерюзбек же говорил, что вот он и сам отдает на войну старшего своего сына Заммая. «Самая пора женить, — вздохнул он, отвернулся к окну, помолчал грустно и продолжил: — А придется благословить в тяжкий путь. Бог милостив, почтен-

ные, сыновья вернутся живы-здоровы и с победой. Мы не одни на свете, сохраним же достоинство».

Приуныли старшины, хотели было возразить, но и возражения прозвучали вяло, уныло, и пошли они восвояси, обдумывая судьбу каждого дома. Три дня Жамауат не спал, три дня обсуждал, возмущался, гневался, но на четвертый день все вышли на площадь.

Первым на майдан выехал Заммай на буланом жеребце. Ерюзбек побагровел, увидев, какой под сыном скакун. За делами он не успел выбрать сыну какую-нибудь лошадь поплосе, так этот олух... Впрочем, олух во всем ином оказался здесь не промах, выбрал самого лучшего скакуна. Настроение его сразу упало, спасти скакуна он уже не мог и стал злиться на всех, кто стоял рядом. Следующим выехал Жанмирза Жандаров. Никто его идти не назначал, он вызвался сам, своей охотой. Его снова потянула дорога — пусть дальняя, пусть опасная. И он запер свою лавку, не обронив ни слова, молча передал плачущей жене ключи, оседлал коня и выехал на майдан. Вместе с ним на войну отправлялись тридцатилетний кузнец Бекболат, Асланмырза, сын Эльдара, и совсем молодые Ако, Эльбуздук, Шамил, Шиво, Эльмырза, Исмаил. Только мальчишки были в радостном возбуждении, ради того, чтобы отправиться в дальний путь, отозваться на клич царя, они бы отдали половину жизни, пусть даже всю первую, но им не повезло, немного не успели подрасти. Каншау поначалу тоже увлекли горячие пересуды мальчишек. Но потом он с тревогой стал оглядываться на плачущих женщин. За свою недолгую жизнь он впервые увидел слезы и причитания и почувствовал, что если уж женщины Жамауата плачут — значит, случилось что-то страшное, и ему захотелось поскорее вернуться домой. Надо быть рядом с больной матерью, если бы она смогла подняться, она бы пришла на майдан провожать Жанмирзу — не смогла; значит, надо вернуться к ней.

Между тем народ все прибывал. Когда мальчишки обещали дом Адея и вышли на майдан с другого края, то увидели долговязого рыжего ротмистра, он вскочил на лошадь, и тут же по майдану понеслась его непонятная пронзительная речь. Народ подался назад, лошади под новобранцами подобрались, вскинули головы. Не сразу, теснясь и толкая друг друга, всадники выстроились в ряд, и тот, чужак, ударив коня, прорвал людское кольцо. По майдану прокатилась новая волна вздохов и причитаний, сме-

шались слова проклятий и напутствия, надломленный голос столетнего Жарнеса донесся сквозь шум толпы: «Вот и в нашей долине кончился мир!» Но кажется, никто, кроме Қаншау, его не услышал, толпа снова подалась вперед, нищий оборванный люд, спозаранку устроившийся на каменных завалах и оградах, ссыпался на землю и с криками бросился за всадниками, и Қаншау видел, как по узкой малоезжей дороге вслед за сбившимися снова в кучку всадниками потянулся черный извилистый поток; впереди, рядом со всадниками, шли дети, за ними старики, женщины; ржали кони, лаяли собаки, палки стариков стучали по каменной дороге. Люди шагали, глядя в землю, и словно бы не провожать своих сыновей шли, а шли потому, что не знали, куда идти, что делать. Но и сам рыжий ротмистр ехал беспокойно и держался так, словно бы он ехал сам по себе, а все остальные сами по себе.

Мальчишкам, смотревшим им вслед с высокого камня, казалось, что едут они вовсе не на войну, а лишь затем, чтобы подраться с кем-то, кто затаился у входа в долину. Вот они и спешат отойти от аула подальше, найти укромное местечко и выяснить, кто чего стоит, причем ротмистр — только сводчик, взявшийся за хорошую цену свести их. Потому, наверное, ротмистр и не глядел на тех, кого уводил из долины, а зло и опасливо смотрел поверх их голов по сторонам; каменные склоны уходили вдаль, к желтеющим предосенним холмам, единственная узкая дорога шла через высокие, в человеческий рост, камни, и ротмистр, думали теперь мальчишки, все боится, что вдруг из-за этих камней грянет ружейный залп и судьба их будет решена намного раньше, чем в Жамауате надумают очистить взор царя от мушиного дара. Дорога круто спустилась к реке, пошла через ольховую рощу. Ротмистр прибавил ходу. Лишь выйдя из рощи в широкую долину, где не было ни камней, ни деревьев, только стая перелетных птиц кружилась над желтеющими полями, он посмотрел в лица всадников и перечитал их...

Теперь даже мальчишки Жамауата чувствовали: что-то истонченное, важное оборвалось, нарушилось в их ауле, ушло безвозвратно — это важное, никем никогда не установленное, но крепко живущее в крови каждого жамауатчанина, делало людей в этих местах доброжелательно-доверчивыми, шутливыми, полными достоинства, ясными в делах и в словах. Неужто жамауатчане в одночасье стали другими? Неужто этот худой рыжий ротмистр, к тому же

и трусливый настолько, что, уводя десять всадников, все дергал головой по сторонам, как воробей, не смеющий подлететь к корму, лишил Жамауат той уверенности и достоинства, которые были присущи людям этой долины? Если все так пошло из-за всадников, ушедших на непонятную войну, — так ведь в Жамауате погибало разом и больше людей, сколько бед творила река Юрду, то и дело выходя из берегов. Однако при самых страшных обвалах и половодьях люди не становились такими нетерпеливыми, злыми, растерянными.

Поначалу близнецы Жандаровы связали это с уходом Жанмирзы. В их роду особенно переживали его поступок, потому что особенно любили его, прежде всего дети и женщины. Жанмирза умел дарить радость: то принесет какую-нибудь игрушку — мячик, куклу, сани, то подарит маленькой девочке красивое, нездешних мест платье, то оделит всех конфетами, а невесток даже духами; всегда веселый, жизнерадостный, он, приходя в дом родичей, словно открывал двери на свет. Он знал все сердечные тайны молодых, всегда поддерживал их, особенно девушек. Для детей он был самым любимым, самым желанным дядей. Бывало, придет к кому-то, спешится и, прежде чем войти в дом, обязательно поиграет во дворе с детьми, то подбросит вверх, то прокатит в седле, а то сам станет конем, подсадит на спину и скачет на четвереньках; сначала прокатит тех, кто постарше, — по одному, потом тех, кто помельче, — по двое, по трое, а напоследок всю малышню разом, какая есть во дворе. Поиграв, он доставал из кармана сладости. Оттого каждый его приход был праздником для детей и женщин. И детям, как и всем детям на свете, казалось, что их праздник нескончаем.

Всадники скрылись из глаз, мальчики спустились с большого камня у околицы и пошли домой, они думали о том, что все радости, какие у них были в этом мире, теперь потеряны, и ничего интересного и живого в роду Жандаровых не осталось. И каждый день, когда спускались в медресе, они с тоской смотрели на дорогу...

Мальчики видели, с какими лицами ходят взрослые, как вздыхает порою их учитель, и догадывались, что с чувством утраты живут не только Жандаровы, весь Жамауат изменился с того дня: люди стали уклончивы, не так приветливы, как раньше. Что-то тайное, злое бродило по склонам Жамауата. А вдруг проснулся зверь, который дремал на каменном ложе Юрду? Может, Жапон и есть тот са-

мый страшный зверь, который хочет проглотить землю? А Жанмирзу и всех, кто уехал вместе с ним, он уже давно проглотил? Оттого и стали люди такими скрытными и суетливыми. Вопросов было много, но спрашивать у деда, как обо всем спрашивали раньше, они боялись. И без того дед был злой. Часами сидел во дворе, и глаза его беспокойно обшаривали даль; мальчики видели, что омовение и намаз он совершает теперь нехотя, неуверенно, раньше он приступал к намазу с охотой, в движениях его была хоть и старческая, но прыть, и он надолго в искренней благодарности застывал на намазлыке. Қаншау и Жансох шли по аулу, на улицах прислушивались, присматривались к другим старикам, часами простаивали на майдане, и везде все то же — напряжение и уклончивость.

Но кто бы мог в Жамауате четко и ясно вложить в слово то чувство, которым жил аул после того, как пришел рыжий ротмистр и увел десять джигитов? Эфенди? Ведь впервые каждый жамауатчанин, способный думать, понял, что аул-то их совсем недалеко от того места, где может случиться война, и еще он, который наконец-то начал немножко думать, понял, что теперь уже неважно, хочет он или не хочет, — захочет царь, и его тоже возьмут и отправят на эту войну, и он будет воевать, а может, и умрет. До сих пор слово *царь* звучало коротко и красиво, как *таш*, *шивиля* — «камень», «молния», и только в сказках он был злой, оттого и на портрет его, что, подвешенный ремнем к балке, покачивался в управе посреди Жамауата, смотрели с ленивой усмешкой. Оказалось — зря. Оказалось, что веревка, которую плели еще предки и прядь за прядью наращивала их сегодняшняя жизнь; веревка, одним концом уходящая в недра, другим же концом держащая людей на своей земле, питающая их волю и единство и тем дающая жить, умножаться, помогающая знать и любить свою землю и свое слово, изнасилась, истерлась, а вместо нее сплетена другая веревка, крепче и жестче, из новых, неведомых для жамауатчан жил — и один конец этой веревки держал в своих руках царь, а другой конец захлестнулся вокруг их шеи. Оттого и не хочется смотреть на каждого, как на своего, коли знаешь, что связан с ним не властью своей земли, а властью царской веревки.

## II. КОРНИ И ПОБЕГИ

Науруз и князь Исмаил были ровесниками и дружили с младенчества. Еще дед князей Бурундуевых завещал дружбу между их родами. Исмаил вырос в доме Жандаровых. Так полагалось по законам аталычества: малых сыновей Бурундуевы отдавали на воспитание Жандаровым, и вскармливали их женщины из дома Жандаровых. Не разлучались они и когда выросли. Если молодой князь бывал зван куда-нибудь в гости или отправлялся на джигитовку, он всегда брал с собой Науруза. Отвагой, умом, строгим воспитанием Науруз не уступал князьям, однако своего места не забывал и не позволял себе вольности; он дорожил хорошим к себе отношением княжеского дома и достоинства своего не терял.

Науруз был на полгода старше Исмаила, но женился позже его. Первым родился у князя тыякчи — сын, носитель пастушьего посоха, и в честь этого тыякчи Науруз зарезал бычка-двухлетку, принеся его в жертву первой радости Исмаила. По аталычеству между двумя родами новорожденного Айдарука полагалось отдать на воспитание в дом Жандаровых — к этому Науруз был готов. Но то ли князья уже сворачивали отношения с простолюдинами, то ли аталычество уже изжило себя... словом, Айдарук не был отдан на молочное воспитание. Маленький княжонок не был виноват в том, что родился в год, когда родилась крестьянская реформа (которая шла из центра Российской империи в горные теснины целых шесть лет). Реформа эта свергла высшее горское общество в уныние и растерянность. Маленький Айдарук плакал в своей колыбели, но плакал не от стыда за князей, которые, позабыв о своей древней княжеской гордости, слезно молили русского царя не лишать их вот так вдруг услуг холопов и многочисленной челяди, и в особенности — домашней прислуги, дабы не свергнуть славные роды в крайнюю нищету и беспомощность, плакал не из сочувствия княгиням, которые теперь и представить себе не могли, как теперь будут справлять свою большую и малую нужду без носительниц кумганов с водой и подбирательниц подолов длинных шелковых платьев, но беда в том, что от всего этого у расстроенной княгини Бурундуевой пропало молоко, потому и плакал маленький тыякчи в своей взорчатой колыбельке. Но царь был непреклонен; если он и не пятился под напором князей, то потому, что сзади

лавиной напирала сама жизнь. Князья поняли это, да не хотели, чтобы крестьяне понимали тоже. Оттого, может, и шла реформа из центра Российской империи до горных теснин целых шесть лет. Но что известно голове — известно и хвосту: крестьяне от мотыг своих, пастухи от посохов, мельники по запаху свежего помола узнавали, что творилось в мире; они не желали дальше тащить ярмо неволи и извечной своей нищетой поддерживать роскошь своих господ. И пока Айдарук плакал в своей узорчатой колыбельке от нехватки материнского молока, плакал над сломанной игрушкой, плакал, упав с лошади или подвернув ножку в неудачном прыжке со скалы, крестьяне понемногу сокрушали хитроумные препятствия на пути к реформе и, наконец добившись ее, назвали «рипорму» простым и ясным для каждого горца словом: разделение. Разделение на господ и рабов, князей и кулов<sup>1</sup>.

Отделившиеся кулы ринулись искать новые земли — селиться и разводить скот; их не останавливали коварные суммы выкупа, когда за каждый дым отдавали все, кроме самого дыма. Но дым собственного очага дороже всего отданного — и было ясно, что привычные к труду каратабаны быстро залатают прорехи и укрепят хозяйство. Тогда же и состоятельные семьям, лишившимся возможности косить сено чужими руками, собственные луга стали казаться слишком обширными. Бывшие кулы, наладив свое хозяйство, теперь просветленным взором оглядывали эти луга, договаривались и скашивали — копна себе, копна хозяину, а понемногу и вовсе выкупали их. Желание жить независимо, жить просто, крепко трудиться начало сменяться жаждой богатства. Тут в горах пошло такое смешение родов и сословий, что люди стали почитаться не по древности рода, не по чистоте крови, а по количеству овец и сенокосных угодий. И никто не мог сказать, что новые богатеи лучше старых, что они относятся к бедным более человечно, чем чистокровные князья.

Князь Исмаил умел жить с людьми без лишних потрясений и обид, по-доброму расстался он и со своими кулами. Жандаровы же были родом независимым, никому не служили и своих прислужников никогда не имели. Бури этих шести и последующих лет, можно сказать, не коснулись этих двух родов и ощутимого холодка между Бурундуевыми и Жандаровыми не внесли. Конечно, плакал в

---

<sup>1</sup> Кул — раб.

своей узорчатой колыбельке Айдарук, лишенный сытного молока женщин рода Жандаровых, но лишился он его не потому, что шло «разделение», а потому, что и без того к приходу его, Айдарука, поколения былой близости между двумя родами уже не чувствовалось. Дружба двух больших, не равных по сословному положению родов в Жамауате по новым временам становилась сложной, обременительной для обоих, наверное и аталычество — молочное братство — больше века связывавшее их, изжило себя. Потом, через много лет, оглядываясь назад, Айдарук видел, какие это были годы — не то чтобы немирные, а какие-то смутные, затянутые кислым туманом. В ущелье, где стоял старый аул Жамауат, за эти годы случилось лишь одно событие, всколыхнувшее почти все горское общество — кончина Исмаила.

Князь был в расцвете своей мудрости, но умер, не довершив и половины своих дел, лишь успев сказать сыну: «Учись сам и учи других». Поминки тянулись больше месяца, попрощаться с Исмаилом ехали из Кабарады, Осетии, Карачая. Айдарук глубоко переживал смерть отца, он, как и все сыновья на свете, чувствовал себя виноватым в том, что не так, как должно, радовал отца делами, мучило раскаяние в том, что за своими юношескими увлечениями слишком мало уделял ему времени и внимания. Князь Исмаил вроде бы жил своей отдельной, только ему принадлежащей жизнью, но теперь, казалось сыну, он занимал собою все это тесное ущелье: до чего бы отец ни дотрагивался при жизни — камни забора, седло и сбруя, рога красных волов, его золоченый пояс и кинжал, его ружье, — все теперь обретало новое значение. Иной теперь казалась его походка, иным смыслом наполнялись его слова и поступки. Этим же смыслом наполнялась жизнь сына; все, чем жил отец, чему верил и о чем мечтал, теперь становилось его целью, смыслом его дней. Слез он не лил, мужчине не полагалось, но все эти дни, стоя с утра до вечера на ногах, принимая соболезнования, он вспоминал все, что говорил ему отец, каждое слово слышал заново и полный их смысл разгадывал лишь теперь. Еще заметил и запомнил Айдарук на похоронах: в почитании верного человека народ един, и когда он прощается с ним, то прощаются не разные сословия, не разные люди, прощается один человек.

Эта догадка осталась в его памяти навсегда. Где бы ни был князь, учился ли во Владикавказе, в Тифлисе, пу-

тешествовал ли по другим краям, он помнил завет отца о просвещении народа и готовил себя к этому. Он вернулся домой, женился, но и в свой медовый месяц не сидел рядом с женой, а пустился на поиски дорожного мастера. Три года жизни молодого князя и три стада баранов из отцовского наследства были отданы на прокладку дороги до слободки Нальчик. Это был выход в большой мир. Кунаки отца, а теперь и его кунаки, говорили о том, что насилие противно человеческой совести и те, кто лишает свободы другого, теряет свободу и сам. Не подавлять следует мысль, а просвещать народ. Для чего богатство, если оно не служит добру?

Айдарук был твердо убежден: только знания могут изменить людей и всю жизнь вокруг. Он открыл школу и сам, как граф Лев Толстой, начал учить детей — и бедных, и богатых. Первыми против него восстали другие князья-таубии: «Если все будут учиться, кто будет пасти скот?» Айдарук сказал: «У нас — и стада, и знания. Мы не можем дать всем скот, так дадим хоть немного знания». Обозленные таубии запретили своим детям ходить в школу Айдарука. Вслед за ними и бедняки, те, что зависели от таубиев, забрали своих детей. Айдарук часами сидел во дворе своей неудавшейся школы. Порой ему казалось, что не соплеменники его, а он сам задыхается от невежества и беспомощности. «Да, не знаем мы иной аристократии, кроме аристократии ума, таланта и личных заслуг», — мысль эта когда-то покорила его своей возвышенностью и красотой. Теперь же он сидел во дворе своей пустой школы и понимал, что его, аристократа по крови и по уму, вместе с этой красивой мыслью сама жизнь пришибла к земле.

Проходили годы. Так толком и не узнав друг друга, повзрослели, стали отцами, начали стареть Айдарук, сын Исмаила, и Коналий, сын Науруза.

В доме князей Бурундуевых не часто вспоминали об атальчестве былых времен, но в роду Жандаровых много рассказывали о славе предков. Слушая отца, сыновья переполнялись добрыми чувствами к княжескому роду. Если же случалось встретиться с кем-либо из князей, они смущались первыми, словно Жандаровы и нарушили дедовские заветы, но смущаться, по-видимому, следовало прежде всего князьям, и они — может, понимая это? — обычно не затягивали разговора дольше приветствия.

Теперь же, оглядываясь на прожитые годы, споря с

самим собой, князь Айдарук с горечью осознавал, что с потерей дружбы Жандаровых они потеряли и часть достоинства и силы рода. Со своей уже белеющей горы он хорошо видел: петорной, неширокой, но надежной была тропа атальчества с добрым, достойным родом, зря свернули с нее Бурундуевы. Как бы она была кстати в эти тревожные времена, когда не знаешь, куда идти.

Казалось, народ еще жил прежней жизнью; оглушенные шумом водопадов и неумолчным гудением скал, люди еще продолжали видеть дым, марево давно уже развеянной вольницы; казалось, они не замечали, как в их долины и теснины исподволь вползает зверь — солдатчиной, налогами, жесткими хозяйственными законами. Князь выходил на ныгыш<sup>1</sup>, подолгу слушал разговоры аульчан; тяжелые были это разговоры. Князь больше молчал. Люди по-прежнему почитали его, во всяком случае, были учтивы, но и откровенного дружелюбия, сердечности уже не выказывали; Айдарук чувствовал, видел по лицам, что и они, его земляки, учуяли зверя, уже слышат его рык. А теперь, после того как приехал долговязый ротмистр и увел десять кормильцев из десяти домов, после того как князья и Айдарук вместе с ними не сказали ни слова против, не умерили рвения Ерюзмека, после того как было сказано, что война царя — это война за отечество, а за отечество, они знали, должны воевать и, если нужно, погибнуть все, — они ждали, что вслед за своим рычанием из сокровенных глубин покажется и сам зверь, его ощеренная морда.

Прошло полгода, а вестей от ушедших на войну не было никаких.

Из низин, куда обычно сбегал туман из долины, шли вести о том, что в России революция и солдаты истребляют рабочих, таких же русских, как и сами. «Что же, — сказал кто-то на ныгыше, — это их кровь, пусть и льют».

Князь прочитал в «Терской газете» о пропавшем без вести кабардинце Керефове. Но вскоре вернулся Жаширза и рассказал, что Керефов, бывший учитель из Кабарды, был приговорен к смертной казни и расстрелян за то, что говорил о бессмысленности войны. Еще через полгода вернулись Бекболат, Ако и еще двое, один лежал в госпитале в далеком городе Хабаровске. Отец и старший брат уехали к нему да там его и схоронили. А трое, в том числе

---

<sup>1</sup> Ныгыш — место, где собираются мужчины аула.

и Асланмырза, сын Эльдара, погибли. И даже могилы их были неизвестно где.

Что же касается Заммая, то Бекболат сказал: «Война быстро сближает и быстро разъединяет людей». Больше он ничего не сказал, но из рассказа Ако узнали, что семь дней в пути Заммай был с земляками, все молчал, почти ничего не ел, больше спал, потом на какой-то станции их разбросали по разным полкам, всех северокавказцев отдали русским командирам, но Заммая больше никто не видел и никто не мог сказать, жив он или погиб.

От пули и кинжала умирали и здесь, но живые своих мертвых всегда хоронили своими руками. Теперь кони возвращались без седоков, а жамаат собирался на похороны без покойника.

Гонимый беспокойством, князь побывал в Карачае, в Кабарде, в стране аланов за Терекон, ясности не было нигде. В этот год Айдарук и в Москве побывал, у своих русских кунаков, но вернулся еще более растерянным. Вот там действительно трясло, в Жамауате лишь отдавались толчки.

Такой же разлад был и в душе Адея-эфенди. Но у него было дело, его медресе, ему было легче.

Он был тогда на тое Ерюзмека, слушал его речи и со слезами на глазах корил себя за то, что не верил мудрости и безмерности жизни, а она — вот! — даже такого заскорузлого душой человека, как Ерюзек, поворачивает сердцем к добру и просвещенности. Потом, уже в управе, они с Айдаруком, поняв все, переглянулись и горько усмехнулись — не пад Ерюзмеком, над собой. Но лишь теперь он начал понимать невеселую участь старшины — эфенди уподобил его сухой веточке, которую несет поднывающая река.

На уроках он видел вопрошающие взгляды близнецов Жандаровых и других мальчиков. Но что он мог сказать? Он боялся, что, если объяснит им все откровенно, так, как понимал сам, — и в душу мальчиков упадет искра злого огня, и вырастут они с постоянной болью тления, и многое оно, это тление, может выжечь из их души. Мог ли он? Его долг воспитать их правоверными, справедливыми, любящими свою землю людьми, если удастся — и образованными, но есть вещи, которые он объяснить не берется, пусть их объяснит сама жизнь.

Лучшим его сохтой был Каншау. Эфенди радовался его сметливости, его постоянной открытости божьему сло-

ву. А Каншау был в постоянной радостной лихорадке — так ему нравилось учиться. Суры корана звучали так складно, так выразительно пел их эфенди, что Каншау словно уходил в небеса. Особенно нравились ему хадисы — они звучали как сказки. Адей рассказывал их в медресе, а дед повторял дома, после намаза. Однажды Каншау спросил учителя: «Почему хадисы похоже на сказки?» Адей не отругал сохту за дерзкий вопрос, хотя уподобить хадисы, легенды из жизни пророка, сказкам было грехом, объяснил просто: ведь пророк оттого и пророк, что совершает в своей жизни много сказочного. Еще больше удивился Каншау, когда Адей в тафсире<sup>1</sup> к суре о Юнусе привел для сравнения их сородича Жашыу. Ведь Юнуса хотели убить лишь за то, что его вера отличалась от веры других. И в Жамауате сожгли Жашыу потому, что люди были темны и подавлены страхом.

Порою и сам Адей начинал подозревать, что некоторые его рассуждения противоречат учению ислама, иные его рассказы могут внушить ученикам совсем неожиданные мысли и чувства. Но настораживаясь умом, сердцем он отдавался вольным преданиям. «Ведь учение ислама разрешает мусульманам иной раз и не следовать предписаниям веры», — размышлял он. «Но лишь на время, и только в особых случаях, — возражал он сам себе. — В случае священной войны... ну, когда... когда жахилы<sup>2</sup> одолевают, а поборник веры в смертельной опасности». «Если допускается в особых случаях, то допущено будет и в другой раз, а там и в третий, и в десятый... — не отступал он. — Верующий должен быть искренним и справедливым. Если же душа переживает одно, а ум твердит другое — это не вера. Полная убежденность — вот что должно быть в основе всякой веры...» Он также видел, что ислам, признавая грехом все неблагоприятное, все-таки ищет не совершенства, а покорности, бездумной любви и бездумной добродетели.

Адей же жаждал совершенства: духовное прозрение должно привести к свободному выбору корана, а не к слепому следованию его догмам. И, пытаясь заронить это в своих учеников, он читал им стихи древних поэтов Востока, объяснял, что именно в них, в этих стихах, бьется жизнь, прорываются звуки глубинной тайны совершенства, что они, его сохты — Жансох, Шабатук, Кочар, Тарох,

<sup>1</sup> Тафсир (арабск.) — комментарий к корану.

<sup>2</sup> Ж а х и л ы — неучи, темные люди.

Хассеит, Мурай, Каншау, Алихан, — должны сердцем постичь эту тайну, она должна взволновать их, иначе не будет ни истинной веры, ни совершенства, ни счастья духовного слияния с кораном. Так он хотел совместить несовместимое, пытался на сухом дереве шариата вырастить живые плоды. Но мучился этими противоречиями сам учитель, ученикам же его сомнения были неведомы, они принимали все, что он скажет, а когда он говорил им об их просвещенном будущем и читал стихи, ласковый холодок вползал за шиворот многим, и, охваченные таинством чтения, как некогда мальчики Жандаровы — зовом муэдзина, они замирали. Каждый день вместе с тишиной, сумраком, знобящим холодом каменных стен медресе они уносили с собой эти зовущие тайны далеких времен. Ученикам казалось: только силой корана, его волшебством были рождены и сохранены эти стихи для людей.

Годы шли. В долине установилось долгое затишье — точно полуденный зной, выматывающий силы, лишающий дыхания; ущелье не продувалось ветрами, а те вести, что поднимались с низин, сбивали с привычного лада и в ночных думах, и в дневной работе. Адей ломал голову над неразрешимыми противоречиями дин-ислама, неподвластными разуму тайнами мироздания, и с тоской смотрел на взрослеющих учеников и на дороги, что вели в те места, где жили мудрые учителя, знания которых нужны были Жамауату и этим детям. На низких стульчиках уже сидели сохты второго набора, и он знал, что уже скоро ему будет нечему учить и их, знания, которыми он мог поделиться, подходили к концу. На исходе был третий год занятий в медресе, а у него не было ни времени, чтобы искать нужного человека, ни средств, чтобы как-то иначе расширить возможности медресе.

После месяца рамадана, выдержав пост уразы, он выпустил учеников по домам, сказав, что занятия возобновятся через шесть месяцев. Он надеялся за это время найти учителя. Он отправился в Теркбаши (Владикавказ), посетил своих друзей в Кабарде и Осетии, но долина Жандара была слишком оторвана от мира и, видать, слишком переоценивала свои возможности — даже самые рьяные заступники просвещения и великие ревнители прогресса лишь почесывали в затылке. Отчаявшись, Адей решил совершить хадж<sup>1</sup>, — он бы успел к сроку. Он подал проше-

<sup>1</sup> Хадж — паломничество в святые места, к могиле пророка Мухаммеда.

ние в кадийство в Темир-Хан-Шуре, ему обещали к концу года, к месяцу Зу-ль-хаджжа — времени свершения святого хаджа правоверными мусульманами — выправить все бумаги. Вернувшись в Жамауат, он читал коран, размышлял, боролся с сомнениями, вел долгие разговоры с Айдаруком, обсуждал с ним дальнейшую судьбу медресе. Князь не отказывался помочь, но и особого усердия не выказал. И чем ближе подходил месяц Зу-ль-хаджжа, эфенди все больше волновался, нервничал. Адей не знал, отчего так, но приближение срока не разжигало в нем внутреннего огня. Бумаги Адея запаздывали, возможно, они совсем затерялись под толстыми томами тефсиров<sup>1</sup> корана. Пришел месяц Зу-ль-хаджжа и прошел, эфенди успокоился и снова созвал своих учеников.

Там, в Мекке, могилу пророка, наверное, омывали дожди, здесь, в долине, день ото дня все яростнее несла Юрду свои воды в неведомые края, и не было ясности в делах и думах Адея. Все свои знания он выверял на учениках. Сначала ему казалось, что знаний этих хватит только на два года учебы, но даже и трех лет для того, чтобы передать сохтам все, что он знал, оказалось мало — получилось как в притче о хлебосольной хозяйке, которая думала, что муки на дне мешка только на одну лепешку, а когда вывернула его, то наскребла на девять. Потребовался четвертый год. И он был рад, даже гордился про себя, оказывается, он знал даже больше, чем полагал сам. Четыре года нужно было — не меньше и не больше — чтобы сохты в совершенстве овладели искусством выразительного чтения, научились сами проставлять все уздечки, точки, крючки арабского письма, усвоили чудо той поэзии, которая, как они думали, рождена волшебством и силой корана, и, наконец, узнали творчество родного народа — легенды, предания, сказания, песни.

За долгих четыре года лишь одного из своих учеников не мог наставить Адей на путь истины — Жансоха. Не лежала у Жансоха душа к черноте корана. Отношения между ним и эфенди все усложнялись. Учитель строго спрашивал с него, сохта дерзко не учил сур корана. Он бы давно бросил учение, но он мечтал о собственном коне, просил у отца жеребенка, а Коналий обещал его только в том случае, если Жансох завершит коран. Возможно, Жансох и закончил бы ненавистное ему медресе, но од-

---

<sup>1</sup> Те ф с и р — толкование.

нажды, потеряв терпение, Адей наказал его балакой. Жансох молча вынес наказание, ни разу не отдернул горящую ладонь, но на этом его хождения в медресе кончились. Даже мечта о собственном жеребенке не удержала его. Ни дед, ни отец не смогли вернуть его в медресе — ни палкой, ни угрозами, ни посулами. Теперь Жансох вставал раньше всех и, погоняя ослов, уходил в лес за дровами.

В одно утро ученики Адея собрались во дворе мечети — на экзамен по верному, выразительному чтению корана перед всем жамаатом. Пришли пораньше, чтобы успеть обсудить новости, кому какие теперь предстоят пути-дороги. У каждого из них был план, каждый мечтал о чем-то, лишь Кочар и Тарох помалкивали — какие планы могут быть у бедного, кроме одного: не умереть с голоду?

Молчал и Каншау, он мечтал учиться дальше, но о том, чтобы он поехал куда-нибудь, дома не было сказано ни слова. Он глушил тоску в разговоре с любимым другом Алиханом, который в скором времени должен был уехать в Стамбул. Каншау был рад за него, потому что Алихан, как и он, любил коран и другие китабы<sup>1</sup>. Он был добрым мальчиком, в драку не лез, не то что Жансох или Мурай. Алихан еще лишь собирался ехать, а Каншау все расспрашивал его о Стамбуле, словно он уже вернулся оттуда. Княжатам Мураю и Шабатаю предстоял отъезд в Бахчисарай — в лучшее духовное училище по эту сторону Черного моря, как говорили они сами. А Хассеит — казалось, за годы учебы в медресе он несколько не изменился, ни телом, ни лицом — уезжал в Карачай. Он все так же шмыгал носом, рот его чуть ли не от уха и до уха расплзался в улыбке; живой, подвижный, всезнайка, он успевал и в мечеть забежать, и выбежать обратно, и с ходу вклиниться в спор.

Дети князей и узденей обсуждали, где лучше учиться, где ближе к аллаху, а где вообще есть что-то еще кроме корана и китабов. Оказывается, Стамбул, Дагестан, даже Бухара, такая далекая страна, доступны более, а в Бахчисараяе могут учиться только князья, и то состоятельные, бедные же (хоть и князья) пусть радуются, что есть на свете Дагестан и Стамбул. Шабатай утверждал, что сейчас в Бахчисарай приехал учиться сын турецкого султана.

— Не султана, а паши,— поправил его Хассеит.

Шабатай зло посмотрел на сына бедняка Омара, он

---

<sup>1</sup> К и т а б — книга.

бы с удовольствием дал бы ему кулаком по голове, но драться возле мечети было нельзя, и он молча проглотил меткий острый камешек, брошенный Хассеитом. Камешек драл горло, обжигал грудь, ведь люди могли подумать, что этот недоросток бедняка Омара знает больше, чем он.

— А лучше земли, чем Карачай, нет нигде, — гнул свое Хассеит. — Теберда, воспетая поэтом Востока Абу-аль-Муталлип аль-ассани Муртазали ибн Хаким аль-Асфагани, аль-Туфагани...

Жансох толкнул его плечом в бок и оборвал бесконечное имя восточного поэта. Жансох пришел переживать за брата, а если по совести — найти повод и померяться силами с Мураем. Но здесь, как и у взрослых, сбивались в свои кучки — князья, уздени, азаты, кулы. Если порой и сходились в общий круг, все равно разделение было явное. Оттого, казалось, Жансох срывал зло на бедном Хассеите. Сын Омара смело мог подковырнуть Шабатая, даже перечить взрослому, но стоило Жансоху взглянуть попристальнее, он тут же сникал. Никто и слыхом не слыхал о поэте с таким длинным именем, скорее всего, такого и на свете не было — просто выдумка Хассеита, на это он имел великие способности.

— Пока доберешься до конца имени своего поэта, состаришься, — сказал ему Жансох. — Морочь таких, как Мурай. А меня, хоть я и бросил медресе... — он покосился на Мурая, но тот сегодня был настроен миролюбиво.

Каждый по-своему переживал предстоящее испытание. Тарох волновался, его лицо было мокро от пота — держа открытый коран в руках, он ходил взад-вперед, повторял заученные суры, потом, почему-то закрыв глаза, прочищал горло. Чем ближе становился час обеденного намаза, когда должны были начаться испытания, тем больше его голос походил на мольбу о пощаде; ничего страшного не ожидалось, ничто не угрожало ему, в худшем случае могли сделать замечание, что не так выговаривает то или иное арабское слово; ничего не изменится, если даже старики поругают его, а он страдал, суетился, как перед поркой.

— Что ж, удел бедных... — сказал Мурай, глядя на него.

Сам он и не думал о том, что ожидает его в мечети. Прочитает как прочитает, и пусть говорят, что хотят. Так же были настроены и Шабатай, Алихан, Кочар... У Кочара не было даже собственного корана, и он читал хуже

всех — трескучим, жестким, не допускающим никаких сомнений и возражений голосом, так он читал часами, куда не изводился сам. Здесь же он все норовил прибиться к кругу князей и узденей, хотя в разговор с ними и не вступал, жадно ловил каждое слово. Потом он присел к Каншау и, положив руку ему на плечи, горестно вздохнул:

— Кто куда, а мы с тобой в батраки! Ух, жечь бы этих богатеев! Жечь! Жечь!

Каншау не ответил. Но Кочар был прав. Куда еще детям бедняков, даже с кораном, если не в батраки!

Ему захотелось убежать отсюда, зарыться в землю, и эта печаль пронзила его голос, когда настал его черед показать старшим свои знания.

Он читал коран так, словно плакал покинутый в степи ребенок, и от суры к суре, от аята к аяту он все глубже постигал обреченность покинутого; он призывал всех людей на свете к милосердию, уверял их в том, что если не будет этого милосердия, то не миновать великой беды. Он держал в руках коран, но читал не чужие откровения, а свои — новые, сегодняшние, только что, — оттого и более близкие людям, зловещие, горящие болью и нетерпением; горячие слезы Каншау падали на строчки корана, но, видя преданность не тронутой грехом души мальчика божественному знамению, старики не останавливали его, не мешали чтению. А он продолжал взывать к милосердию, просил, чтобы дали ему возможность учиться дальше, постичь тайны дин-ислама; он обещал указать людям самую верную, самую короткую дорогу к счастью, обещал быть правдивым и честным. Не верить мальчику было нельзя, потому что перед стариками, состарившимися на чтении корана, видевшими и слышавшими, как читают его в Мекке и Медине, сидел не ученик Адея, не сын неказистого Коналия, а пришелец из другого мира — сама юность пророка, когда в душе его рождалась и вызревала святая книга мусульман. Старики переполнились светлым сознанием того, что верно направляют молодежь на путь истины; они готовы были встать, коснуться руками и бородой пылающего лица мальчика, но он, закончив чтение, встал прежде их, почтительно склонил голову перед стариками и, пятясь, вышел из мечети. Повернувшись, он все убыстрял и убыстрял шаг, ничего не видя перед собой, а потом и побежал, встревоженный крик Жансоха лишь подгонял

его. Вбежав по ступенькам в дом, он бросился на топчан и зарыдал.

Дома суетились женщины, их было много, но Каншау словно не видел их, они же, проходя мимо, стыдили его, каждая на свой лад:

— Уже большой мальчик, всадник даже, а он нет что-бы радоваться,— плачет.

— Не знает, как радоваться, вот и плачет,— говорила другая.

Третья догадалась:

— Может, он хотел сестренку, а тут такой кочхар!<sup>1</sup>

Первая, которая назвала его всадником, присела рядом на топчан.

— И мать жива, и мальчик здоровенький, а ты плачешь,— Каншау сквозь всхлипы узнал голос Хабай.— Перестань, дай теперь поорать младшему!

Со слезами вытекла боль, ушло чувство заброшенности. И теперь ему было стыдно перед женщинами, стыдно и смешно, потому что в другой комнате орал малыш, а женщины наперебой укоряли:

— Нашел время плакать, теперь их будет три брата, как три опоры таганка, а сестренка еще родится.

...Вскоре Кундуз поправилась совсем, и Коналий, если поблизости не было его отца Науруза, брал в руки своего третьего косаря, уже нареченного Рамазаном.

Летом Каншау впервые взял косу и встал за отцом. И нечего было рыдать, так жили до него, так будут жить после него, так проживет и он: по весне будет расчищать маленький надел земли, собирать скатившиеся со склона камни, потом вскапывать, сажать картошку или сеять ячмень; летом — косить, копнить; по осени впрок заготовливать дрова, зимой свозить с гор сено, и круглый год пастись скот. Так будет день за днем, год за годом, на одном и том же склоне, по одной и этой же дороге, ради одного и того же — чтобы не умереть с голоду.

Каншау и не заметил, как прошло два года. Отец поменял им косы, ему и Жансоху, дал с большим охватом, как положено по теперешнему их возрасту, сами же они срезаали в долине две трехлапчатые ивы, подогнали, выровняли ветки так, чтобы, выгнувшись посерединке и чуть дужком, верно вышли в зубья, и поставили в тень сушиться. А к выходу на косовицу еще обстругали зубья, надели на

---

<sup>1</sup> Кочхар — барашек.

кончики заостренные, отлощенные козлиные рожки — и легкие, играющие получились вилы, одно загляденье. Теперь они уже не садились на ишачков, уступали младшему брату, а он, этот Рамазан, словно и родился на ишачке, уже на третьем году жизни так прилипал к седлу — какой там страх, что упадет, — от седла было не оторвать. Жансох так и прозвал его: ослиная шкура. Каншау сердился на грубость брата и, подняв Рамазана на руки, говорил: «Никакая не ослиная шкура, а крепкий, сметливый парень, знает, как держаться в седле!»

Годы шли, но желание учиться не убывало, не потухало, наоборот, разгоралось, томило все сильнее. В полуденный отдых на сенокосе или дома после вечерней молитвы, он молча, с мольбой смотрел отцу в глаза, а тот опускал голову. В каменном доме, где пахло кизяком, выделанной овчиной, где капала в нише черная ледяная вода, Коналий часами сидел и размышлял о судьбе сына. Он не знал, что ему делать, говорили о Бухаре и Стамбуле — до тех краев было далеко, да и какие силы у Коналия, чтобы отправить сына в такие несусветные земли? А Каншау спускался к Юрду, подолгу глядел на тугие жгуты бурного течения, словно спрашивал у них о своем будущем. Мальчиком он был гораздо счастливее, когда в мечтах уходил вместе с этим течением, уносился в неведомые края. Теперь же он понимал: тех пределов, до которых добегают река Юрду, ему не достичь никогда.

Но однажды он увидел Адея — эфенди, тот заворачивал своего коня к каменному мосту. Каншау задрожал, прижался к скале под мостом, и вот уже над его головой прошли копыта коня. Каншау любил эфенди, при виде его всегда волновался. И сейчас он стоял под мостом и боялся выглянуть, посмотреть на кособока своего двора. Он слышал, как конь учителя остановился у ворот их дома, тут бы ему побежать, принять повод коня, помочь учителю сойти с седла, но он все стоял, затаившись за камнем, а кто-то вышел из дома, ответил на приветствие почтенного гостя и помог ему спешиться.

Когда дрожь унялась и скала отпустила его, он поднялся к дому. Лошадь Адея уже поперхивала у коновязи Жандаровых, и деда Науруза уже не было на его обычном месте. Каншау пошел, скользя спиной по каменной ограде, мимо лошади, мимо дедового чурбака с оставленным аплуном и остановился у дверей. Эфенди не мог прийти просто так. Каншау знал: эфенди хочет, чтобы люди

учились, в день благословления по случаю завершения медресе он обещал подумать, как сделать так, чтобы он мог учиться дальше.

Каншау не мог войти к старшим. И лошадь Адея мотала головой — то ли стараясь вызвать участие к себе, то ли успокаивая его самого. Кундуз выглянула во двор.

— Учитель? — спросил он для уверенности, для того, чтобы найти поддержку у матери.

— Принеси дров, — сказала она.

Каншау быстро набрал охапку и уже с ними вошел в дом. Он не смотрел в сторону старших, даже поздороваться — значит войти в их беседу, но ясно услышал слова учителя: «Абдул-Межид мой давний кунак, он согласен...» Тихо положив дрова у очага, Каншау повернулся, чтобы уйти, но его остановил голос эфенди:

— Оставайся тут.

Каншау встал в углу.

— Из Кумыха приехал мой давний кунак Абдул-Межди, — продолжил Адей, но теперь уже для Каншау. — Его медресе известно по всему Дагестану. Я рассказал ему о своем сохте. Абдул-Межид согласен взять его к себе. Сможет ли он поехать?

Дед молчал. Молчал Коналий. Не дышал Каншау.

— Оллаха-а... — наконец вздохнул отец, — если даже придется продать дом, я пошлю его.

Утром Коналий повел корову на базар. Увидев, что Коналий ведет единственную корову, соседи обступили его:

— Что случилось, алан? Беда стряслась, а мы и не знаем?

— Да вот худого этого мальчишку учиться посылаю. А корову, живы будем, еще наживем. Хочу, чтобы у мальчишка открылись глаза на мир.

— Эх-хей, как же так? Мы живы, а ты корову на продажу ведешь! — сказал кузнец Бекболат. — Аланы, Каншау выучится, чьим муллой станет? — обернулся он к собравшимся. Сам же ответил: — Нашим! Вот я даю рубль...

Кто положил рубль, кто двадцать копеек, кто десять, кто и того меньше, но не успел Коналий опомниться, как башлык его был полон.

— Возьми, Коналий, посылай сына учиться, — говорили они. — Вернется муллой, коран нам почитает, а умрем — на похоронах наших молитву сотворит. Не обессудь, были бы богаче, по барану бы не пожалели.

— Чем я заслужил такую щедрость? Да возблагодарит вас аллах,— только и говорил отец.

— Одной земли хлеб и соль едим, одного ущелья воду пьем, как же не помогать друг другу?

Коналий свернул башлык и повел корову домой. Вечером их дом снова посетил эфенди.

— Я слышал о поступке аульчан,— сказал он.— Бог возблагодарит их за доброе дело. Я тоже хочу внести свою долю.— И вытащил из выцветшего бумажника пятирублевую бумажку.

— Нет, нет, не беспокойся, эфенди,— засуетился отец. Он знал, что и продав корову, не выручил бы пяти рублей.— И того хватит, что ты уже сделал для нас.

— Постарайтесь угодить Абдул-Межиду, — сказал Адей, положив деньги на стол.— Каншау будет учиться у него четыре года.

Коналий пригласил дагестанского гостя вместе с Адесом к себе в дом. Собрались близкие и друзья дома, и рядом с Абдул-Межидом и Адеем сидели Дебош, Жанмирза, Бекболат, сын Жанмирзы Мусса разделявал барашка во дворе. Жанмирза и Бекболат сначала рассказывали о японской войне, но, видя, что такой разговор не увлек далекого гостя, решили спеть. Бекболат спел старинную песню, выговаривая так, чтобы было понятно гостю из Кумыха, но достопочтенного не развлекла и песня. Хаджи в белой чалме, молчаливый и неприступный, казалось, был не от мира сего. За весь вечер он ни разу не взглянул на тех, кто сидел рядом, ни о чем не спросил и ничего не рассказал сам, хотя губы его непрестанно шевелились, борода, белой волной стекающая на тощую грудь, дрожала. Каншау, хоть и был взбудоражен предстоящим отъездом, чувствовал тоску. Нелюдимый вид хаджи пугал его, он понимал, что дружбы, какая была между Адеем и его учениками, здесь уже не будет. Но угрюмость высокого гостя воспринималась собравшимися за углубленность хаджи, за горную отрешенность от мирской суеты. Хаджи был осенен божественным знаменем, и его безучастность к шуму застолья лишь возвышала его в глазах жамауатчан. К извечному уважению, какого заслуживает любой гость, еще примешивалось чувство благодарности к Дагестану — через него Жамауат получал ислам и книги. Но Каншау еще не понимал всего этого и лишь боязливо поглядывал на своего будущего учителя. И все же это было счастье: вслед за Мураем и Шабатаем, уехавшими в

Бахчисарай, Алиханом, уехавшим в Стамбул, и Хассеитом, только теперь отправляющимся в Карачай, он, Каншау, уезжал в Кумых — учиться!

На следующее утро по узкой малоезжей дороге катилась воловья арба. Ее, шагая по сторонам, провожали Адей и Коналий. На арбе восседал Абдул-Межид, все такой же молчаливый, на плечах хаджи белел дорогой башлык, который уже в арбе накинула на него Кундуз. Каншау сидел впереди и длинным шестом погонял волов. Он был бледен, растерян, и лишь обязанность погонщика удерживала его в арбе.

...А еще через два года случилось так, что князь Айдарук возвращался из поездки в Дагестан, а в низовьях речки Ак-таш — одежда в лохмотьях, губы спеклись, глаза потускнели, подошвы босых ног потрескались, шапка потерялась где-то и отросшие волосы на давно не бритой голове выгорели от солнца — скитался Каншау. Мало ли бездомных бродит по степи. Но этот чем-то привлек внимание князя, и он, поравнявшись с ним, остановил лошадь. Бродяга посмотрел на всадника, потом, отневив ладонью глаза от солнца, оглядел еще раз и быстро отвернулся.

Князь потрогал его по спине сложенной вдвое комчой.

— Куда путь держишь, джигит?

Бродяга молчал. Князь спешился, обошел его и встал перед ним. Взял за плечо. Мальчик вырвался, хотел убежать, но, видно, уже не было сил.

— Алимьрза, покорми путника, он голодный, — сказал князь своему спутнику. Алимьрза достал из хурджина мясо, лепешку и, перегнувшись с седла, вложил мальчику в руки. Тот, прежде чем есть, сказал:

— Я сын Коналия Жандарова! Я ищу дорогу в Жамауат!

— Коналия Жандарова? — удивился князь. — Ты Науруза внук?

— Да, алан! Я тебя узнал, ты князь Айдарук.

— Верно. А мы с тобой родственники!

— Я это знаю, только ты не знаешь.

Айдарук усмехнулся.

— Ну, ты поешь, — сказал он. — Ты давно в пути?

— Уже месяц, — сказал Каншау. Опустившись на траву, он стал есть. Пока он ел, князь молчал, не мешал ему.

— Так почему ты месяц в пути? А твое учение?

— Бросил. Абдул-Межид обманул Адея. Я только пас овец. Пасти овец я могу и в Жамауате.

— Верно. Тебе сколько лет?

— Шестнадцать! Я два года пас овец Абдул-Межида. А дома, наверное, думают, что я учусь.

— Так и думают. Алимырза, посади его к себе, не оставлять же Жандарова на дороге. Если так будет идти, не скоро дойдет до Жамауата.

Алимырза подождал, пока Каншау усядется на круп лошади позади него, и продолжил рассказ о своем путешествии в Стамбул.

— Твоя очередь, джигит, сократить дорогу,— улыбнулся князь, когда Алимырза замолчал. Каншау вспомнил, как они ездили с Орданом в горы и тот рассказывал о незадачливом путнике, пытавшемся кинжалом сократить дорогу.

Поездка в Дагестан не открыла ему пути к знаниям, как надеялись на то Адей и отец.

Поначалу в дороге Каншау всему удивлялся. И хотя он ехал в медленной арбе с незнакомым угрюмым человеком, в каждом камне, в каждом новом названии виделся ему краешек другого, неведомого мира. Но Абдул-Межид так глубоко молчал, словно был между сном и смертью, что он не осмелился спросить его ни о чем. Ему очень хотелось рассказать новому учителю о Хуламском перевале, о леднике Безенги — наверняка он такого еще никогда не видел. Но тот ничего не спрашивал и сам ничего не рассказывал. Сидит как языческий истукан, взгляда не повернет, лишь борода дрожит. И шепчет, шепчет что-то себе под нос, с аллахом разговаривает. День, ночь, день, ночь — вот, наверное, надоел аллаху!

В первую неделю Каншау знакомился с домом и окрестностями. На следующей неделе Абдул-Межид, вместо того чтобы засадить его за уроки, подвел его к отаре овец, дал ему в одну руку чабанский посох, в другую — дабы не было сомнений в его, Абдул-Межида, учительской добросовестности — книгу шариата и показал, в какую сторону гнать стадо. За два года Каншау должен был не только прочитать эту книгу, но и многие места выучить наизусть и при этом сбересть всех овец с приплодом.

Каншау пас отару и с тоской смотрел на учеников Абдул-Межида. Они приходили в медресе, в темный глинобитный дом, и, коленапреклоненные на устланном старыми обтертыми кошмами полу, с мрачной торжественностью читали непонятные им арабские тексты. Одни из них жили

тут же, в тесных худжрах<sup>1</sup>, другие откуда-то приходили. Занятия были четыре дня в неделю — с субботы до вторника. В другие дни будущие муллы занимались зубрежкой, заучивали заданные тексты. Каншау заметил, что никто из мударрисов<sup>2</sup> арабскому языку не обучал. Лишь один кроме тефсира и хадисов читал еще стихи на фарси и аджаме<sup>3</sup>. Его звали Сулайман Дивгаши, ученики любили его.

Пришла зима и прошла зима, наступила весна, но Абдул-Межид не торопился освободить его от стада. За это время Каншау подружился с Сулайманом. Он оказался простым и общительным. Он жил тут же, в такой же худжере во дворе, в какой жил и Каншау, и тоже спал на полу, возле глинобитного возвышения, на котором лежали книги. Сулайман разрешал ему воспользоваться ими, и Каншау мог любую из них взять с собой на выпас. Только одну, очень древнюю, совсем обветшавшую мударрис не разрешил выносить из кельи. Это был учебник «Зинджани»<sup>4</sup>, с ним Сулайман почти не расставался, читал и делал по нему упражнения. Каншау подолгу сидел в худжере мударриса, слушал его рассказы о древних странниках — искателях истины, жаждущих совершенства, слияния с ликом аллаха. Сулайман обещал взять его в ученики, и Каншау с нетерпением ждал, когда наступит осень и с ней начнется новый учебный год. Наконец-то он будет зачислен в медресе! Но летом Сулайман Дивгаши неожиданно исчез. Все знали о его разногласиях и спорах с хозяином медресе. Абдул-Межид не любил молодого мударриса и был только рад, что избавился от него. Еще мрачней и холодней казались теперь Каншау стены медресе.

— Не ты один, многие теперь разочарованы, — задумчиво сказал Айдарук. Он вдруг преисполнился теплым отцовским чувством к этому парню. Захотелось поговорить с ним, поделиться своими сомнениями, как со взрослым. «Он поймет, — вдруг заволновался князь, — он поймет и даже что-то объяснит!» Но сказал лишь:

— И Шабатай вернулся, тоже учебы не завершил. Надо быть дома в такое время... Дома, джигит!

<sup>1</sup> Худжра — небольшая келья в медресе.

<sup>2</sup> Мударрис — учитель в медресе.

<sup>3</sup> Фарси — персидский язык, аджам — буквально: «язык варваров», языки неарабских племен.

<sup>4</sup> «Зинджани» — средневековый учебник арабского языка, назван по имени автора, известного арабского филолога XIII века.

На следующий день под вечер они въехали во двор высокого, крытого красной черепицей дома под двумя зелеными полумесяцами. Навстречу им выбежала девочка лет тринадцати-четырнадцати. На ней было новое платье из парчи и золотые серьги. Тонкая, стройная, выше, чем бывают подростки в ее возрасте. По краю белой, четко очерченной щеки блуждала ямочка, то остановится в уголке возле губ, то исчезнет совсем.

Увидев Каншау, который сидел на крупе коня позади Алимырзы, девочка встала, спохватилась, нахмурилась (видно, вознегодовала на себя, что остановилась) и, подбежав к отцу, улыбнулась снова и обняла его ногу вместе со стремяном. Айдарук легко поднял ее и прижал к себе. Из дома вышел высокий юноша с кинжалом в золоченых ножнах на поясе, помог Айдаруку и девочке сойти с коня. Каншау узнал Шабатаю. Он спрыгнул с коня Алимырзы и замер на месте, уставившись на свои грязные ноги. Девочка глянула на него и хихикнула. Он вздрогнул и горящим, как у волчонка, взглядом заставил вздрогнуть и ее. Девочка вскинула голову, надменно оглядела его и пошла к дому, крутя в руках отцовскую нагайку.

Много, выходит, прошло времени, если Шабатай так вырос и изменился. Усы отращивает князь! Наверное, и сам Каншау теперь выглядит взрослым. Сколько же лет они не виделись? Проскрипела и закрылась дверь за юной княжной. Сестра Шабатая. Почему же он никогда прежде не встречал ее на улице? Впрочем, они ведь не выходили на улицу. Шабатай поставил коней у коновязи, снял хурджины и понес домой. «Чего я стою, как кол!» — рассердился на себя Каншау через секунду. Еще возле моста он должен был слезть с лошади и, поблагодарив, уйти домой. Он теперь дома! А сам стоит, словно проданный кул, шевельнуться не может. «А Шабатай и не поздоровался со мной,— вспомнил он.— Не заметил? Или... не узнал в лохмотьях? Конечно же не узнал! Скорее уйти, пока не узнали!..» Но тут из дома вышел маленький человечек со свертком в руках. Прошел мимо него и только потом сказал:

— Иди за мной.— Они спустились к реке.— Разденься,— сказал он, не отрывая взгляда от бурлящей реки. Каншау посмотрел на него подозрительно: он знал его, это был Карча.— Разденься, разденься,— повторил тот и развернул сверток.— Таубий проявил щедрость, он подарил

тебе одежду своего сына. Видишь, почти новая. Они одежду не изнашивают. Вот мыло.

— Мне ничья щедрость не нужна. Я домой пойду.

— Воля твоя, любезный раб аллаха. Только сначала искупайся, оденься в княжескую одежду, поешь с княжеского стола, а потом ступай куда хочешь.

— Мне не надо ничего.

— Ну что ты уперся как осел? Послушай человека, — сказал Карча уже со злостью. — Это подарок таубия. Кто же отказывается?

— Знаем мы их подарки.

— Раздевайся и лезь в воду.

— Юрду не твоя, искупаюсь, когда захочу.

Потеряв терпение, Карча схватил его и столкнул в воду. Весь мокрый, Каншау стоял посреди потока, отдышавшись, достал камень со дна — бросил в Карчу и попал в голову.

— Собачий сын, из-за тебя у меня желчь разольется! — Карча тоже нагнулся за камнем, но, услышав смех, выпрямился.

С большим медным кувшином на плече к реке спускалась дочь Айдарука. Каншау снова вздрогнул, словно увидел рысь. Он почувствовал, что начинает ненавидеть ее. «Хорошо, что я не разделся, — подумал он. — Она смеется над моими лохмотьями, а как бы смеялась, застань меня голым!»

Карча подбежал к ней, чтобы снять кувшин с ее плеча, но девочка локтем отвела его руки.

— Уходи, — сказала она жестким голосом, — я сама пришла за водой.

Карча поспешно отошел в сторону. Девочка спустилась к реке и встала напротив Каншау. Делая вид, что не замечает его, наполнила большой кувшин. Стала поднимать его на плечо, но не осилила. Каншау рассмеялся. Она глянула — коротко, зло — и попыталась поднять кувшин снова, не получилось опять. Прыснув от смеха, она присела на траву. Но тут же, видно вспомнив, что находится среди бедных, приняла надменный вид и повелительно сказала Каншау:

— Эй, раб, подними кувшин и отнеси домой.

— Подождешь, — ответил Каншау. Глаза его озорно сверкнули. — Если кувшин не хочет сесть на тебя, садись ты на него и скачи!

Девочка вне себя от ярости закричала:

— Раб, раб, раб!..

— Я-то не раб, а вот ты дурочка,— нахмурился Каншау.

Карча, не в силах больше терпеть, подбежал к ней.

— Бийче<sup>1</sup>, плюнь ты на этого нищего. Дай отнесу я.

— Ступай,— сказала она ему холодно. Рывком вскинула кувшин на плечо и, не оглядываясь, пошла вверх по откосу.

Когда она скрылась, Карча набросился на Каншау:

— Собачий сын, где ты видел, чтобы так разговаривали с бийче? Если она пожалуется отцу — попадет и мне.

— Это для тебя она бийче, а я ее не знаю,— ответил Каншау. Он пытливо поглядел на Карчу и так, не отрывая взгляда, сказал: — Сам ты собачий сын, если так говоришь человеку. Если кто говорит такие слова, он говорит их о себе.

И ему отчего-то захотелось вновь очутиться там, на княжеском дворе, опять сцепиться с этой диковатой девочкой; захотелось внимательно взглядеться в нее и найти то, чего он не мог вспомнить,— знакомое, зовущее.

Над южными склонами холмов торчали кривые дымоходы его родного Кюнлюма. В нос ударило запахом кизячного дыма и вместе — свежее испеченного чурека. Показалось: донесся голос матери. Он забыл и девочку, и возмущенного Карчу. Перед глазами встали тесные каменные улочки, покатый двор отцовского дома. Сердце его взмыло. Он бросился, чтобы перейти реку вброд, течение повалило его, понесло, заволакивая между камнями, и он с трудом выбрался из воды далеко вниз. Взбежал по косогору и только уже сверху посмотрел назад. Отсюда хорошо был виден княжеский дом. Но, как бы пристально он ни вглядывался, ни обшаривал глазами княжеский двор, девочки не было. Но от двух земных полумесяцев на крыше, как в детстве, сжалось сердце.

Айдарук жил в ожидании, ему казалось, что где-то что-то вызывает очень важное. Но следующие шесть месяцев до ташуула<sup>2</sup>, когда по осени свозили сено с гор, ничего примечательного в Жамауате не произошло. Он никуда не выезжал, и у него в доме никто не бывал, изредка заходил Адей, но таубий и эфенди ограничивались разговорами о погоде, о хозяйстве, о делах веры, оба, похоже,

---

<sup>1</sup> Бийче — княжна, княгиня.

<sup>2</sup> Ташуул — страда.

боялись заговорить о том неведомом и грозном, что уже подступало к их горам, что тревожило всех. Казалось, заговорят — и затронут зверя.

Но в самом начале ташуула умер Науруз — не заболел, не упал, споткнувшись, на крутых ступеньках, ведущих со двора к реке или с улицы к дому, умер после вечерней молитвы, прямо на намазлыке. Еще всходила вечерняя звезда, еще Кундуз доила корову в продуваемом со всех сторон халжаре<sup>1</sup>, еще внуки, только что вернувшись из леса с двумя тяжелыми возами дров, выгружали их во дворе, а дед Науруз, хотя все еще сидел на коленях на намазлыке, уже был мертв.

Айдарук во все дни похорон неотлучно был у них, успокаивал горько плачущих близнецов, встречал и провожал людей: его батрак Карча пригнал на поминки по Наурузу бычка-трехлетку и трех баранов, еще привез тулук<sup>2</sup> пшеничной муки. Князь хорошо помнил тот годами, со дня, когда родился он сам, первенец Исмаила Айдарук, неоплаченный долг Бурундуевых перед Жандаровыми. Он был рад, что хоть смерть Науруза позволила ему вернуть его. Зимой он завершил коран<sup>3</sup> для Науруза.

А весной он вдруг, неожиданно для себя, начал строить дом в слободе Нальчик. Ерюзбек смеялся над ним: «Ты, Исмаила сын, всегда жил не ко времени и невпопад. Теперь, когда в России опять началось брожение, когда надо скот обратить в золото да зарыть подальше, ты дом затеял строить... Да ведь в том доме каратабаны, коли исполнятся их злые помыслы, будут решать, на какой балке тебя, кровавого князя, повесить...» Что и говорить, Ерюзбека, чем слушать, всегда было приятнее не слушать. И никогда он дальше своего двора и ближайшей пятницы не видел. Иначе бы понимал, золото—оно скорее злое, чем доброе и никого еще не спасало, тем более — зарытое. А дом останется. Будет мир — пусть Шабатай поживет в низине, увидит другую жизнь, а не будет мира — дом останется как память о Бурундуевых.

Но стройка шла туго. Наверное, думающих так же, как Ерюзбек, было больше: скот все дешевел — воз кирпича стоил бычка, а железо, цемент шли и того дороже. Лес, правда, привозили из ущелья, но все равно затея князя оказалась накладной.

<sup>1</sup> Халжар — загон для скота.

<sup>2</sup> Тулук — мешок из бычьей шкуры.

<sup>3</sup> Завершить коран — мусульманский обряд.

И тут, словно в подтверждение слов Ерюзмека, началась война. Теперь уже с Германией. Айдарук, как когда-то у неудавшейся своей школы, горестно сидел возле своего недостроенного дома и думал о том, как быстро прошли времена, когда горевали о десяти всадниках. Теперь царский указ был много круче: брать всех мужчин всех национальностей от 21 года до 45 лет.

Услышав весть о войне, Айдарук не поспешил в Жамауат. Он знал, что все будут смотреть на него, своего князя, а он будет отводить глаза, не в силах ничем помочь. Кончилось бийство, началось царство. Скверно было повсюду. Не желая идти в солдаты, горцы бунтовали, в одном только ауле было убито семнадцать царских солдат и погибло триста крестьян-чеченцев. «Лучше бы шли на войну,— подумал Айдарук,— может, и живы остались».

Но разве из одного страха смерти бунтовали они? Поздней осенью, возвращаясь домой, Айдарук видел, что под аулами стоят пушки — на случай сопротивления. С тяжким сердцем возвращался князь в Жамауат — легче было бы уйти на войну и погибнуть, чем смотреть сородичам в лицо. Но возраст его под призыв не попадал, а вернуться давно было пора, следовало позаботиться о большом хозяйстве. Война войной, а жить надо. Он ехал на воловьей арбе, груженной зерном и кое-какими материалами для дома. Вместе с ним возвращался Карча, верный его кул и нукер. Шел дождь вперемешку со снегом, дороги были вязки, колеса тонули в грязи по ступицы. Но и на каменных дорогах ущелья было не легче. Обвалы надолго останавливали их, и если бы не великое усердие и выносливость Карчи, не скоро бы они добрались до дома.

Вернувшись, Айдарук узнал, что двух его пастухов взяли на войну. Он спешно отправил Карчу в кош, а сам стал искать новых жалчи<sup>1</sup>.

Тогда он подумал о мальчиках Жандаровых. Ему стало грустно. Он вспомнил, как сжалось его сердце, когда, возвращаясь из Дагестана, встретил одного из них — словно в степях между речкой Ак-Таш и Малкой бродил не Каншау, внук Науруза, а бродило потерянное единство минувших дней. Вспомнил, как юный из Жандаровых не хотел принять ни еды, ни одежды, ни ласки, потому что он знал о былой дружбе родов. Еще князь с горькой улыб-

---

<sup>1</sup> Ж а л ч и — дословно: наемный батрак.

кой подумал: в те-то времена Бурундуевы никак бы не пошли к Жандаровым с просьбой отдать кого-то из рода в батраки, хотя батрачить в горах не считалось позором. Мужчины из рода Жандаровых, как и все мужчины в горах, время от времени батрачили; бывало, даже уходили на заработки в степи за Прохладной. Иначе в горах и не проживешь. Но Бурундуевы, почитая молочное родство, не брали жалчи из Жандаровых, точно так же как не брали сыновей обедневших родов из своего сословия. Если уж он, Айдарук, позабыв имена женщин, сто лет вскармливавших и растивших княжат Бурундуевых, решился пойти в дом Науруза просить его детей в батраки — значит, молоко жандаровских женщин давно высохло на княжеских губах.

Во дворе Коналия были почти все потомки Заурбека и Науруза, словно затем и собрались, что ожидали князя. Парень лет семнадцати подержал коня, помог князю спешиться. Князь приветствовал молодых людей, стоявших вдоль забора, и прошел в глубину двора, где сидели его ровесники. Из почтения к князю все встали. Айдарук, здороваясь, крепко пожал руку каждому, спросил о житье-бытье. Он не узнал Дебоша и внимательно посмотрел на него.

— Сын Науруза, Коналия младший брат,— ответил Жанмирза, хотя был самым младшим из двоюродных братьев, но Инала здесь не было, а Коналий еще не мог оправиться от смущения.

— Да будет аллах доволен,— сказал князь.

Айдарук пожелал остаться здесь, хотя братья настойчиво приглашали его в дом. Кундуз вынесла подушку и, положив ее на невысокую табуретку, предложила князю сесть. Айдарук вернул подушку обратно и лишь тогда сел на табуретку.

— Если братья собрались, значит, случилось что-то важное,— улыбнулся Айдарук.— И мы когда-то были не чужими для Жандаровых...

— Ничего важного,— опять первым ответил Жанмирза. Хоть и самый младший, он уже был не молод, но, как и князь, выглядел моложе своих лет, был строен, подтянут. Загустевшая седина на висках, как дорогая отделка, делала его даже чуть щеголеватым. Он погладил крепкие рыжеватые усы и насмешливо посмотрел на стоящих вдоль каменного забора парней.— Этот негодный, вон тот, Жан-

сох, давно жеребенка просит, говорит, хочу сам себе коня вырастить. Да вот не знаем, где породистого найти...

— Когда сыновья растут и хотят всадниками стать, этому надо радоваться,— подумав, сказал князь.— У меня есть лошади кабардинской породы, есть там и жеребята. Если Жансох не оплошает, выберет такого, из которого вырастет хороший скакун. Примите, если вы еще совсем не отвернулись от Бурундуевых.

— Да будет щедр аллах к дому князя,— сказал Коналий.— Мы не хотим утруждать тебя, не к тому мы упомянули о жеребенке...

— Жансох пойдет в табун и выберет себе жеребенка,— уже твердо сказал князь.— Жанмирза, представь мне молодых людей. Сыновей Коналия я знаю...

— Рядом стоят...

— Пусть аллах даст им достойную жизнь,— с улыбкой перебил князь, поняв, что рядом стоят сыновья самого Жанмирзы.

— И тобою аллах пусть будет доволен.

— Не обессудь,— обратился князь к Дебошу.— А у тебя кто есть, сыновья, дочери?

Дебош опустил голову. Никто не хотел отвечать на вопрос князя. У Дебоша не было детей, и это огорчало всех в роду.

— Как живет дорогой для нас княжеский дом? — спохватился Жанмирза и отвел разговор от неловкого молчания.— В хорошем ли настроении княгиня?

— Аллах да благоволит всегда к Жандаровым,— сказал Айдарук. И тоже в свою очередь не стал говорить о княгине. Как не принято отцу говорить о детях так и мужу не положено говорить о жене.— У вас, наверное, свой разговор, не буду мешать. Пришел я по делу... По пословице: дурачок одно говорит дважды, повторюсь и я. Да, мы были не чужими, и предки мои не явились бы в дом Жандаровых с таким делом. Но время, говорят, и камни двигает. Скот мой остался без присмотра. И перед людьми неудобно, и перед богом грех. Знаю, своей просьбой я нарушаю правила предков. Я говорю о Каншау...— Он помолчал, словно в ожидании, но братья не спешили ему отвечать.— Будь он занят учебой, я бы не стал и говорить. Пропади пропадом любое стадо, если оно мешает кому-нибудь учиться. Но он сейчас не учится, так пусть хоть время не идет впустую.

— Да как же это! — взволнованно заговорил Коналий,

он еще от прежнего-то смущения не отошел.— Из-за негодного мальчишки такое говоришь, князь! Передал бы через других, а то сам пришел... Отдадим, чего же! Отдадим, если бы и собирался учиться. Как же! Мы не забыли почета, оказанного нам Бурундуевыми, и прежнего, и сейчас. В наши тяжкие дни...— еще он хотел сказать про поминки по Наурузу и завершение корана по нему, но не знал, как примет его благодарность князь, и смешался.

— Не о чем и говорить,— поддержал брата Жанмирза. Он подсел поближе к князю. С минуту подумав, спросил:— Много разных толков в мире... Что тебе известно, князь?

— Как мне знать...— Айдарук изменился в лице, задумался. Он понимал, что даже не о войне спрашивает Жанмирза. Что о ней спрашивать: худо! Он спросил о том неведомом, что было десять лет назад, и что, уже чувствовалось, вновь разбудила война.— Мир ушел, вот что известно. Война — там. Но может породить войну и здесь. Это уже было. Хорошего мало, если в народе несогласие, если люди стали делиться не на хороших и плохих, а на роды. Что я теперь? Бурундуевы были князьями, да совета спрашивали у Жандаровых. Я не думаю, что уклад нашей жизни во всем правильный и справедливый. Но кто скажет нам, что, изменив его, мы получим больше правды и больше справедливости? Говорят: равенство. И еще говорят: равенства и в могиле не бывает. Могила одного в провалах и колючей траве, над могилой другого склеп из белого камня. Как же иначе, если один безродный был, безродным умер, а другой был верен заветам древнего рода? Если один всю жизнь просиживает у очага, засунув ноги в золу, а что заработает — и на себя не хватает. А другой в работе горит, что лучина, из ничего малое делает, из малого — многое. Один по-человечески живет, добром делится, а другой от своего добра глаз оторвать, на небо — лик божий — взглянуть не может. Да и как иначе, если аллах рабов своих умом, силой, богатством одарил не одинаково?

С тех самых пор, как здесь, у этих скал, живут люди, были бедные и богатые, сильные и слабые. Прошли и такие князья, такие сословия, цена которых и на медный грош не тянула. Богатыми были, князьями слыли, но жили и ничем от своей скотины не отличались. Были среди них убийцы, бесчестные болтуны и бездельники. Но и мудрые бывали, мудрые и отважные! Но разве среди карахалка

нет бездельников и воров? Насильников и убийц? Не князь распяли Жашу, и Ойсула не княжеский нож зарезал. Карахалк, наверное, помнит, как в Жамауат пришла чума? А когда царь послал войска сжечь аул, то не карахалк остановил его. Навстречу солдатам вышли мой дед и ваш Ойсул. «Сначала сожгите нас, а потом можете и аул»,— сказали они. Добрый из любого рода добр, злой — зол везде.

Айдарук вздохнул и умолк. Никто не нарушил молчания.

— Кто в горах не работал? — повернулся князь к Коналию.— Мой отец не работал? Или вон князь Ерюз-мек — на сенокос босиком выходил. А вот возьмите Батырбия из рода Шакуевых. Сколько добра накопили его родители и старшие братья? А ведь когда они, кулы, отделились от князей Бедиковых, земли у них было так мало, что даже паре волов проехать было негде. Но они сумели выкупить у князей и пастбища, и пахотные земли. А князя Бедиковы? Кто они теперь? Бедные, богатые? Угнетенные или угнетатели? Да вы знаете, что, собираясь на свадьбу, девушки Бедиковых занимали платья у женщин Шакуевых! Так жили и богатели Шакуевы, покуда жили и работали отец дома и послушные сыновья. Но умерли они, и все добро осталось Батырбию. Батырбий промотал все отцовское состояние в год! Целое пастбище он отдал за расшитые брюки с бахромой. Где теперь богатство Шакуевых? Пухом растерзанной птицы разлетелось оно. Батырбий ходил в расшитых бахромой брюках, прожигал жизнь в русских слободках да на кабардинских свадьбах. Кто он теперь? Бедняк! Штанов с бахромой и тех уже нет. Так давайте отнимем земли у князей и богатых и отдадим этому бедняку!

Братья Жандаровы слушали князя внимательно, не упуская ни единого слова. Айдарук говорил все горячей, словно боясь, что не успеет высказаться.

— Ум и богатство — в труде. А кто не трудится, у того ни ума в голове, ни даже серой мыши в чулане. Ладно, прогнали биев и баев, раздали земли и имущество, но ведь и дальше надо жить: пасти отнятый скот, пахать, засеивать добрыми семенами отнятые земли. И снова одни будут трудиться не покладая рук, другие, как Батырбий, разгуливать в брюках с бахромой. Вольготно же станет таким, как Батырбий! Ведь земля-то достанется им даром! А не получится ли, что народ, выкорчевав, как он думает, угне-

тателей, сам того не подозревая, уничтожит лучших своих людей? Вы не думайте, я себя не причисляю к ним, многое у меня вышло нескладно... Но лучших людей народ вынашивает и растит веками. И что станет с народом, если он, в жажде неведомого обновления, вдруг изгонит их, лучших, и останется с такими, как Батырбий?

Айдарук оглядел сидящих. Лица их были склонены, задумчивы. Особенно напряженно слушали Айдарука два близнеца, Каншау и Жансох, ловя каждое его слово, каждый жест.

— И вот снова говорю: лучше будет, если все мы будем едины в поисках справедливости. Где-то угнетение настолько велико и безобразно, что народы не могут больше терпеть. Но мы в горах единым корнем вросли в землю, что в землю — в камни! Вырвешь одно дерево — все камни всколыхнутся, сдвинутся с места. — Князь встал, встали все остальные. — Дело не в бие, не в бае, не в соседе — рядом или чуть подальше. А в самом человеке. Ложь, страх, зломыслие, темнота, зависть, мстительность и лицемерие — вот они, эти чирьи, семиголовый змей, пустивший корни в тело человека, — это они не дают ему покоя, пожирают его труды, лишают достоинства и благородства — хоть бедный он, хоть богатый. Нас пожирает извечный огонь корысти — стремление стать над другими, быть богаче и сильнее других...

Айдарук почувствовал, что от нахлынувшего волнения начинает дрожать голос. Стараясь не выдать своего состояния, он быстро пошел к своему коню, но Каншау успел раньше и, отвязав жеребца от коновязи, подвел к хозяину. С помощью Каншау Айдарук сел на коня, но, желая что-то сказать, придержал повод.

— Легко уничтожить князей и богатых, да нелегко будет уничтожить эту корысть в нас.

Нет, волнение не унималось, и он, не закончив своей мысли, не сговорившись о деле, выехал со двора.

На другой день Коналий сам привел сына во двор таубия. Каншау не хотелось идти, не хотелось встречаться с Шабатаем, который в прошлый раз даже не кивнул ему. Но он так говорил про себя, а на самом деле все время думал о той девочке, стеснялся или ненавидел — не понимал и сам. Он умоляюще поглядывал на отца, но Коналий был непреклонен. И Каншау утешал себя тем, что долго там не останется, князь сразу же отправит его в кош,

и он будет среди пастухов, а не возле этого заносчивого княжича Шабатая.

Коналий привел Каншау, уговорился о плате, но от жеребенка для Жансоха отказался наотрез.

— Не обессудь, князь,— сказал он.— Уж это...

Больше от смущения он не смог сказать ничего, но князь понял, что уговаривать бесполезно.

В тот год в доме таубия гостило много людей, и, как говорится, котлов с огня не снимали, приходилось много топить. Может, поэтому и некогда было князю отвести нового жалчи в кош, так что Каншау остался в ауле и пока снабжал большой дом таубия дровами. Каждый день он гнал шесть ишачков в лес и привозил шесть больших выюков расколотых вчетверо кленовых или карагачевых дров, а в другой раз — круглых поленьев черной березы. Каншау знал, что о нем будут судить по дровам, которые он привезет, и старался изо всех сил. Князь хвалил Каншау, по зловредная его дочь Нальбике не пропускала ни одного случая, чтобы не задеть парня. Она тоже не забыла случая у реки, а находчивости ей было не занимать.

На беду, зима выдалась суровая. И хотя от Каншау, когда он рубил и колол дрова, валил пар, в дороге мороз прихватывал потное тело, ветер пробирал насквозь. Шесть тяжело нагруженных ишачков гуськом шагали по узкой тропе, натопанной вдоль реки, а он то бежал к переднему ишачку, чтобы поправить покосившийся груз, то бежал назад, чтобы подогнать отстающих. Бывало, какой-нибудь падал, другие уходили, а этот все не вставал. Чуть не плача, Каншау снимал с него груз, ставил на ноги, и снова нагружал, оставив на себя большую часть выюка. Вот тут уж Каншау забывал о холоде и усталости — кладь на плече и согревала, и подгоняла. Верно говорят, думал Каншау, чем тяжелее ноша, тем быстрее бежишь.

Разгоряченный, с пылающими щеками входил он во двор и все старался не выдать, что еле держится на ногах от усталости.

Глядя на него, юная бийче хихикала, а потом, нахмурившись, спрашивала строго:

— Почему дрова плохие, жалчи?

Каншау не отвечал. Он разгружал ишачков и ровной поленицей складывал дрова, изредка утирая подолом тулупа пот с лица. А она, беспомощно злясь, повторяла:

— Жалчи, я спрашиваю, почему привозишь такие плохие дрова?

Однажды, проходя мимо, он попытался задеть ее вязанкой дров. Нальбике успела выставить руку и, прикоснувшись к дровам, вскрикнула и прижала обожженную холодом руку к губам.

— Чтобы руки твои отсохли! — крикнула она ему в спину.

Он улыбнулся и, не оборачиваясь, ответил:

— Останетесь без дров.

— Все наши дровосеки — рабы. И ты, наш дровосек, тоже раб!

Каншау будто камнем ударили в голову. Он застыл на месте и не помнил потом, ответил он ей что-нибудь или нет. Не впервые говорились эти слова, слышал он их и в ауле, но не знал, что они могут причинить такую боль.

— Будь ты моей сестрой, — помолчав, сказал он тихо, — я бы тебя убил, дочь Айдарука.

— Да, я дочь Айдарука, дочь князя, меня никто не может убить! А сделаешь опять больно, я скажу брату.

— Брат! — с невыразимым презрением сказал Каншау. — Твой брат!

— Он тебя поборет!

— Вы только хвастать умеете.

Тут с улицы вошла ее мать, и Нальбике убежала.

Каншау мог бы и теперь, как тогда у реки, осадить ее, уж нашел бы что сказать. Но тогда он был сам по себе, ничто не связывало его с домом бия. А теперь его сдерживало слово отца: когда они пришли, отец при нем сказал Айдаруку, что сын его будет старательным и уважительным к дому, в который его принимают. Какой же он раб, если князь сам пришел к ним в дом и просил, чтобы его, Каншау, отпустили в жалчи? Он из рода азат, свободный горец. И никто не мог назвать Жандаровых рабами. А если он и пошел в батраки, так в этом ничего нет зазорного. Многие так делают, даже сыновья из зажиточных семей, горцу негде работать, как идти в жалчи. Каншау стал замечать, что если князь был дома, Нальбике появлялась во дворе редко, а когда выходила, то не злословила, порой даже бралась помогать ему. А он вдруг начинал робеть, стеснялся своих рук и ног, а язык и вовсе немел. И те жестокие слова казались ему просто невозможными, не могла она их сказать. Боль от давних злых слов бийце притуплялась, он видел лишь ее белое лицо, длинные тонкие пальцы, большие озорные глаза...

А потом Нальбике сыграла шутку с топором. Шабатай

с Ерюзмековым сыном Мураем собрались ехать куда-то и празднично одетые, в черкесках с золотыми газырями, с кинжалами на отделанных серебром поясах, стояли у крыльца. Айдарук давал молодым князьям свои наставления. А Каншау в хлеву надевал на осликов подвьючные седла. Он изредка поглядывал в открытую дверь на собирающихся в путь княжичей. Что-то тяжелое давило грудь — зависть ли, тоска ли... Они были его сверстниками, они рядом сидели в медресе Адея, водили пальцем по одной книге, но теперь у них были горячие, породистые кони с дорогими, щедро украшенными седлами... Каншау решил не смотреть на них, трудный предстоит день, чего уж тут... Ему нужно думать о том, чтобы исправны были подвьючные седла, о корме ослам, чтоб острым был топор.

Он собрал мягкие, смазанные маслом ремни из бычьей сыромяты и, увязав их вместе с топором, прикрепил к седлу самого сильного ишачка, к седлу другого привязал сноп сена и свой обед в мешочке, накинул тулупчик, взял в руки шест и только собрался сказать ослам «учух!», как его окликнул Айдарук:

— Каншау, заложи коровам, и волам сена.

Прислонив шест к плетню, Каншау пошел за сеном. Днем скот стоял в загонах за высокими каменными завалами. В двух загонах были коровы, в третьем — знаменитые красные волы Айдарука.

Удивительно свежо и добро пахло сено в это зимнее утро — так, что сразу полегчало на душе, Каншау захватил вилами большую охапку сена — и услышал смешок. Он вздрогнул и замер на месте — тонкий смешок словно бы исходил из стога, доброго душистого стога. Он оглянулся: из хлева выходила Нальбике и тихонько посмеивалась. Каншау стиснул зубы — и смех умер, исчез в душистом сене. Он пошел в загон, задал корм скоту, погладил по спине вола, постоял с минуту, любуясь его раскидистыми, устремленными ввысь рогами.

Когда он вернулся во двор, там уже никого не было. Шабатай с Мураем ускакали, коня Айдарука тоже не было у коновязи. И Каншау погнался ишачков в лес. Никогда еще дорога не казалась ему такой длинной. Обычно, выйдя из аула, Каншау садился на ослика, а сегодня даже забыл об этом. Снег хрустел под его чабурами, морды ишачков покрылись инеем, и не было человека несчастнее Каншау.

У подножия крутого лесистого склона он остановил ишачков, снял сено и разделил его на шесть равных оха-

пок. Развязал веревки... Вот когда он удивился! Вместо острого топора к седлу был неумело приторочен старый щербатый топор, которым тесали камень.

— Ха! — сказал Каншау и тут же опять услышал тот самый смешок, смеялась Нальбике, засмеялись длинные ремни, усмехнулся щербатый топор, и сам он не удержался и расхохотался тоже. Бийче хотела зло подшутить над ним, досадить ему, но у Каншау стало радостно на душе, будто и ему на долю досталась черкеска с золотыми газырями...

В тот день Каншау не заготовил дров, не колол на четвертушки. Он собирал валежник, ломал сухие деревья, но ему было весело и даже хотелось петь. И ослы остались довольны: хвала аллаху, этот ретивый работник наконец-то взялся за ум, и они налегке весело вышагивали по узкой дороге под уклон.

Вечером Каншау сказал юной бийче:

— Радуйся, наконец дождалась плохих дров!

Нальбике ничего не сказала, не ответила, усмехнулась только. Думала: дровосек вернется злой, без дров. А он вернулся веселый и с дровами. Опять у нее ничего не получилось.

Так дом Айдарука становился для Каншау не просто домом, где он в услужении. Теперь каждое утро, приходя сюда, он и боялся встретить Нальбике, и ждал этой встречи. Порою он перехватывал ее пристальный взгляд из окна, словно она хотела выискать что-то в его лице. А когда он работал во дворе, случалось, Нальбике выходила из дому и принималась подметать двор сердито, неумело или находила еще какую-нибудь работу.

Каншау терялся в догадках — что с ней? Казалось, что и Нальбике интересно видеть его, вот и ищет встречи с ним. Может, она жалеет, что когда-то обидела его, хочет сказать ему об этом, но гордость Бурундуевых не дает ей заговорить первой? Каншау и сам мог сказать ей, что хотя он той обиды и не забыл, но сердца на нее уже не держит. Но не знал, чего ждать в ответ, может, новой обиды — и молчал.

Так молчали оба, пока не прошла зима. А ранней весной Каншау отправили пастухом в кош.

Странная, удивительная была эта весна. В Нальбике рождалось что-то непонятное и даже пугающее ее. Она стыдилась этих перемен и в то же время ловила себя на том, что и стыдиться ей приятно. Купается с подружками

в реке или сидит с матерью за шитьем, вдруг бросит все и, замерев, пытается услышать что-то в самой себе — только что шевельнулось и пропало. Чувство это приятно щекотало тело, заставляло жадно хвататься за каждую радость дня. И названия этому не было. Да и как назвать — ты только дыхание затаила, чтоб услышать, а его уже нет. Нальбике не знала, что свершилось чудо — к ее телу прикасалась нежнейшая на свете рука и превращала ее в женщину.

Вместе с этим чувством появилось и другое, еще более странное: она вдруг стала тосковать по жалчи. И уж совсем непонятное — ей стало стыдно за те давние свои слова. Тогда она даже и не думала, что слова эти причиняют ему боль. Ну что такого — мать еще хлестче выговаривала работницам, приходившим валять шерсть. А теперь всякий раз, когда мать ругала их, Нальбике слышала слова, сказанные тогда, — неужели голос у нее был такой же? И она впадала в уныние, Каншау никогда не простит ей такой обиды!

Однажды она увидела его во сне.

«Будь ты моей сестрой, дочь Айдарука, — сказал он, — я бы тебя убил».

Проснувшись, она с досадой подумала: было ради чего видеть его во сне.

Утром Нальбике пошла к реке — по той же тропинке, по которой спускалась в тот день с кувшином на плече. Вот там стоял он тогда, мокрый, злой, по пояс в воде, но сейчас он был другой — красивый, с горящими глазами... Нальбике обернулась — не подглядывает ли кто? «Он стоял вон там, у большого валуна, и смотрел на меня». Он и сейчас смотрел на нее: молча, не двигаясь, не опуская глаз. Не тот, с помертвевшим лицом, который обещал убить ее, и не тот бойкий жалчи, который однажды зацепил ее мерзлым поленом, а тот — в рваной одежде тем вечером, когда отец привез его из Дагестана, он стоял возле коня и смотрел на свои босые ноги...

— Оборванец! — сказала она, чтобы избавиться от наваждения. — Босьяк!

Вечером она спросила у матери:

— Мама, а если какой-нибудь человек стоит перед глазами... Ну, ты совсем не хочешь его видеть, а он без спросу стоит и стоит перед глазами — отчего так бывает?

У матери кольнуло сердце, но она умела владеть собой и спросила равнодушно:

— Кто же это стоит перед твоими глазами?

— Никто! — ответила Нальбике. — Я просто так спросила... Если вдруг так случится, отчего это будет?

Она стойко выдержала взгляд матери, и та ничего не высмотрела в ее глазах. Да что она смогла бы высмотреть — никогда тайный стыд не обжигал лица ее самой, и не испытывала она такой радости — такой, когда в каждом шорохе чудится твое имя, каждый камень заговаривает с тобой, когда в твоей душе словно птица какая-то машет крыльями: взмах — и страх, взмах — и счастье, когда вдруг и сама начинаешь жалеть, что у тебя нет крыльев...

— Дурные мысли у тебя в голове, — строго сказала мать. — Смотри, дурные мысли издалека слышно.

А Нальбике подумала, что неспроста она девочкой плакала, когда отца не было дома. И теперь она подумала: «Надо было спросить у отца. Он бы ответил иначе».

Жалчи был упрям — так без спросу и стоял перед глазами. Она стыдила себя, эта бийче, пыталась унижить его, ругала: раб, оборванец, жалчи, но все слова ненависти к нему ей же на голову и падали. И чем больше твердила себе Нальбике о своей гордости, тем меньше этой гордости оставалось.

Она вспоминала прошедшую зиму. Тогда она понимала, что каждая их встреча была ее торжеством — торжеством бийче над жалчи. А теперь она жалела, что никто не одернул ее тогда. Она — глупая, капризная, а у него трудная жизнь.

Прошло лето, и снова наступила зима. Снова в доме Айдарука было много гостей, и гости хвалили дочь бия, было приятно, а порою было и противно. Из кошар отца приходили пастухи, пригоняли овец, привозили масло, сыр, шерсть. А он все не появлялся. И Нальбике не могла даже спросить о нем, хоть так, хоть окольным путем, получить о нем весточку. Спросит — и что подумают о ней люди? Впервые в жизни ей стало казаться, что быть дочерью богатого да знатного не так уж хорошо.

Нальбике удивляла своих домашних. Сегодня носится беспечная, веселая, как говорится, трава под ногами не гнется. А назавтра сядет, забьется в угол и тихо тянет какие-то непонятные песни. Слова она придумала сама, и никто в доме не понимал, о чем она поет и что с ней творится. Не с кем было ей поделиться тем, что у нее на сердце, вот и отдавала все пению. А скажи она кому свою

тайну, хоть чуточку, хоть приоткрой самому близкому, ее бы тут же безжалостно осмеяли. Она с горечью сознавала это и впадала в уныние.

И снова пришла весна. Эта весна была мудрее предыдущей — она подсказала Нальбике, что делать. Она сказала отцу:

— Мне надо на пастбище поехать. — Было время окота овец, и пол-аула находилось там. — К свадьбе Шабата я сошью ему шубу из каракуля. Ягнят хочу отобрать сама. И смотри, не говори маме и брату про шубу.

Айдаурака тронуло такое желание дочери: Шабатай на три года старше ее, но ему и в голову не пришло хоть раз побывать на пастбище, посмотреть, как создается богатство их семьи. И князь сам снарядил ее в дорогу, дал пару лучших волов, провожатым определил одного своего родственника из бедных, а Нальбике взяла с собой двух подруг, и они поехали на пастбища.

День был тихий, ясный. Волы медленно поднимались в гору. Сил у них было много, спешить им было некуда, но им было тесно на узкой каменистой дороге. Каждый раз, когда волы проходили под нависающей скалой — вот-вот заденут ее рогами! — девушки прикрывали головы. Свалилась вдруг эта скала — волы бы даже не вздрогнули! И тяжести арбы они не чувствовали, шли, казалось, в горы просто так, ради своего воловьего удовольствия, и от этого на душе у путников было легко и хорошо.

Перед Нальбике впервые так широко открывалась ее родина. Горы, возвышающиеся над всем миром, уходили в небо; скалы громоздились друг на друга, и словно бы каждая немного гордилась собой перед другими, оказавшимися ниже, огромные, высокие леса — и темные, и светлые. — впервые она так близко видела их. И все — свое, родное, близкое. Она даже говорить сейчас не могла. Но было и другое чувство, отчего становилось стыдно и меркла радость, и чем ближе они подъезжали к Глухому оврагу, тем сильнее оно охватывало ее.

— Долго еще ехать? — спросила она.

— Волы — не птицы! — усмехнулся молодой аробщик и быстро оглядел девушек, а одну из подруг Нальбике прямо-таки ожег горячим взглядом. Потом показал шестом: — Вон, смотрите, дым со дна оврага. Бедняги-пастухи с ума сойдут, увидев вас. Таких красавиц здесь не было от сотворения мира!

— Болтун! — сказала та, которая еще не остыла от его взгляда.

И тут они услышали песню: кто-то пел высоко на склоне. Рассыпавшаяся отара щипала молодую траву, но самого пастуха не было видно. Пел он любовную песню.

— Это чей пастух поет? — спросила Нальбике.

— Здесь кошары Айдарука, — ответил аробщик. — А если пастбища его, то чьи же будут пастухи?

— И кто же из наших пастухов так хорошо поет? — не унималась Нальбике. Пел Қаншау, она была уверена.

— Разве по песне узнаешь? — удивился парень.

Нальбике даже и не подозревала, что у нее такой недоумок родственник. Как не узнать человека по песне? Не узнать по песне просто нельзя...

Опять с новой силой подступил стыд. Позор — она едет, чтобы увидеть его, распевającego любовные песни! А ведь у него нет даже своего коня! Он нищий, все его состояние — хыджи...<sup>1</sup> От злости на себя она сжала кулаки, стукнула одним о другой. «Поверни арбу назад!» — хотелось закричать ей.

В коше их встретил Ордан, свободный охотник. Вместе с другими горцами, у которых тоже скота было немного, он пас овец в кошнёгере<sup>2</sup>. Их кош всегда стоял рядом с кошами Айдарука. Нальбике часто видела Ордана в детстве, много слышала о нем, но в последние годы он в ауле не появлялся. Да и Ордан, кажется, удивился, увидев, что взбалмошная дочка Айдарука выросла в такую красавицу.

— Милости просим! — приветствовал он их, пряча удивление: девушки в горах большая редкость. И слово в слово повторил аробщика: — Со дня творения не было в горах таких красавиц, — увидев вас, бедные пастухи с ума сойдут!

Назвать его болтуном не осмелились, но обе подруги Нальбике решили про себя, что поступили очень правильно, согласившись приехать сюда.

Один за другим шли в кош пастухи. Қарча не находил себе места; Нальбике была гостя не простая.

И уже в сумерках пришел Қаншау. На руках он держал ягненка — черненького, в тугих колечках-каракульках, с белой отметиной на лбу. А сам он — смуглый, стройный, глаза смеются... Нальбике стояла, прислонившись к плет-

---

<sup>1</sup> Хыджи — пастушья палка.

<sup>2</sup> Кошнёгер — пастушеское товарищество.

ню коша, и, словно уличенная в воровстве, прятала руки в длинной бахrome своей белой шали. Каншау сказал тихо:

— Добрый вечер, бийче.

Бийче же не смогла ответить. Но он и не ждал ответа. Поздоровался с другими гостями и, держа ягненка за передние ножки, вышел. Как он нес — грубо, без всякой жалости!

— Отпусти... отпусти ягненка, пастух! — крикнула Нальбике ему вслед.

Каншау, не оборачиваясь, бережно опустил ягненка на траву возле тревожно бляевшей овцы.

— Пойдемте посмотрим, какие у этого пастуха ягнята,— сказала Нальбике. Надо как-то унять эту дрожь внутри. Она здесь хозяйка, что могут подумать люди? А если хозяйка, почему так дрожит! И Нальбике строго добавила: — Мой отец добрый, а пастухи пользуются этим.

Но из этой затеи ничего не вышло. Вечерело, и черные ягнята сливались с темнотой. Каншау был занят — помогал новорожденным несмышленным ягнятам найти своих матерей. Стало прохладно, и пришлось вернуться в кош. Подруги ее уже спали. И на следующий день они спали до полудня — проснутся, вспомнят, что никакая работа их не ждет, и, довольные, опять заснут.

Нальбике же встала рано. Однако стада в загоне уже не было. Она рассердилась и велела вернуть овец обратно, но их пригнал не Каншау, как она ожидала, а Карча — этот назойливый пастух с жадными глазами, всегда появляющийся тогда, когда тебе больно.

— А где тот, другой пастух? — спросила она, еле сдерживая ярость.

— Пошел на охоту с Орданом,— ответил Карча.

Бийче не сказала ни слова, сломила ветку и пошла к стаду. Она показывала на ягнят, Карча ловил их и передавал другому пастуху. Тот резал их, сдирал шкурки и, посыпав солью, расстилал на траве сушиться. Туда Нальбике старалась не глядеть.

В самый разгар работы она спросила у своего родственника:

— А женщина может ходить на охоту?

— Почему не может? — поспешил ответить Карча.— Женщина все может. Ордан говорил...

— Иди гони стадо,— приказал родственник.— Скажешь, когда тебя спросят.— И повернулся к бийче:— Зачем тебе

эти разговоры с пастухами? Какие еще женщины-охотники?

— И что говорил Ордан? — спросила она у Карчи. На родственника она и не глянула, явный все же недоумок.

Но Карча покосился на ее родственника, пожал плечами и пошел выгонять стадо.

День для Нальбике был испорчен вконец.

Вместе с подругами она бродила по склону, собирая цветы. Светлый теплый день пропах горным лугом. А душа Нальбике словно нашла в этом ярком открытом мире темный и тихий уголок и забилась туда.

Но вечером вернулся Каншау и привез косулю...

А что же Каншау?

А Каншау, когда накануне вечером, подходя к кошу, увидел гостей и еще издали узнал среди них ее, решил, что померещилось. Глаза видели — сердце не верило. Ее лицо, ее глаза, ее голос всегда были с ним — когда ложился спать, когда пас овец. Звук ее имени был полон чем-то иным, чем все остальные звуки мира. Все ее слова, даже самые злые, за время их разлуки потеряли для него свою прежнюю колкость... Но он уже понимал, что ничего эта любовь не принесет ему — только беду. С первого взгляда, которым они перекинулись тогда во дворе, он был обречен на одиночество и тоску. И потому, когда однажды на охоте Ордан спросил: «Не от трудностей и бед вздыхают джигиты в твоём возрасте. Скажи, чем больна твоя душа?» — Каншау рассказал ему все. Молча возвращались с охоты. И только в конце пути Ордан сказал: «Любовь — дичок... Никакого привоя не берет».

А теперь перед кошом стояла она, его любимая, его бийче! Рядом пастухи, две девушки, наверное ее подруги. Он был готов со всех ног броситься к ней — что там пастухи, девушки, что там стыд и приличия! — это была она, Нальбике! «Бог есть, бог есть», — колотилось сердце. Аллах увидел его страдания, вложил в ее душу частицу такого же страдания — и вот она приехала. Успокоиться, успокоиться — или такого натворишь сгоряча... Руки все поняли быстрее, они взяли с земли ягненка и, прижав, уняли удары сердца. И Каншау не спеша, с достоинством пошел к гостям, смело глядя вперед. И приветствие его было таким же спокойным и почтительным.

А бийче даже не ответила ему!

Лишь один Ордан понял, как больно стало Каншау.

Здесь только он один умел заглянуть в душу. Потому он и увел его спозаранок на охоту.

— Счастье вроде бы везде одинаково, и любовь вроде бы одинакова везде,— говорил он.— Но если у бедного человека душа такая, как у глупого Каншау, то и тело его обязано тянуться изо всех сил! Он должен лучше богатых скакать на коне, лучше богатых стрелять, лучше их петь, быть учтивей и сильнее верить в бога.

Он повел Каншау на те луга, где обычно паслись косули. Было время окота, Ордан никогда не стрелял их весной, и Каншау никак не мог понять, зачем они идут туда.

— Хочешь знать, джигит, есть ли в сердце у бийче любовь? — спросил Ордан.— Сегодня узнаешь. Мы поймаем косулю и подарим ей. Если есть у нее в сердце любовь — она отпустит ее на волю, а если нет в сердце ничего — увезет с собой...

Видел Каншау: Нальбике была счастлива! Благодарным взглядом смотрела на него, на косулю, на всех вокруг, словно и не веря в это чудо. Косуля была красива всем — и статью, и мягкой своей шерстью, и полными испуга большими глазами; при каждом прикосновении руки бийче вздрагивало и напрягалось ее молодое тело, искало спасения. День, испорченный с утра, к вечеру стал счастливейшим днем ее жизни. В глазах Каншау она увидела боль, и душа ее отозвалась на эту боль, тоску и безнадежность. Любовь ее была дикой, как эта косуля, и, как косуля, вздрагивала от каждого прикосновения. Она прижала косулю к груди, поцеловала в мордочку, в оба глаза, в оба ушка, белой мягкой рукой погладила по спине. Потом осторожно развязала узел на ее шее...

В Глухом овраге потянулись месяцы ожидания и страха. Надежда блуждала, как та отпущенная на волю косуля. Две надежды — там, в ауле, и здесь, в коше. А осенью, когда Каншау впервые после той зимы приехал в аул, состоялся разговор в абрикосовом саду.

— Научи меня стрелять,— сказала она.

— Зачем это женщине? Да еще дочери Айдарука?

Она молчала, и Каншау сказал:

— Разве бийче нуждается в защите? За Айдарука, за его семью любой голову положить готов.

Он говорил, а Нальбике стояла, прислонившись к дереву, и упорно молчала.

Станный был это разговор.

Его душа: «Умеешь ли ты любить? Почему глаза твои

горят таким родным светом, горят твои глаза, а слова холодны, как снега Дых-тау. Почему?»

Ее душа: «Почему ты не князь? Осанка твоя, лицо твое, слова твои — все княжеское. Ну почему ты не родился князем? Как мне теперь открыться, что я люблю жалчи своего отца?»

Но он говорил:

— Может, мужчины в горах уже разучились стрелять? Если уже бийче берутся за ружье?

А она:

— Разве уметь стрелять — это плохо?

— Не знаю... Только для женщин это, наверное, не к добру. Если женщины начнут стрелять, каким тогда станет мир? Будь у меня сестра, я бы ей не разрешил.

— А мне брат разрешает,— сказала (соврала!) Нальбике.— И отец — тоже. Я хочу делать то, чего нельзя делать бийче.

— А я люблю тебя! — вдруг сказала вслух душа Каншау. И сам Каншау добавил тихо: — А княжне любить простого парня — не пристало. Вот чего нельзя делать бийче.

Белая шаль на голове Нальбике дрогнула. Слова Каншау звучали отрывисто и горько:

— Да, я не князь, и ты можешь смеяться надо мной. Но пусть княжонок полюбит тебя так, как любил я.

— Почему ты такой злой? — резко повернулась к нему Нальбике и, пытаясь утаить слезы, закрылась краем шали.

— Ты хлестнула меня прямо по сердцу. Хлестнула и теперь смеешься.

— Разве я камча, чтобы хлестать?

— Ты бийче. И никогда не забудешь, что ты бийче. Обижайся, если я сказал дерзость.

Ее душа:

«Я уже давно забыла, что я бийче. Ты — мой князь, а я твоя рабыня».

Сама же она сказала:

— Почему я должна забывать, что я бийче? С какой стати? — И добавила сердито: — И почему я должна обижаться на тебя? Нет у меня никакого князя!

И она быстро пошла домой.

Нальбике сказала отцу, что хочет научиться стрелять из ружья, попросила, чтобы он велел Каншау научить ее. Айдарук, всегда баловавший дочку, не отказал и в этот раз, и, взяв ружье, он сам присоединился к ним. И без

того благосклонный к умелому и старательному пастуху, он был восхищен меткостью глаза и твердостью его руки. Он не думал о том, что девушке брать в руки ружье — зазорно, и Жамауату это не понравится, и не спрашивал себя, зачем ей это понадобилось. В третий или четвертый раз Каншау зарядил ружье, протянул Нальбике — и вдруг его рука коснулась ее руки. Он стоял, боясь поднять глаза, горячим током прихлынули к лицу стыд и счастье. В эту минуту не было на земле ни бедности, ни бесправия, и Каншау во всем был равен бию и его дочери.

— Нальбике будет хорошим стрелком, — похвалил он смело. — Ружье держит крепко, глаз меткий.

Нальбике, довольная, засмеялась.

— Что ж, — сказал Айдарук, — теперь у меня в доме есть кому защитить честь рода. Покажет пример своему единственному брату.

— И покажу! — сжала губы Нальбике. — Моему единственному... брату всегда будет нужна защита.

### III. ГЛУХОЙ ОВРАГ

Уже много дней он смотрел на дорогу; никто не должен был приехать — а он смотрел и ждал. Их кош стоял в глубине оврага, который узким рукавом входил в ущелье. Лишь поднявшись со стадом на склон, он мог видеть дорогу, тянущуюся вдоль подножья горы. Всегда пустынная, она томилась в тишине и одиночестве. И если не зарастала, то лишь потому, что была камениста, а на камне ничего не растет. Однако это была главная дорога между Карачаем и Балкарией. Тащились воловьи арбы, семеняли ишачки, перевозили с восточного склона Минги-тау<sup>1</sup> на западные ее отроги и с западных отрогов на восточные склоны все нужное в хозяйстве тем или другим. Случалось, что у молодого карачаевца или балкарца в штанах загорался пожар, начинались скачки туда и обратно, и наконец взрослые, спеша потушить пожар, опаленную этим огнем девушку перебрасывали на гриве коня с восточных ли склонов горы на западные отроги, с западных ли отрогов на восточные склоны. Но и это было редко. И Каншау вряд ли мог надеяться скоро увидеть кого-нибудь из Жамауата, еду-

---

<sup>1</sup> Минги-тау — балкарское название Эльбруса.

щего в Карачай и в чегемские коши, что в верховьях, и узнать от них какую-нибудь весть из аула. Каншау сознавал это, однако все так же смотрел на дорогу. Если бы взгляд его мог лететь вдоль дороги, извиваясь вместе с ней... Там, внизу, где дорога обочиной касается высокого каменного забора, стоит большой дом с двумя полумесяцами, и в нем живет она.

Сангырау-кол — Глухой овраг — называлось это место. Лишь ночью здесь просыпалась жизнь и начиналось веселье: выли волки, рыскали звери, псы лаяли ночи напролет, и пастухи начинали ощущать полной мерой, что такое батрацкий труд. Днем все было тихо. Здесь даже сквозняки не продували; спереди овраг был защищен глухими скалами, сзади — высокими лесистыми горами. Они шли, налезая друг на друга, поднимались все выше, пока не застывали, схваченные ледниками Минги-тау. В знойные полдни, стоя на холме, Каншау вдыхал прохладу ледников. Внизу, на дне оврага, — безмолвие. Тихо, за всю жизнь не скрипнув и веткой, росли деревья. Могучие чинары зеленели на склонах, красные рябины вызревали, наливались соком, да жухли и засыхали, так и не тронутые ни человеческой рукой, ни даже птицами. Тих и чист был маленький ручей, выбегавший откуда-то со дна, из неведомой складки, и лишь нагнувшись к нему, можно было уловить, как упрямо несет он под своей чистой стеклянной рябью подоблачное гудение льдов к большой реке. И никто, касаясь обросшим лицом зеркальной воды и чувствуя жгучий холод на зубах, никогда не задумывался, как упорно, кропотливо, отчаиваясь каждую минуту, работал кроткий ручеек.

Сангырау-кол — Глухой овраг. Так было от века. Лишь густой едкий дым пастушьего костерка говорил о том, что есть в этих местах человеческое жилье. Проходили дни, месяцы, годы. Действительно Глухой — ничего здесь не случалось, ничего досюда не доносилось. Приходили, уходили батраки в овечьи коши князей Бурундуевых, обновлялись их стада. Умирал старый князь, приходил новый. Ветшало жилище пастухов, труд невелик — отстраивали новый. В расщелинах скал, в корнях деревьев, в дуплах ютилось зверье, в кронах деревьев вили гнезда птицы, со дна Глухого оврага поднимался дымок пастушьего очага, и лишь ночами рыскали звери и лаяли собаки...

Ранним утром, выгоняя стадо, Каншау шел по густой росе. Чабуры промокали, с каждым шагом набухали и

расходились в узлах, но это было так привычно, что Каншау даже не замечал этого. К полудню высохшая под солнцем и уже пахнувшая всеми лесными запахами трава тихо шуршала под ногами; чабуры высыхали, корежились и жали ноги. Насытившиеся к этому времени овцы норовили убежать вниз, к ручью на дне оврага. Каншау вел их туда, изредка направляя их пастушьим свистом, не давая разбрестись. Напившись, овцы сбивались в кучу, залезали головой в кусты орешника. Каншау устраивался на камне так, чтобы видеть стадо перед собой, ел скудный свой обед и думал.

Их было двое в коше — он и Карча. Как и подобает младшему, Каншау с самого начала относился к нему учтиво, старался самую тяжелую работу в коше взять на себя. Но дружбы между ними так и не получилось. Карча был человеком замкнутым, и, как ни порывался Каншау поговорить с ним, ничего не выходило: «Да», «нет» — и весь разговор. Карче было далеко за сорок, но семьи у него не было, других близких, кажется, тоже. Каншау не любил сидеть в коше, Карча же, наоборот, был бы рад и вовсе не вылезать из тесного темного жилища. Он или спал, или весь уходил в любимое свое занятие — делал насечки на палках из самшита: на одной палке — сколько дней он провел в батрачестве, на другой — сколько барашков ему положено за труды. За этим занятием и постарел. Вместе с насечками на палках с той же мерностью прибавлялись и морщины на лице Карчи. Каншау смотрел на Карчу, и страх пробирал его: неужели и его ждет такая же участь? Когда-то и Карча был молодым, когда-то и он, наверное, смотрел на эту дорогу и кого-то ждал. Но никто к нему так и не пришел. Карча перестал смотреть на дорогу, перестал ждать вестей оттуда, где люди влюбляются и женятся. Горячий комок застревал в горле Каншау. Он чувствовал, как во всем его сильном и молодом теле рождаются слезы отчаяния. Не в силах проглотить ком в горле, он уходил из коша в ночь, и боль его, отчаяние и тоска сливались с глухим воем голодных зверей.

Днем со стадом было легче. Забывались думы, отступала тоска, появлялась надежда неизвестно на что, и порою он даже пел. В другие дни он читал рукописную книгу, подаренную ему Адеем-эфенди. Называлась она «Тахир и Зухра». Адей говорил, что написал ее Кязим-хаджи<sup>1</sup>. «У каждого народа существует своя поэма «Тахир

<sup>1</sup> Кязим Мечиев — классик балкарской литературы.

и Зухра»,—говорил ему учитель.—Есть теперь она и у нас. Но народ ли мы? В этой поэме и во многих своих стихотворениях Кязим-хаджи объяснил нам, что это такое — быть народом. Так что, может, и стали-то мы народом благодаря Кязиму-хаджи. Возьми книгу с собой в горы, выучи наизусть, а потом дай кому-нибудь еще...» Каншау давно уже знал поэму наизусть, но продолжал читать по книге: книжные строки лучше держали горечь.

В ясные дни он наблюдал за пасущимися над скалами оленями. Однажды был свидетелем и великой битвы самцов за право быть вожаком. Бой шел над пропастью, и Каншау видел, как честно они сражались. Один вставал у края пропасти и грудью встречал удар соперника. Потом вставал другой. Это была отважная борьба, Каншау, любясь мужественным поединком, от души желал удачи каждому. Потом он видел, как тот, что свалил двух своих соперников в пропасть, в токах ручьящейся крови упал на траву. Это был крупный, тонконогий самец, в белесых чулках, с отважно раскидистыми рогами. Долго лежал изможденный победитель, вытянув упругую шею на траве. И все время, пока он лежал и возвращались к нему силы, ни одна олениха не сдвинулась с места, не щипнула травы — стояли, ожидая воли нового вождя и защитника. Его владения находились на другой стороне оврага, над высокими утесами. Олени спускались вниз, паслись на узких плоских полянах между скалами. Они щипали траву не так, как овцы — неразборчиво и жадно, а изящно и легко. Выбрав утес повыше, тонконогий вожак оберегал свое стадо. Каншау ни разу не заметил, чтобы он пасся сам. Когда день шел на убыль, вожак уводил стадо вверх по скалам. Каншау смотрел им вслед, пока олени не сливались с серыми скалами возле самых ледников. Молодой вожак не торопился, не суетился, но был зорек и насторожен. Каншау, любясь его гордой красотой, по-юношески завидовал его воле и достоинству.

Карче было легче, у него были две палки: на одной он отмечал, сколько прошло дней, на другой, сколько набегало ему скота. У Каншау не было ничего, и он не считал, сколько ушло, и не знал, что придет взамен,— он вырослел.

И весны приходили, и зимы ложились на склоны Глухого оврага в срок, и он вырослел, и вырослела вместе с ним его любовь, и еще недоступней становилась княжна.

И когда он вдруг понял это, он пережил страшные ми-

нуты. Был такой же, как сегодня, ясный день, над горами стоял тяжелый послеполуденный покой. Каншау сидел на камне и чувствовал, как тяжелая дрема охватывает все тело. Вдруг по скале пробежала тень. Он вздрогнул, посмотрел перед собой и на серой стене увидел ее. Нальбике заслоняла собой всю скалу и, не мигая, не отрывая взгляда, смотрела на него. Каншау медленно поднялся с места. Наверное, он бы сошел с ума, но тут залаял Парий. Он залаял, и испуганное видение, он видел, как страх исказил ее лицо, исчезло. Каншау оторопело посмотрел на собаку. Неужели она тоже видела? Ордан рассказывал, что это плутни джиннов. Пастухи исходят тоской по женщине — тогда и появляется джинн в образе любимой девушки или сестры и увлекает бедного пастуха в пропасть. Так бывало в горах не раз. Теперь, выходит, джиннам приглянулся он.

Он оставил кош и стадо на Карчу и пошел к Ордану. Всякий раз, когда он приходил, старый охотник не находил себе места от радости. У Ордана были конь и хорошая легавая по кличке Талар. Ордан и Талар были стары, лошадь только входила в силу. И с приходом Каншау общество поровну, по справедливости делилось на пары — старый охотник и старый пес, молодая лошадь и молодой пастух. Ордана почему-то веселила такая складность их компании, и он все отпускал шуточки, а поскольку в Глухом овраге не шутили вовсе, то Каншау был рад и этому. Пока хозяин охотился в горах, конь, предоставленный самому себе, пасся в долине. Ордан даже не вспоминал о нем. Конь, как и Каншау, приходил сам и горячей истосковавшейся губой теребил густую растрепанную бороду хозяина. Старик оживал — глаза его искрились, он, как бы передавая свой восторг и удовлетворение, нежно хлопал коня по шее. Ордан заботился о нем, как обычно заботятся немолодые уже отцы о позднем ребенке.

А были ли у него дети — Каншау не знал. Ордан давно жил дикой жизнью гор и с годами все больше принимал облик живущих здесь зверей. Когда они шли по открытому склону, издали казалось, что катятся два серых лохматых пятна, словно шли два зверя одной породы, побольше и поменьше, взрослый и детеныш, — охотник и собака. Казалось, что если бы Ордан не говорил и не ходил на двух ногах, то ничем не отличался бы от своего Талара. Одежда его была суровой, лохматой — Ордан ходил в тех же шкурах, что и звери здешних мест, они плотно облегали его старое, но крепкое тело. Поверх шкур он был перепоясан грубым

самодельным ремнем из шкуры зубра. На поясе этом, таком же крепком и старом, как сам Ордан, всегда висело множество вещей. Наверное, здесь было все, что могло понадобиться старику в его одинокой жизни: кресало, топорик, разные ножи, потертый кожаный мешочек с патронами, мешочек с порохом, мешочек с солью, хурджин со скудной охотничьей провизией. Он ступал по камням медленно, верно, бесшумно. Старость, с годами все больше теснившая его, была, однако, не в силах отнять у него ни слуха, ни зрения. Осторожно ступая по камням, он слышал зверя раньше, чем тот чуял его едкий охотничий запах.

Потом они устраивались где-нибудь на опушке леса, разводили костер. На ветке поблизости висела туша, еще не освежаванная, отсветы пламени играли на ней. Ордан любил жалбаур — когда в коше резали барана или, подстрелив на охоте какого-нибудь зверя, останавливались на привал, он спешил вынуть печень, нарезал ее небольшими кусочками и заворачивал в тонкую пленку нутряного жира. Запеленатые в жир куски, нанизав на прутья, он клал на потрескивающие березовые угли. Жир таял, печень впитывала его, Ордан жмурился и покрякивал от удовольствия. После такого пиршества он рассказывал были-небыли старины. Лицо и колени припекал огонь, колючий юркий ледниковый холод покалывал спину. Пронизывающая близость ледников не беспокоила Ордана, он мог сидеть не шевелясь ночи напролет, а Каншау, удивляясь его выносливости, нет-нет да и незаметно прикладывал руку к спине, защищая ее от тупых уколов холода. Ордан учил его стрелять из ружья, учил и терпеть. «Две вещи необходимы в горах — умение стрелять и умение терпеть», — наставлял он. В первом Каншау был молодец, даже старого охотника удивляла точность его глаза, ружье он держал крепко и бил без промаха. А вот во втором...

Лежа под буркой рядом со стариком, он думал о своей любви. Во всех рассказах Ордана любовь была несчастливая, и ему очень хотелось спросить, почему так? Повернувшись к нему, он поднимался на локте и чувствовал, как от тяжести нахлынувших на него вопросов напрягается тело. Он глядел на Ордана, как язычник смотрит в лицо своему божку, но тот или уже спал, или тоже о чем-то глубоко думал, или, возможно заметив взгляд Каншау, отворачивался к костру и смотрел так, словно пытался угадать в последних язычках пламени какой-то новый, доселе неведомый смысл. Каншау валился обратно на хво-

рост, сердце сжималось от обиды, а старик, кажется, ничего не замечал.

Причашенный к охотничьей жизни, долгому терпению и смирению Ордана, он, казалось, и сам становился взрослее, чувствовал, как прибывали силы и терпение. Но когда он снова выходил со стадом на склон, видение повторялось. Замерев, он смотрел на каменную стену, порою Нальбике улыбалась, и тогда страх отступал, он начинал говорить ей что-то, долгое, бессвязное, из чего потом не помнил ни слова, она соглашалась, обещала что-то, и слов ее он тоже не слышал, так они переговаривались через овраг.

И этот ясный, идущий на убыль день в Глухом овраге был одним из тысячи бесшумно пролетевших дней, ясный своим покоем, высоким небом и неизменностью в судьбе всего здесь живущего — людей и зверей. Но Каншау все смотрел на дорогу и чувствовал в ясном уходящем дне что-то неувловимое, щемящее, будто он не уходил вовсе, будто он увидел и осознал тоску молодого пастуха, угадал в нем ожидание и остановился. В этот день не появилась тень на скале, в этот день вожак не пригнал своего стада на водопой. Стояла обычная тишина. И вдруг в этой тишине зазвенела каменная дорога вниз.

Каншау вскочил. Из глубины ущелья доносился цокот копыт, чем сильнее он напрягал слух, тем больше становилось коней на дороге, словно в ущелье входила чужеземная конница. Он не мог понять, сверху или снизу по ущелью идет этот цокот. Он бросился вниз по склону. Но так дорога пропала вовсе. Тогда он побежал вверх. С колотящимся сердцем, спеша, подскальзываясь, он взобрался на камень, и большой отрезок дороги оказался перед его взором. На дороге появились всадники. Три всадника. Они ехали сверху, и, конечно, никаких вестей принести из Жамауата не могли. И все же Каншау должен был их видеть, спросить хоть что-нибудь о мире, где жила она. Он снова побежал вниз, наперерез всадникам. Дорога пропала из виду. Когда она показалась снова, он понял, что всадники поворачивают в сторону Глухого оврага. Сердце забило еще сильнее. Вскоре он узнал всадников: в кош ехал сам князь Айдарук с двумя спутниками. И их узнал Каншау: Адей, его учитель, и Ерюзбек, старшина аула Жамауат. Он пошел вдоль дороги по склону, стараясь унять свое волнение. Выйдя на открытое место, он встал, опершись на палку, так, чтобы едущие по дороге непременно увидели его и подумали, что он стережет стадо.

Этого требовало его положение жалчи и законы учтивости.

— Ассалом айлекум, да приумножатся твои стада, джигит,— приветствовал его Адей.

— Уалейкум-салам,— ответил Қаншау. «Мои стада — стада бия,— с усмешкой подумал он про себя,— пусть умножатся».

Он взял коня эфенди под уздцы, помог слезть с седла ему самому; хотя те двое и были князьями — эфенди он посчитал старшим. Потом взял всех трех коней, расцепил удила, стреножил и пустил пастись.

— Как живете, не нуждается ли в чем? — спросил Айдарук, оглядывая широко рассыпавшихся по всему склону овец.

— Беды нет — ни с нами, ни со стадами.

— Такого пастуха не найти и во всех пяти горских общинах,— похвалил его Айдарук.— И человек порядочный.

— Хвала аллаху, этого порядочного человека азбуке Мухаммеда выучил я,— улыбнулся Адей и огладил рукоятью камчи свои длинные усы.— Жалко, не смог учиться дальше.

— Чему ты его выучил — и то уже было лишним,— буркнул Ерюзбек.— Нынче жалчи вконец испортились. Скажешь ему слово, как человеку, а он тебе два. Можно подумать, что перед ним стоит не его хозяин, а такой же, как он, батрак. Плох стал мир.

— Так-то оно так, но виноваты и мы, Ерюзбек, — сказал Айдарук, не отводя взгляда от стада.— Жалчи тоже человек. Ему тоже забота и помощь нужна. Не зря говорится: доброе слово и хворь отведет. Вот пусть Қаншау скажет, мои пастухи иной раз и зарежут овечку, не спросив меня. Знают, что разрешу.

— Оллаха, большое спасибо за доброту,— сказал Қаншау.— Мы тоже не волки, стараемся беречь твое богатство.

Его непринужденный разговор с князем не понравился Ерюзбеку. Он нахмурил брови, маленькими завистливыми глазками обежал рассыпавшуюся по склону отару и улыбнулся зло:

— А почему бы тебе, Айдарук, не поделить свои стада между каратабанами? А там — и мы, по твоему примеру?

— Каратабаны живут своим трудом,— резко сказал Қаншау.— И ничего тебе плохого не сделали.

— Вот он, хваленый пастух! Непохоже, что очень воспитан!

— Хватит, Ерюзбек,— вмешался Адей.— Мы сюда не

спорить приехали. На погибель молодому барашку завернули мы сюда.— И снова расправил камчой усы. За два почти года, с тех пор как Каншау в последний раз видел эфенди, усы его заметно поседели, он отпустил их подлинней, и хотя на вид он был еще крепок, в глазах были усталость и растерянность. Эфенди с укором посмотрел на Айдарука.— Алан, так ты зовешь нас в свой кош или нет?

— Пошли, пошли,— засуетился князь. Он взглянул на Каншау.— Выбери пожирнее... А за стадом присмотрит Карча.

Когда они отошли, Каншау взял пасшегоса с краю ягненка, перебросил через плечо и пошел вслед за гостями. Возле горящего костра он разделал ягненка и положил его в казан. Быстро срубил березовую палку, насадил на нее голову ягненка и, опалив на костре, поставил вариться в другой чугунке. Карча, обиженный тем, что обслуживать таких почетных гостей поручили не ему, волоча за собой длинную пастушью палку, побрел к стаду.

Тем временем гости начали трапезу с айрана и беседы.

— Аланы, слышали новое стихотворение Кязима-хаджи? — спросил Айдарук, наливая айран из подвешенного бурдюка в почерневший от старости, шербатый по краям гоппан.— Тейри, лязим, это лучшее из всего, что он написал. Бери, эфенди, пей.

Адей взял гоппан в обе руки, отпил три-четыре глотка, отер край чаши и, передавая Ерюзмеку, сказал:

— Каков айран! — Он пил так аккуратно, что на губах и усах не осталось ни единой капли.

Айдарук продолжил:

— Мудрый человек Кязим-хаджи, жизнь знает и мир повидал...

— Брось! Мутит родник, из которого сам пьет воду. Смутьян и нечестивец.— Видно было, что даже имя это злит Ерюзмека.— Бросить бы его, хромую собаку, в Безенгийскую пропасть.

Айдарук, не обращая на него внимания, прочитал выразительным, привычным к стихам голосом:

Не хвастайтесь, баи и таубии,  
Вы такие же люди, как мы.  
В этом мире никто из нас не вечен —  
Останутся лишь доброта, благородство и дом...

— Что, неверно?

Гости князя молчали. То ли думали над стихами Кязима Мечиева, то ли о том, что им готовят близкие дни.

Адей был в хорошо скроенной широкой рубашке из домотканой шерсти, с высоким воротником и нагрудными карманами, окаймленными черной тесьмой. Петли и круглые, как смородина, пуговицы были обметены той же тесьмой. К одной из пуговиц была прикреплена золотая цепочка от часов. Когда замолчали, Адей вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел на них, словно бы отмерил время этому молчанию. Голова его была чисто выбрита, высокий лоб уже задет напряженными морщинами. Когда он улыбался, из-под усов выглядывали ровные белые зубы и особый блеск проскальзывал в его улыбке.

Его спокойствие, даже задумчивый его взгляд на часы бесили князя Ерюзмека — маленького, сухого, с острой бородкой и редкими рыжеватыми усами, которые казались чужими на обтянутом сухой кожей лице, словно он одолжил их у кого-то. Рубашка из домотканого полотна изнасилась, вылиняла, брюки лоснились от грязи, из чарыков вместе с соломой выглядывали завязки на штанинах. Когда он снимал большую лохматую шапку из овчины, голова его походила на голову неведомой лысой птицы, даже непонятно было, как на такой маленькой голове держится такая большая шапка.

Что и говорить, Айдарук всем видом и осанкой был настоящий князь: высокий, в голубой черкеске, с пустыми газырницами — газыри он не носил, потому что если носить, то носить пришлось бы золотые, а это ему было неловко, в черной каракулевой шапке, которая шла к его спокойному выразительному лицу; рубашка на нем была из тонкого сукна, усы, очень густые и жесткие, были ровно подстрижены.

Они побывали в Карачае и на обратном пути решили объехать коши. Не было в народе прежнего спокойствия и послушания. Ерюзек, хоть и слыл крутым и решительным, был сейчас неуверен в себе и для переговоров с жалчи взял с собой уважаемых людей. Объезжали коши Ерюзмека, но угощать все равно пришлось Айдаруку.

Думали, видно, все же о том, что увидели в кошах, потому что Адей сказал:

— В России сейчас многие думают по-казимовски. Что делается там, дойдет и до нас. Поднявшуюся реку не оставишь. Война надоела всем. Народ...

— Народ, народ,— вспыхнул вдруг Ерюзек.— Народ — это мы, кто умеет думать, управлять, кто умеет жить. Ка-

ратабаны — стадо, и если его не стричь каждый год — запаршивеет.

— Нет, Ерюзек, — покачал головой Айдарук. — Чем сильнее будешь сжимать петуха под мышкой, тем громче он будет кричать. Народ силой не уймешь. Чтобы унять его, увлечь на свою сторону, нужны другие пути.

— Князь правильно думает, — сказал Адей. — Главное сейчас — не допустить разброда. Народ стал другим, мы силимся удержать его священной чернотой корана, а хлеб выше корана...

— Клянусь, положив топор на лоб, — Айдарук всегда будет за них! — У Ерюзема вдруг пересохло в горле, и ему стало трудно говорить. — Вспомни, Адей, чего только не делал он для своих батраков — и школу открывал, и баранов им раздавал. Откуда нам, темным, знать, может, он-то и станет вожаком каратабанов в их, так сказать, справедливой борьбе за волю.

— Я не знаю теперь, кто прав, кто не прав, — сказал Айдарук, словно бы не слыша выпада Ерюзема. — И вообще, кто борется? Мы или они?

— Вера гибнет, — повернулся Адей к Ерюзему. — Скот потерять — не страшно, скот можно и вернуть. Потерять веру — вот несчастье. Ушедшая вера назад не возвращается.

Тот не успел ответить, вошел Каншау, внес на деревянном подносе гору дымящегося мяса, опустил на соломенную подстилку коша, вышел и вернулся с другим подносом, на котором лежала голова ягненка, — этот он поставил перед Адеем-эфенди. Принес из глубины коша еще айрана, рядом поставил деревянное блюдо с тузлуком<sup>1</sup>.

— Ерюзек, подвинься, пусть Каншау тоже посидит с нами, — сказал Айдарук. — Чтобы не получилось как в пословице: топор, который построил дом, остался во дворе...

Ерюзек, уже взявший исходящий паром кусок мяса в руки и изготовившийся есть, не в силах скрыть раздражения, бросил его обратно. Заметил это или не заметил Каншау, но он сослался на то, что кони их убрели далеко, надо вернуть, и вышел.

— Бисмилла, — эфенди взял обеими руками голову и принялся разделять ее. — Он, мой сохта, и не знатного рода, но во всем похож на бия. Заметили, как он достойно вышел из положения? — Эфенди пожалел, что отпустил

---

<sup>1</sup> Тузлук — острая приправа из чеснока, перца и соли.

Қаншау, он держал в руке ухо ягненка — при разделывании головы его положено преподнести самому младшему, дабы уши младшего всегда были чутки к советам старших.

Ерюзбек уже ел, потому начал успокаиваться и не считал нужным обращать внимание на рассуждения эфенди. Айдарук не торопился: кош его, гости приехали к нему — и только когда они принялись за еду, взял небольшой кусок с краю.

— Ты самый младший из нас,— обратился эфенди к Айдаруку,— тебе ухо, чтобы слышал и был послушным, когда говорят старшие,— и подал ему ухо ягненка. Айдарук принял угощение на ладонь правой руки.— А тебе, Ерюзбек...— повернулся к нему тамада.— Знать ты кое-что знаешь, но не очень зорко видишь... Тебе глаз.— «Мозгом бы тебя угостить!» — подумал он, но промолчал, они и так уже с утра грызлись.— Вот ты на Қаншау набросился. Такие, как он, не страшны,— вернулся к своим размышлениям Адей.— С ним можно договориться. Но вот уходят наши джигиты в солдаты к русскому царю — и если кто возвращается, уже не возвращается прежним. Мало что без руки, без ноги, у него уже и голова другая. Что происходит в России? В мире? А мир большой, хотя нам и кажется, что мы тут сами по себе. В коране сказано: и были люди единым народом, только потом разошлись. Разойтись-то разошлись, да, видать, судьба осталась единой.— Адей взял лопатку и стал гадать по ней. Видно, лопатка говорила неутешительное, и он молча отложил кость.— Оно верно, горы нас защищают, но они и ограничивают. И те, кого Ерюзбек называет каратабанами, начинают понимать это. Вот куда только поведет наш несчастный народ это понимание? Над всеми нами один аллах властвует.

— У каратабанов нет аллаха,— пробурчал Ерюзбек.

— Ешьте, ешьте, ради бога,— сказал Айдарук, сам он ел мало и был задумчив.

— Из Қаншау вырастет большой человек,— вдруг решил эфенди.— Помните мои слова: как и его знаменитые сородичи, Қаншау прославит свой род. Надо, чтобы и люди знали и верили ему.

— Я привязан к нему,— сказал Айдарук.— Сколько уже работает у меня, ни разу не оплошал. Даже мой сын Шабатай не почитает меня как Қаншау.

— На то он и жалчи,— Ерюзбек, хоть глаза и не наелись, сам больше есть не мог, выдернул пучок соломы из подстилки, вытер руки, а затем лицо.

Вернулся Қаншау и стал наливать в гоппану шурпу<sup>1</sup>, Айдарук сказал ему:

— Шабатая женим. Слышал, наверное?

— Оллаха, нет. Откуда невеста?

— Из Чегема. Свадьба в следующую пятницу. Қошару оставь на Қарчу, отбери полсотни хороших для убоя баранов и пригони домой.

Қаншау нахмурился.

— Қарча старше. Может, лучше ему пойти,— сказал он.

— Нет, он не годится. Приедут гости, джигиты, затеют игры — состязание в стрельбе, борьбу, скачки. Ты там больше подойдешь.

— Для меня это высокая честь.

Когда гости вышли из коша и Қаншау привел их коней, Айдарук внимательно с ног до головы оглядел его.

— Тайри, лязим, шапка твоя стара. Погоди-ка,— князь вытащил из расшитого с шелковой бахромой хурджина, притороченного к седлу, черную каракулевую шапку, насадив на кулак, погладил, навел блеск на завитки. Потом снял с головы Қаншау старую лохматую шапку и надел новую. Отошел, посмотрел и сказал: — Отступник, словно на тебя и шили!

— Не надо, ради аллаха,— смутился Қаншау.— Да не покинет добро ваш дом. Спасибо, но это слишком дорогой подарок.

— Скажешь слово — обижусь,— остановил его Айдарук. Он снова полез в хурджин и теперь вытащил оттуда черкеску.— Надень и это.— Он повесил черкеску на плетень.— Мне их сестра в Карачае подарила на дорогу. Пусть они принесут тебе радость.— Он взглядом остановил собравшегося было заспорить Қаншау.— Это немного. Уже два года мое добро умножается в твоих руках.

Қаншау, взяв под локоть, посадил его на коня.

— Кто видел, чтобы князя так глумились над дарами своих сестер! — От досады у Ерюзмека дрожали губы. Он сел на коня и со злостью ударил его плетью, словно спеша уйти от дурного места.

— Не от тряпок мы появились на свет,— сказал Айдарук спокойно, нагоняя его.— Может, ты родился от тряпок, Ерюзбек, я не родился. Если он приедет на свадьбу плохо одетым, стыд будет на моем лице, а не на твоём. Что шапка, что черкеска, Ерюзбек?

---

<sup>1</sup> Ш у р п а — отвар из баранины, бульон.

В хурджинах Ерюзмека и Адея лежали такие же шапки и черкески — подарок сестры Айдарука. Адей молчал, удивленный и довольный щедростью князя, Ерюзмеку же было жалко шапку, жалко черкеску. Адей знал, что Ерюзек и свой-то полученный от княжны подарок не наденет, даже для самого себя будет скряжничать, так все в сундуке и истлеет, оттого и улыбался в усы.

— Я не считаю, что шапкой рассчитался за преданность, — сказал Айдарук, словно ища оправдания своему поступку и защищаясь от нападок Ерюзмека. — Я доволен, пусть будет доволен и он.

— Он тоже небезродный, не из закутка вылез, не забудет, — сказал эфенди.

Дорога, узкая и скользкая, как намокший под дождем сырмятный ремень, шла по-над недвижной черной речкой на дне ущелья, то и дело пропадая в зарослях бурно растущего кизила. Исчезала дорога, исчезали и всадники. Когда дорога выходила из придорожных валунов на поляну, их головы показывались над кустами и снова тонули в сумраке леса. Белая каменистая дорога, отзвенев, умолкла, умерла, распласталась как сползшая змеиная кожа. И Каншау остался в Глухом овраге один. То, что зазвеневшая дорога привела к нему людей и они оказали ему высокую честь, было сном. Сон был добрый, предвещал удачу, но куда лишь сон. Он боялся шевельнуться, боялся дотронуться до оставленных ему подарков, коснется — исчезнут и они. Со всех сторон наступала на него сизая тишина быстро вечеряющего дня, а душа его неспешно ехала рядом с тремя пустившимися домой всадниками. Они приедут, они увидят ту, которая не ждет их, и тогда ее душа тоже полетит — уже вверх по ущелью. Скоро наступит вечер. И будет утро. И он погонит полсотни баранов вслед за ними. А потом он увидит ее.

Эта мысль заставила его очнуться. Но очнулся он с верой, что добро есть и наяву. Прыжком он подлетел к плетню, снял черкеску. Ткань ее была тонкой и нежной, как руки Нальбике. А что — может, в этом подарке князя есть и тайное благословение его робкой любви?

Он взял пояс с подвешенным к нему кинжалом и пошел в глубь оврага, туда, где было маленькое круглое озеро, которое пастухи называли Бараньим глазом, хотя вода в нем была сине-голубой. Он искупался, побрился своим пастушьим ножом. Надел черкеску и шапку. В синей прозрачной воде хорошо виднелось его отражение. Он был высок

и строен. Новая голубая черкеска сливалась с цветом воды, а большая каракулевая шапка чернела как донный камень. Черные, коротко подстриженные усы подчеркивали белизну его лица. Он был в гетрах, чарыки носил аккуратно, строго ухаживал за ними, как учил отец, — или оставлял на ночь в жире, собранном с остывшей шурпы, или смазывал дегтем. Поверх черкески — туго застегнутый пояс с наборными подвесками черного серебра. Это был дорогой пояс, из хорошо выделанной кожи, с серебряными застежками и кинжалом, сидящим в ножнах тонкой чеканки и доставшимся Каншау от деда Науруза. Пояс и особенно кинжал он очень любил, и, зная это, мать согласилась, когда он, собираясь надолго в Глухой овраг, захотел взять их с собой. Теперь, стоя на берегу озерка с сине-голубой водой, он думал о том, как встретится с Нальбике.

Не собирается ли Айдарук женить его на своей дочери? А вдруг? Узнал добросердечный князь откуда-то о любви Каншау к его дочери и решил сотворить чудо. Соберет жаммаат и объявит: выдаю свою дочь за сына Коналия Жандарова. Ордан рассказывал, в древние времена случалось такое. От этой мечты подмывало пуститься в пляс — и он воткнул в землю ветку и пошел, танцуя, вокруг нее. Так он учился танцевать, и так учились танцевать в горах все джигиты — ткнут пастушью палку — хыджи в землю, дескать, это девушка, и танцуют вокруг нее, сами себе напевая. С минуту хыджи стоит замерев, потом, подхваченная пляской и свистом, начинает кружиться вместе с землей и небом, и пастух, обливаясь потом, падает на траву. Каншау, когда учился, заставлял себя ходить высоко на носках, ходил до упаду, и теперь шел на цыпочках легко и плавно. Зажав свою старую одежду под мышкой, он побежал через весь склон — словно бежал навстречу своей любви. Казалось, утро не наступит никогда, а когда наступит, то дорога от коша до того дома под двумя полумесяцами будет нескончаемой.

Потом он сидел на чурбаке у коша, положив правую руку на рукоять кинжала. Он успокоился и мог немного подумать. Вот Нальбике увидит его в такой нарядной, красивой одежде... Холодок прошел по спине, и он невольно оглянулся, словно кто-то застал его за кражей. Да/ новая одежда дорогая и красивая, и он в ней выглядит настоящим джигитом. Но она радовала только его плечи, его грудь, а до сердца радость не доходила. И гордости она ему не давала. Словно переделался он в княжескую одежду

и оставил на берегу озера что-то свое, очень для него важное. Он вспомнил нартское слово: «Сядешь на чужого коня — слезешь, наденешь чужую одежду — снимешь». Но разве она чужая, эта одежда? Разве не от чистого сердца подарил ее князь? Может, он плохо работал и не заслужил такой черкески? А что подумает князь, если он не наденет ее? Надо ли быть таким мнительным?

А что подумает она? Не князь — а оделся как князь! И все будут знать, что это из рук бия. Нет! Каншау встал с чурбана, быстро снял шапку и черкеску, точно освободился от чего-то тяжкого. Пусть уж он будет в своей черкеске, она выцвела, да и шитье не такое дорогое, но зато своя, соткана и сшита матерью. И шапка не такая богатая, но тоже своя. Будет в своем. Как имя и род, одежда и конь у джигита должны быть свои.

Он повесил черкеску на плетень, а шапку отнес в кош. Он еще не знал, что будет делать с ними, но надевать не станет — это было решено.

— Что это за черкеска на плетне? — спросил Карча вечером, когда пригнал стадо.

— Бий подарил ее мне, — сказал Каншау. — И шапку, она там, в коше.

Карча побежал в кош и тут же вернулся, держа шапку на ладонях.

— Алан, последние дни ты сам не в себе! Разве может бий подарить своему батраку такую шапку — она коня стоит! И еще черкеска, ни разу не надетая! Скажи правду, откуда они?

— Я не хотел брать, но Айдарук и слушать меня не стал.

— Да, уж ты бы не захотел! — съязвил Карча с побледневшим от зависти лицом.

Не в силах видеть шапку и черкеску, он ушел в кош. Но скоро вышел, и опять его невидящие глаза то смотрели на Каншау, то переходили на мирно лежащих в загоне овец. Мало того, что его прогнали к стаду, о нем даже не вспомнили, когда так щедро, по-княжески одаривали этого хвастуна и угодника. Чем он заслужил княжескую милость? Тем, что еще и поработать-то толком в Глухом овраге не поработал, пары чабуров, бегая за стадом, не успел износить, и дым пастушьего костра не проел его, окаянно-го? Так он ходил и не мог найти себе места. Но от второй новости, которую сообщил ему Каншау, весь мир вокруг почернел.

— Шабатаю невесту привозят. Завтра утром я пойду туда, погоню баранов. Бий так велел.

Карча был верным жалчи Айдарука — неприхотливым, непритязательным и исполнительным. Много раз приходилось ему обслуживать гостей бия — был он и дровенщиком, и костеровым, и убойщиком, и конюхом, и всегда Айдарук оставался доволен им. И он полагал, что, когда придет время и княжичу сосватают невесту, уж без его-то услуг не обойдутся, первым делом позовут Карчу. Но день настал, а о нем не вспомнили. А он здесь, в Глухом овраге, счет дням потерял, умножая его стада! Он и подумать не мог, что Айдарук так жестоко обойдется с ним, унизит его перед этим мальчишкой, даже требухой не даст полакомиться на свадьбе сына! И он больше не любил своего бия! Ему захотелось бросить этот кош, уйти к другому хозяину — разом отомстить и хвостуну Каншау, и неблагодарному Айдаруку. Вот и узнают, что не пустой человек Карча, не ради одного скота служил он князю. Попробуй сыщи такого верного жалчи, как Карча, — не те времена!

Но он был человеком неуверенным. Никогда Карча ничего не решал сам. Скажут — исполнит. А сказать себе так, чтобы самого себя послушаться, он не мог. Оттого в глубине его сердца всегда плескались зависть и ненависть. Он не знал, против кого прямо были они, но всегда завидовал и всегда ненавидел. Он мечтал стать богатым и сильным, мечтал, чтобы кто-то служил ему так же, как он сам служил богатым и сильным — покорно, преданно, честно. Но прежде силы и богатства нужна смелость. Хотя бы для того, чтобы начать. Ее-то у Карчи и не было. И сейчас он быстро отказался от своего решения — и сам же себя похвалил за это: молодец, овладел вспышкой гнева, не поддался соблазну шайтана. К тому же в голову пришла догадка: а что, если Каншау обманывает его? Может, таубий оставил свою шапку и черкеску не Каншау, а ему, Карче, и на свадьбу позвал тоже его, верного старого жалчи? Так, все так, с него станется, хочет сам пойти! Придет и скажет: мол, Карча и одежды не взял, и на свадьбу не захотел.

— Может, ты не понял? — чуть не взвыл он. — Не мог бий не позвать меня! Давно обещал!

— Кораном клянусь. Я сам предложил ему, чтобы пошел ты. Но таубий не согласился. — Каншау услышал, как застонало сердце старика, и пожалел его. Он сказал словно бы с обидой: — Не захотел, чтобы кош остался на меня од-

ного. Ты, говорит, еще молод, пусть Карча останется, он сбережет стадо.

— Он знает, на меня можно положиться, он знает! — обрадовался Карча.— Конечно, что это за свадьба, если все время думать, как там со стадом, не случилось ли чего-нибудь. Потому и оставил меня здесь. Золотой человек!

Он сразу же успокоился, снова полюбил бия и, забыв недавнее унижение, стал примерять шапку и черкеску.

— Алан, ну как?

— Оллаха, тебе больше идет, чем мне,— ответил Каншау.— Носи ты.

— Ты правду говоришь?

— А что? Ты старше! Надевай, надевай.

— Да возблагодарит тебя аллах, да не покинет тебя счастье,— запричитал Карча.— До самой смерти не забуду твоей щедрости.

— Пусть на теплом теле износится.

А утром Каншау выбрал из стада пятьдесят баранов и погнал их в долину. Приближалась осень, горы пахли плодами и сеном. Каншау не торопился. Бараны шли медленно, пощипывая траву, а он, положив хыджи на плечо, пел песню Бийнегера. Из всех песен больше всех ему нравилась эта. Бийнегер был смелым и верным слову горцем, и каждый раз, когда Каншау пел песню о нем, он восхищался им. Лет тридцать назад Айдарук, наверное, был похож на Бийнегера.

Так он шел до полудня. Когда же почувствовал, что рубашка прилипла к спине, впервые огляделся вокруг. Лучи солнца, отражаясь от скалы, рассыпались и падали на придорожные камни, на красные гроздья рябины, на спины усталых баранов.

Каншау остановил баранов, чтобы они паслись возле реки, а сам снял с плеча хурджины и сел на поросший мхом камень. Клюкой пастушьей палки притянул к себе ветку рябины и, не срывая ягод, стал высасывать из них сок — пока не опустела вся гроздь. Потом нарвал охапку травы и подложил под себя. Он развязал хурджин, взял лепешку, кусок вчерашнего мяса и поел. Поев, Каншау спустился к воде, разделся и, как в детстве, зажмурившись, прыгнул в воду. Холодная вода оживила тело, дала легкость, он вылез, дрожа вернулся к рябине и опять высосал несколько гроздей. Потом он перешел к орешнику, прыгнул ветку и шелкал орехи, покуда не заняли его крепкие скулы. Потом срезал опустошенную ветку и принялся обстругивать ее.

Бараны разбрелись по склону, Каншау безучастно смотрел на них, на свои гетры, обсыпанные длинными белыми стружками, и на выструганную им палку. «Белая и стройная — как она», — подумал он. Палка все же успокоила его — то ли белизной своей, то ли молчанием.

Бараны паслись на склоне, день уходил, а Каншау не торопился. Большая часть пути осталась позади, если взглянуть, можно увидеть высокий дом Айдарука под красной крышей, если вслушаться, можно уловить лай собак. Охватила тоска — что же ждет его на этой свадьбе?

В долине он увидел спускающихся к реке девушек. Сердце его забилось. Он быстро перегнал овец к узкому деревянному мосту через Юрду и, оставив их у реки, вернулся на мост. Казалось, что девушки несли на плечах коромысла не затем, чтобы нацепить на них ведра с водой, а для красоты, для какого-то обрядового танца, словно вышли ненадолго из реки и сейчас затеют одну из своих, людям неведомых, подводных игр. Подойдя поближе, Каншау узнал Нальбике. Голова у него закружилась.

Он вернулся к своим овцам и погнал их навстречу девушкам. Глаза их встретились. Желание побежать, броситься друг другу в объятия, не стесняясь никого и ничего, огнем занялось от самих пальцев ног. Но они сумели подавить этот порыв: Нальбике опершись на руку какой-то подруги, а Каншау — на свою палку.

— Ах, какой статный этот ваш жалчи, — сказала одна из девушек.

Нальбике услышала эти слова откуда-то издали, из далеких стран, из самого ущелья, где он томился и страдал. Но от этих слов вся речная долина наполнилась запахом и цветом Сангыраукола.

— День добрый, девушки, — сказал Каншау, с трудом уняв волнение, — уж не жажда ли пригнала вас сюда?

Нальбике ясно поняла, о чем спросил джигит. Это был жаз тил — весенний язык, тайный говор влюбленных. И ответила на том же языке.

Нальбике:

— Давно мы не пили чистой воды, — и этим открыла свою тоску. — А вода, что может утолить нас... течет с гор.

Каншау:

— Счастлив родник, если сумеет утолить чью-то жажду.

Нальбике:

— Но ведь мы не ангелы, чтобы знать тайну родника, —

родник то бурлит, то замирает, а то и вовсе уходит в землю.

Каншау:

— Он так чист и прозрачен. Стоит лишь заглянуть в его глубину. Если же... если же эмегены<sup>1</sup> не выпьют его и не осушат до дна.

Лицо Нальбике потемнело: эмегены — это, конечно, князя, они могут иссушить ее любовь, а то и убить Каншау. Она опустила голову, в растерянности задергала бахрому на шали.

— Но кто же одолеет течение воды? — нашлась она. — Вода все одолеет.

— Одолеет ли? Вот какие валуны на пути у нее.

Девушки разом посмотрели на пенное течение и увидели посередине ее огромный валун, разделявший реку надвое, Нальбике кольнуло в сердце. Плотнее прикрыв лицо шалью, она глянула наверх.

Над обрывом стояли ее брат Шабатай с Мураем и тоже смотрели на нее. «Ах, мой день, уж не торгуются ли они из-за меня?» — подумала Нальбике. Снова посмотрела на валун посреди реки. Река грудью билась о камень, брызги ее зеленой крови разлетались окрест. «Не одолеют, — с тоской подумала она. — Не хватит сил. Что же будет с нами?» И она крикнула вслед уходящему Каншау:

— Если родник... если родник захочет... он разбухнет и сметет все!

Но Каншау уже не мог ей ответить. Он шел мимо стоящих в праздности княжичей и от волнения и зависти кричал на баранов без нужды.

#### IV. СВАДЬБА

Князя Бурундуевы готовились к свадьбе. Верхние комнаты большого дома ожидали почетных гостей, внизу и во дворе ставили столы для гостей попроще. Айдарук с давним волнением ждал этого дня. Он сам проверил, так ли убран угол для невесты, и велел поменять занавес — пусть будет не из ситца, как обычно, а из дорогого шелка. Распорядился также, чтобы принесли самую мягкую подушку для стула невесты и лучший в доме коврик ей под ноги.

---

<sup>1</sup> Эмегены — сказочные чудовища, враги нартов.

Девушки из аула, засучив рукава, мыли окна, двери, полы. Женщины месили тесто и процеживали бузу. Акбийче, хозяйка дома, облачившись в самое свое дорогое платье из темно-коричневого шелка, зорко следила за всеми работами.

Княгиня, женщина упрямая и властная, сегодня выглядела особенно напряженной и бледной; высокая, тощая, она двигалась бесшумно — словно и не двигалась, а, ведомая злыми силами, подплывала туда, куда ей было нужно. Ходившая до замужества в крутых деревянных чуба — корсетах, она так и осталась прямой как жердь; длинное шелковое платье княгини, касаясь земли, придавало ее походке какое-то особое величие — оно и было в ней, в женщине, выросшей в глубине гор, в доме с земляным полом, в соседстве с навозом и шерстью, рядом с овином и кизячным дымом, среди конского ржания и аробного скрипа; она не ткала, не пряла, не растапливала очаг, не доила, не чистила коровники, но те, кто делал это, жили рядом, ступали через тот же порог, что и она, и, прислуживая, порой касались ее платья, а от прикосновения продымленной руки и шелковое платье может припахивать дымом. Но княгиня не сквернословила, не кричала, она губила взглядом, презрением, яростным уничтожающим движением бледной руки, на которой кожа не пожухла, а присохла к тонким костям; ее крик, ее негодование и ярость ломались и шипели меж тонких сжатых губ, именно в них, в этих сжатых тонких губах, таилась сила, неведомая, непонятная простым крестьянкам и оттого холодящая сердце, сулящая неясную беду; крестьянки — всегда в ознобе от этой воли, этой неприступной родовой гордости княгини, этого блеска золотых камара и тьюме<sup>1</sup>, этого презрения и крика этого, зажатого меж тонких губ, — отдавались работе с таким усердием, что даже своим старанием вызывали еще большую ненависть княгини.

Но не сегодня женщины узнали княгиню, каждый день они работали в ее доме, теребили, мыли, сушили, расчесывали гребнем шерсть, а потом били ее лучком, укладывали для валяния — и не было конца этой изнурительной работе. Веселое настроение здесь бывало редко, и то лишь когда Акбийче уходила из дома. Женщины работали с душой, какие только узоры не придумывали они для кийизов княгини, особенно удавались им кийизы с окаймленными кра-

---

<sup>1</sup> Камар, тьюме — женские украшения, пояс и нагрудник.

ями, с вкатанным узором черного, фиолетового, голубого, светло-коричневого, оранжевого и желтого цветов, с язычковыми рисунками, где золотом блестели рога Аймуша — божества овцеводства, где сплетались ветви Большого дерева, — свою боль и радость, свою мольбу к божествам вкладывали они в этот войлок. Оттого и далеко известны были кийизы княгини Бурундуевой, которых она никогда не касалась своими руками.

Но самый тягостный день для мастериц наступал тогда, когда они начинали валять белую шерсть для бурок. Теперь им нельзя было ни разговаривать, ни смеяться, ни даже оглянуться. Еще немного — и Акбийче запретила бы им дышать. Должно быть, она считала, что если женские слезы не смочат войлока, то будет он рыхлым и слабым. Женщины опаливали войлок на легком огне — при этом потрескивали шерстинки и звенело осиное гудение Акбийче: «Лучше бы вы опалили свои бес-с-стыжие лица!» — настолько без любви и старания, считала она, работали они. И Айдарук из-за нескончаемой жестокости, бессердечия своей жены чувствовал себя несчастным. Такой она была и сегодня; когда на всех лицах играла радость, естественная на любой свадьбе, — Акбийче оставалась каменной. И при виде лица жены меркла радость в сердце Айдарука.

Нальбике к нарядам была равнодушна. Она любила лишь то свое платье, в котором однажды встретила Каншау, а потом нарочно пошла с кувшином, спустилась за ним к реке, и наглый мальчишка посмеялся над ней. Тогда ей было четырнадцать лет, и это платье давно уже было ей мало. И сегодня она отказалась от своих дорогих платьев, и золотым камаром не затянулась, и золотого тьюме не надела — была одета просто, как всегда.

В саду над огнем висели девять казанов с мясом. Девять всадников выехали за околицу встречать гостей из девяти сторон. Все кувшины, кумганы, медные тазы были начищены до блеска. Неподалеку от аула, на широком лугу ставили мишени для состязания в стрельбе. А на берегу мальчишки собирали булыжник, покруглей и увесистей, для состязания по толканию камней и складывали в кучки. Туда же тащили скамейки для почетных зрителей.

Айдарук волновался больше всех, но ничем не выдавал себя. Сегодня он был в белой черкеске, с полными на этот случай рядами золотых газырей, на поясе, отделанном серебром, кинжал в золотых ножнах. Сапоги его поблескивали и поскрипывали на каждом шагу, и он легко нес тя-

жесть высокой бухарской шапки на голове. Никто не сказал бы, что ему уже за пятьдесят — стройный костяк, крепкое молоджавое лицо. Если не знать, то и не догадаешься, что этот человек сегодня женит сына.

Первым приехал из Безенги<sup>1</sup> его двоюродный брат по отцу Шонтук. На двух запряженных волами арбах он привез на свадьбу четыре кувшина ячменного пива, еще четыре кувшина выдержанной больше года овсяной бузы, четыре тулука пшеничной муки. Сзади вели желтогривого скакуна под дорогим седлом — он был назначен победителю на скачках. Приехал Шонтук с двумя дочерьми. И еще привез с собой кунака — богатыря Шабаза.

Шабаз, по прозвищу Егюз<sup>2</sup>, был из одного с Шонтуком аула, молодой, но уже известный во всех пяти балкарских обществах борец. Он вырос без отца и матери, но, нравом независимый, он ничуть не походил на сироту. Мощный, приземистый, быстрый в движениях, как Рачикау<sup>3</sup>, он, несмотря на молодость, уже стал уважаемым человеком. Дружбы с ним искали и бедные, и богатые. Был он обласкан и таубиями. На большие свадьбы, на празднества и торжества, где собиралось много народа, таубии ездили со своими борцами. Шабаз тоже поездил с князьями и повидал немало. На этой свадьбе Шабаз должен был схватиться с борцом князя Иналука, диогерского кунака Айдарука. А диогерцы бороться умели.

Айдарук сам вышел навстречу брату. Джигиты помогли Шонтуку сойти с коня, приняли арбы, распрягли волов. Шабаз легко, словно связки соломы, поднимал тулуки с мукой и ташил их в дом. Кувшины с бузой и пивом отнесли в сарай, где пол был устлан свежим сеном и кошмой. Гости прибывали — и сарай заполнялся бочками с пивом, разными кабардинскими яствами, бурдюками с маслом. Все больше становилось народу, все громче становился шум, и уже нельзя было понять, кто о чем говорит.

Под вечер приехали самые именитые гости. Из Осетии, из Диогера прибыл князь Иналук с женой, княгиней Езегетхан. Навстречу им на край аула вышли Айдарук, Акбийче, Шонтук, Адей и Ерюзбек. Поздоровались, расспросили о житье-бытье и, окружив высоких гостей, пошли к дому. Шонтук, увидев, что князь не привез своего силача, очень расстроился. Айдарука же насторожило другое: ви-

<sup>1</sup> Безенги — высокогорное селение в Балкарии.

<sup>2</sup> Егюз — бык.

<sup>3</sup> Рачикау — герой нартских сказаний.

димо, и в Диогере было беспокойно, иначе отчего же всегда веселый и словоохотливый князь был так вял и молчалив. Но спрашивать не полагалось. Князь Иналук оказал честь Айдаруку, несмотря на все заботы, приехал на свадьбу, и сейчас это было главное.

На следующий день нёгеры<sup>1</sup> жениха отправились за невестой. Возвращение свадебной конницы ожидалось в день жумы, в пятницу. Этого срока было достаточно и с новой родней познакомиться, и, соблюдая все обряды-обычаи, увезти невесту из родительского дома.

Сегодня она должна была войти в дом Айдарука.

В ожидании вестников, которые должны были сообщить о приближении свадебной процессии, Айдарук еще раз все осмотрел, нигде никаких неполадок не нашел и облегченно вздохнул.

И все же полного покоя в душе таубия не было. Тревожили его те, кто уехал за невестой. Правда, тамадой отправился сам Шонтук, а он весь порядок знал хорошо. С дигизой — подружкой невесты — тоже было ясно, ею по праву стала дочь Шонтука. Спорили только об улан-нёгере — дружке жениха; перебрав всех друзей и молодых родственников Шабатая, наконец остановились на Мурае. Он-то и вызывал теперь тревогу Айдарука. Мурай был равнодушен к Нальбике, и в ауле уже поговаривали, что скоро Бурундуевы породнятся с Ерюзмековыми.

Но сам Айдарук, что он думал о возможном свате?

Одно свойство старого Ерюзмека вызывало его неизменное уважение — упорство. В отличие от других князей, даже иных узденей, Ерюзбек в молодости был беден, сам содержал свой кош, сам косил сено. Айдарук помнил, что, когда он сам был мальчишкой, молодой князь Ерюзбек ходил в грубых чабурах или даже, случалось, босиком. В доме Бурундуевых не любили сплетен, а вот в Жамауате знали и поговаривали о том, что долгая бедность далеко разбросала некогда сильных Ерюзмековых по разным ущельям. Ерюзбек видел ухмылки на лицах почти всех — и черной, и белой кости — жамауатчан, молча нес позор бедности, ночами не спал, не жалел себя и только упорством, потом, кровью, волчьим гоном изо дня в день, неумной жаждой быть наверху, умением соединить, как говорится, волос к волосу, он восстановил и княжеское имя, и княжеское имение — он переиграл тех, кто ухмылялся над ним, и не уважать его за это было невозможно.

<sup>1</sup> Нёгеры — товарищи.

Но с годами упорство князя перешло в алчность; он уже был состоятельным старшиной, но все еще не насытился, хватал, где только мог, угнетал, грабил всех, кто от него зависел, да еще требовал с них *бий илюш* — княжескую долю, а попросту оброк. Так он вымещал свой пролитый пот, не в силах забыть той режущей ухмылки, постоянно напоминал караخالку: ты бесправен и ты ничтожен. Ерюзбек считал, что каждый, на кого хватает его власти, должен быть придавлен и привязан к княжескому имени, словно сырмятными ремнями, как повинного в убийстве привязывают к камню в ожидании суда.

Став в Жамауате старшиной, он так и делал — давил как мог. Но согнуть Жамауат было не просто. Князей Бурундуевых он взял себе сам, а Ерюзбековых кто просил? Они такие же пришельцы, как и многие другие, тоже пришли, отчаявшись в своей бедности, пришли и бросили семья.

А плодородная долина Жандара одарила их обильными всходами, как и любого другого до них. И как бы Ерюзбек ни пытался с помощью плетки заставить людей забыть кое о чем из прошлого Ерюзбековых, но все было напрасно.

Жамауат был памятлив. Волю же в этих местах ценили как-никак повыше чьего-то, пусть и княжеского, самолюбия. Выше даже Большого Дерева в Чегеме и его Поростка в Жамауате. А если же кто-то попытается именем аллаха лишить их воли, тогда и они, потерпев до поры до времени, скажут «аллах акбар!»<sup>1</sup>. А это совсем не то, что говорят молящиеся на намазлыке. Слова, правда, те же.

Потому и случилось так, что однажды из балки Семи родников, где были коши старшины, пришла арба без погонщика, и в ней, обложенный *освеженными* тушами баранов, туров и даже *кабана*, *со сломавшими* ногами лежал Ерюзбек. Полгода после этого пролежал князь с туго привязанными к обеим ногам кленовыми дощечками. Сами Ерюзбековы утверждали, что конь бия понес, сбросил и потащил его по каменным россыпям. Пастухи же в кошах переглядывались, по их обросшим бородой лицам расплывалась понимающая улыбка, слова их были грустны и сочувственны: «Надо же, такой конь... своего хозяина... и по каменным россыпям».

Сняв наконец кленовые дощечки, Ерюзбек отправился в Теркбаши для продолжения лечения. Но куда он лечился там, в Теркбаши, здесь, в балке Семи родников, вы-

<sup>1</sup> Аллах акбар — аллах велик (араб.).

стрелом в упор был убит один из его пастухов. Дурная весть из балки и телега с двумя полицейскими из Нальчика пришли в Жамауат одновременно. В этих местах не умели жаловаться чужим и просить помощи у властей, чтобы воздать преступнику, — но телега с полицейскими катила вверх по каменистой дороге не спеша, упорно, привычно, словно крот или сам Ерюзбек. Войдя же в аул, она покатила прямо к дому старшины, точно люди в ней хорошо знали дорогу и не раз бывали в этом доме. Высыпавшие к оградкам люди проводили взглядом похожую на крота телегу и решили, что пастуха, видать, и впрямь убил сам Ерюзбек.

На следующий день полицейские начали расследование, допрашивали всех, кто был в этой балке и кто не бывал там отродясь. На исходе следующей недели полицейские съездили на место убийства, встретившись с пастухами, допросили и их.

Никаких следов, никаких улик. За неимением преступника, зло сорвали на молодом весеннем барашке — и когда возвращались в аул, чувство досады, что преступник ушел от наказания, подавили тяжелые ощущения, которые бывают от переедания. Полицейские побыли еще, побегали, на ходу отпуская ремни, в туалет — княгиню Ерюзмекову, женщину набожную, бессловесную, не то расстраивало, что гости так часто ходили туда-сюда, а то, что ходили без кумгана, хотя она каждый раз старательно наполняла его чистой родниковой водой и ставила на виду, возле самой тропинки в жатхану. Отъевшись на хоть и однообразных, но сытных, дармовых харчах Ерюзмековых, полицейские намекнули было о женщинах, но им объяснили, что туземный Жамауат до такого уважения естественной человеческой потребности еще не дорос. И опять, стоя у оград, люди взглядом проводили телегу, которая вниз по крутой дороге катила так же не спеша, как и поднималась в гору.

Тогда Заммай был подростком. И когда Айдарук изредка заходил к ним, он не мог не заметить какой-то постоянной его озлобленности, затаенности его горящего взгляда: острые глаза его вдруг отрывались от земли и пробегали по всем, кто был рядом, и снова уходили в землю, и он все как-то без толку суетился, порывался уйти куда-то и садился на место, а отец все время держал его в узде своего зрения. Сейчас, в страхе возможного родства, Айдарук глянул на события тех дней по-иному, и в них появился иной смысл, очерчивались какие-то смутные подозрения. Князь перекручивал их в мыслях, сплетал на разные лады

и вдруг вздрогнул, словно тот выстрел в балке Семи родников грянул у него в доме.

Теперь он видел, как были тогда удручены обитатели дома Ерюзмековых, какой в них был страх, неверие друг к другу, ненависть, словно где-то в доме был спрятан покойник и причастен к этому был каждый, но тщательно скрывал это от других. Покойник же, разлагаясь, все больше и больше заполнял дом, запах его заползал в их думы и даже сны. Но больше всех, кажется, страдал Заммай, словно это он затащил покойника в дом и теперь не знал, как от него избавиться. Но властный отец не спускал с него своего рыжего, волчьего взгляда. Молчала, словно раз и на всю жизнь напуганная, мать. И лишь крошечный Мурай радовался жизни в своей колыбельке — не видел сумрака, не слышал тишины, не чувствовал зловония и уже тогда знал, что он лучше всех.

Мог ли он, справедливый перед богом и людьми князь Айдарук, в добром здравии и согласном рассудке отдать в этот дом свою единственную дочь — чистую утреннюю росу, рожденную в час небесного озарения?

Но Мурай? Двадцать лет прошло с тех пор. На его глазах из этого несмышленища вырос человек, свободный от всех пороков и того зловония, не причастный к отцовскому преступлению, если оно действительно было. Мог ли он в чем-то упрекнуть самого Мурая, сказать, что он своим воспитанием, умом, отвагой недостоин его дочери? В холодном несогласном доме Ерюзмека он вырос чистым и гордым, князь во всем, и — кровь от крови, кость от кости — сумел ни в чем дурном не повторить отца. Он был другом его сына Шабатая и, если быть честным и справедливым, был выше его и воспитанием, и умом, и отвагой. Айдарук не сомневался в том, что Мурай ради Шабатая, поскольку он его друг, пойдет в огонь и воду.

Князь горько улыбнулся: как вдруг, в одночасье меняются человеческие чувства. Покуда не было разговора о родстве с Ерюзмеком, покуда он ни о чем не догадывался, он любил Мурая, часто ставил его в пример сыну, бестолковому, неуживчивому. Он настоял, чтобы они вместе поехали учиться в Бахчисарай, с трудом уговорил Ерюзмека, упорно считавшего все это блажью заучившегося Айдарука и не хотевшего тратить деньги неведомо на что. Князю же казалось, что если Мурай будет рядом, то никакой беды с Шабатаем не случится. Даже теперь, когда наступили смутные времена и молодым князьям пришлось оставить

учебу, Мурай вел себя разумно, а Шабатай ни о чем еще не задумывался, разве только озлоблялся, а на что — не знал и сам. И эта поспешная свадьба была связана с его неустойчивостью. Айдарук надеялся, что женитьба изменит сына. Он поселит Шабатаю с женой в новом доме в Нальчике, подыщет ему какое-нибудь занятие, а там и сама жизнь заставит его образумиться, втолкует то, чего не смог втолковать отец.

Но как быть с Нальбике? Может, зря они, все его сче-ты с Ерюзмековым? Мураю все по силам, все с руки, он тоже может переехать в низины, показать себя, зажить достойной жизнью. «Мы с Ерюзмеком не вечны,— подумал он.— Умрет Ерюзбек и унесет свою дурную славу в могилу. Мурай же другой... И если Нальбике захочет... сам же я неволю девочку не стану».

Когда, во всю паля из ружей, прискакали гонцы со знаменем, Айдарук, к своему удивлению, почувствовал холодную дрожь, он стоял и не мог даже шага сделать. Потом оторвался от места и стал принимать поздравления. Вот он и женил своего единственного сына! Верно ли он выбрал новых родственников Шабатаю? Станут ли они опорой его сыну? Нет, он не ошибся. Родители невестки, теперь его второй дочери,— люди достойные и состоятельные и на жизнь во многом смотрят так же, как и Айдарук. «Нет, нет,— твердил он себе,— если даже меня не будет, они не дадут Шабатаю пропасть...» Снова грохнули выстрелы, он очнулся и огляделся вокруг. Послышалась свадебная песня — орайда.

Когда невеста с сопровождающими подъехала к аулу, дорогу им преградил завал из бревен. Соорудили его аульские парни, чтобы остановить свадебный поезд и взять положенный по обычаю выкуп. На плоских крышах домов стояли девочки, еще не принимающие участия в свадьбе, женщины с грудными детьми на руках, мальчишки и глубокие старики.

Впереди всех с синим знаменем в руках скакал Мурай. Подняв на дыбы, он остановил коня перед завалом и высыпал на головы парней две горсти серебряных монет, достал из хурджина куски мыла в обертке и бросил стоящим на крышах девочкам.

Обрадованные такой щедростью парни, похватав деньги, быстро разобрали завал и пропустили фаэтон с невестой. К ушам коней, запряженных в фаэтон, были привязаны красные, синие и белые флажки, в отделке сбруи блестели

серебряные язычки. Длинная шаль невесты закрывала ее всю, как белое облако. По одну сторону от нее сидела дигиза, дочь Шонтука, по другую — джигит в синей черкеске, ее родственник, рядом с кучером ехала гармонистка.

Когда показался дом Айдарука, гармонистка вновь растянула гармонь, да так, словно звала пролететься вместе с песней до неба и обратно. И у всех словно крылья выросли. А когда в пение гармонии влились мелодия сыбызги и горячее хлопанье ладоней, Мурай метнул знамя другому всаднику и, раскинув руки, встал во весь рост в седле. Он плясал на скачущем коне, подпрыгивал в седле, вставал на дыпочки и словно парил в воздухе. Люди смотрели и не верили своим глазам. Потом он ступил одной ногой в седло, другой на шею коня, взял обратно знамя, высоко поднял его и так въехал во двор Айдарука.

Қаншау не видел, как торжественно въезжала свадьба, — он был в долине, готовил к скачкам бурого Айдарукового жеребца по кличке Илячин — Ястреб. Но в мыслях он был там, на княжеском дворе, представлял, как счастливая Нальбике принимает невестку, — и опять, как в Глухом овраге, с тоской смотрел на дорогу, ведущую к княжескому дому. Вечером, поставив коня на сухой овес, он все же пришел на свадьбу; он бродил среди гостей, не слыша веселых голосов, не видя всего блеска княжеского тоя, искал Нальбике, хотя и знал, что сейчас она в отоу — комнате новобрачных. Никто не обращал на него внимания, да и ему никто не был нужен. И он ушел домой к матери.

Скачки были назначены на второй день после полудня. Однако наездники еще до обеда съехались на место скачек и стали готовить коней. Глаза у коней горели огнем, они вставали на дыбы, били копытами воздух, но легкие джигиты, затянув удила, держали их на месте, не давали носиться по полю. От злости кони грызли удила и рыли копытами землю. Қаншау очень хотелось, чтобы знаменитый Илячин обогнал всех, и, ведя жеребца в поводу, он ревниво оглядывал других наездников и их коней. Все кони были хороши — тонконогие, стройные, сильные, плохих тут не было.

— Нет здесь коня красивее и умнее тебя! — сказал Қаншау косящему на него понимающим взглядом жеребцу. — Но чтобы прийти первым, мало быть легким, и даже крылатым быть мало. Надо иметь ярость. А есть ярость в сердце — обгонишь и крылатого. — Он вскочил на коня и пустил его по склону размяться.

Каншау был уверен, что на буром поскачет кто-нибудь из родственников Айдарука. Но близился полдень, а наездника все не было. Среди соперников самым сильным считался Мурай на своем караковом. Он, как и положено улан-нёгеру, был все время в хлопотах и пришел позже всех. Явился он в окружении девушек, желающих посмотреть на скачки. Усадив их на удобные места, он легко вспрыгнул на своего каракового и пустил его вскачь. Поравнявшись с Каншау, Мурай спросил, кто будет скакать на Илячине и готов ли конь к скачкам.

— Кто наездник, не знаю, а как готов — скоро увидим, — сказал Каншау.

Мурай поскакал дальше, а он, провожая его взглядом, подумал: «Почему бы тебе не победить... Конь под тобой — как птица, и на сердце у тебя не лежит камнем тоска». Каншау знал о чувствах Мурая к Нальбике. В нем вспыхнуло желание потягаться с Мураем, доказать, что он, пастух, ни в чем не уступит ему, да и никому из биев и узденей. Два дня назад, когда Айдарук вручил ему Илячина, и даже сегодня утром, когда он приехал на место скачек, этого жгучего чувства в нем не было. Каншау понимал: без хорошего скакуна нечего сюда и лезть, только осрамишься, и будет по пословице: «Конь рысцей, а пеструсой». Но нахлынувшее вдруг желание потягаться с блестящим соперником было так сильно, что он взмолился аллаху: «Ну сделай же, придумай же что-нибудь!»

Среди девушек, пришедших с Мураем, была и Нальбике. Взгляды их встретились, и он среди этих уверенных радостных людей почувствовал себя мальчишкой, которого гоняют с разными мелкими поручениями. Вот сейчас придет кто-нибудь из рода Бурундуевых и скажет: «Сын Жандаровых, слезай и помоги мне сесть на коня». Онемели ноги, во рту разом пересохло. Пересилив себя, он тронул буро-го. «Ну что ж, другим я не был, так что и жалеть не о чем. На моей свадьбе таких скачек не будет...»

Гости уже заполняли поляну, становилось шумно и жарко. Люди сидели на камнях, на выступах скал, на деревьях. Состоятельные приезжали верхом и вставали по краю луга.

«Будьте вы прокляты, эти скачки! — сказал в сердцах Каншау. — Бедная моя мать, зачем ты отпустила меня в услужение к бию!» «Выше голову, хомух!»<sup>1</sup> — услышал он

---

<sup>1</sup> Х о м у х — немощь, слабак.

вдруг насмешливый голос. Он огляделся, но никого не было, да никто и не знал, что творится в его душе. А голос пытался ободрить, разогнать тоску. Каншау же спорил с ним про себя, огрызаясь: «Брошу коня и уйду в горы! А Нальбике пусть выходит за Мурая. Вот муж, которого не придется стыдиться...»

Он спрыгнул на землю, никак не мог распутать намотанный на руку повод. Конь фыркал, вопросительно смотрел на него. «Выше голову, хомух!» — опять насмешливо сказал голос. Наконец он содрал с руки повод, натянул его так, что конь закинул голову, и примотал к луке седла. Плечом оттолкнул жеребца. Тот не двинулся. В ярости Каншау ударил его в пах камчой. Конь напрягся от боли и с укором посмотрел на Каншау влажными глазами, не понимая, за что бьют. Каншау снова поднял камчу, но не ударил, отпустив повод, обнял голову коня, прижался щекой и беззвучно заплакал.

— Эй ты, жеребец, чего жеребца обнимаешь? — услышал он веселый голос Мурая. — Что ты ему шепчешь? Или хочешь к кобылам сватом послать?

Каншау не обернулся, не ответил. Лишь крепче зажмурился и крепче прижался щекой к скуле коня.

— Джигиты, все ли готовы? — донесся голос Адея-эфенди.

— Все... все готовы... — вразнобой ответили наездники.

Каншау вытер глаза, глубже надвинул шапку и потянул Илячина туда, где стояли распорядители скачек.

— А ты кого выставляешь? — спросил Адей Айдарука.

— Я распорядитель скачек, а до сих пор не знаю, — сказал Иналук, князь диогерский.

— Разве Илячин не здесь? — удивился Айдарук. Он оглядел всадников, увидел Каншау, ведущего жеребца, и воскликнул: — Вот мой конь! Взгляните, какая у него шея!

— Конь хорош — слов нет, но кто поскачет на нем? — одобрительно оглядывая Илячина, снова спросил Иналук.

— Кто поскачет? — Айдарук озабоченно посмотрел по сторонам. Лицо его насупилось, словно запропастилось что-то очень нужное, и то ли самому себе, то ли кому-то еще, сказал сердито: — Будь ты неладен! Кто же?

В свадебных хлопотах он забыл предупредить кого-нибудь из родственников, чтобы готовился к скачкам. А теперь уже было поздно. И он поманил Каншау.

— На Илячине поскачешь ты, — сказал он, когда тот подошел поближе.

Каншау не поверил своим ушам.

— На что это похоже! — возмутился Ерюзмек.— Опозорить род!

— Род на месте,— отрезал Айдарук. Пряча свою оплошность, он говорил уверенно, словно решение это он принял не сейчас, а загодя,— Каншау мне как сын. А скакать должен тот, кто умеет сидеть на коне.

Князь сказал так властно, что все, зашумевшие было, сразу умолкли. А эфенди ободряюще улыбнулся растерянному джигиту.

Вот так и случилось, что Каншау сел на Илячина и присоединился к изнывающим от нетерпения всадникам. Ина-лук еще раз оглядел их всех, высоко поднял наган и выстрелил.

Всадники долго неслись вместе, стараясь обогнать друг друга, вырваться из плотной кучи. Лишь через круг первым шел ерюзмековский скакун с Мураем. Отчаяние резануло Каншау. Но на ближнем повороте он увидел, что Мурай слишком гонит коня, и понял: этот первым не придет. «Неужто он не знает, что от частых ударов ноги коня секутся? — удивился он. Еще ниже пригнулся к гриве бурого.— Ну, Илячин, пошли!»

Каншау хорошо узнал бурого жеребца, еще когда выгуливал табун на пастбище. Ордан тоже хвалил Илячина — Ордан, который хорошо знал и людей, и лошадей. «В настоящем скакуне,— говорил он,— сидит страсть, ярость — обогнать, опередить! И на скачках не камча и пятки — гонит его ярость, эта самая страсть». А Мурай, видать, и понятия не имел об этом.

Наверное, и нельзя узнать всех повадок коня, его души, если сам не пасешь его каждый день, не выгуливаешь, не кормишь с руки, не чистишь, не моешь, не расчесываешь гриву и хвост, не рассказываешь ему всего, что накипело на душе. Спору нет, Мурай — ловкий джигит, а вот души коня не знает. Да и как ему знать? Хоть и нелегко научиться танцевать на седле, но для коня это лишь забава, пустая потеха, и в дружбу с ним на этом не войдешь. Вот и выходит, что пастух должен быть лучшим наездником, чем бий. Что же, у каждого свои преимущества! И он обязан обогнать Мурая и всех других биев — не только ради себя и своей любви к Нальбике, ради всех пастухов на свете.

— Прости меня, Илячин,— шепнул он, вспомнив свою вину перед бурым.— Я виноват, я ударил тебя, невиноватого...

Конь понял, простил и рванул вперед со всей яростью, которую держал в сердце. Впереди шли четверо — и еще Мурай. Бурый стал обходить одного за другим. Скакуны неслись и словно копытами не касались земли.

— Вот это конь! — воскликнул Адей. — Уж если конь — так чтоб такой!

Ерюзбек быстро посмотрел на него и взгляделся в скачущих: Мурай и Каншау шли вровень — чью же лошадь похвалил эфенди?

Медленно, словно борясь с уносившим их течением, ушли назад Мурай и его каракорый. Каншау не оглядывался, чтобы не сбить бурого с широкого стелющегося намета. Он смотрел вниз — и не видел земли, смотрел по сторонам — и не видел ни людей, ни скал, ни деревьев. Женщины в белых платках, всадники на конях, скалы, листва — все слилось в один гудящий поток.

— Аперим, хороший у тебя конь, — похвалил диогерский князь Айдарука. — Оба хороши — и конь, и наездник. Как его — Каншау?

День померк в глазах Ерюзмека. Он был уверен, что желтогривый скакун, привезенный Шонтуком на приз победителю, достанется Мураю. И теперь ругал про себя и своего коня, и своего сына, и бурого жеребца Айдарука, а больше всех Иналука, который, не дожидаясь конца скачек, похвалил Каншау. «Ничего, еще держится мой каракорый, есть еще силы, еще возьмет свое — аллах, помоги ему!»

Но аллах его молитвы не принял. Илячин пришел первым.

Лишь теперь Каншау увидел, что бока Илячина покрыты белой пеной. Из толпы смотрела на него радостная, раскрасневшаяся, хлопающая в ладоши Нальбике. Он понял, что это самый счастливый день. «Может, другого такого в моей жизни и не будет», — подумал он.

Он слез с коня и стал выхаживать его, не решаясь подойти туда, где были старшие. А там, где сидели распорядитель скачек Иналук, таубии и другие почетные гости, вдруг наступило неловкое молчание. Было что-то неподобающее, излишнее, была в этом неуместная, что ли, расточительность — отдавать великолепного желтогривого скакуна под дорогим седлом простому батраку, пусть он и прекрасный наездник. Айдарук и сам жалел, что так получилось. Нет, разумеется, Каншау достоин награды. Но он-то рассчитывал, что приз получит кто-нибудь из другого

ущелья — и там долго будут говорить о свадьбе Шабатая, вспоминая о ней каждый раз, как завидят желтогривого. Не подумал бий, не подумал, поспешил. Если бы сейчас на месте Каншау был свой, Бурундуев, князь так бы и сделал: подарил призового коня гостю из другого ущелья, а родственник получил бы что-нибудь взамен. Но так обидеть Каншау князь не мог.

Когда, ведя Илячина в поводу, Каншау подошел к почетным гостям, в них все же заговорила совесть, и они постарались встретить его радушно. Похвалили его езду, поздравили. Каншау принял все это молча — младшие перед старшими молчат. Лишь сказал:

— Я что? Хвалить надо Илячина.

— Желтогривый Шонтука — твой, — заключил Иналук, довольный его воспитанностью. — Бери его и живи долгие годы.

Борец Шабаз, передавая ему поводок выигранного коня, словно угадав его мысли, сказал:

— Молодец — доказал! Не только им быть первыми.

Каншау не смог толком ответить и ему. Взял одной рукой под уздцы Желтогривого — так, не мудрствуя, он уже прозвал его про себя, другой — все еще не остывшего Илячина и тронулся было с места. Голос Айдарука остановил его:

— Как скачешь, ты уже показал, покажи же гостям, каков ты и в джигитовке. Илячин устал, садись на желтогривого. Заодно полюбуйся и на него.

Каншау передал повод Шабазу и поскакал на Желтогривом через поляну. Жеребец не был знаком Каншау, но, проехав немного, он понял, что конь — из добрых рук, прошел хорошую выучку и, как и в Илячине, в нем есть задор. Может, они братья, Илячин и Желтогривый, подумал Каншау, ну, скажем, троюродные лошадиные братья.

Посреди поляны он остановился и, повернувшись к почетным гостям, поклонился, слегка хлопнул сложенной камчой по шее коня, и Желтогривый, словно вспорхнувшая птица, оторвался от земли... Каншау скакал стоя, на коленях, лежа навзничь, повиснув на шее коня, на скаку пролезал под брюхом, снимал подпругу и переседывал Желтогривого. Гости хлопали в ладоши, кричали, требовали от Каншау все новых и новых упражнений.

Одна лишь Нальбике смотрела молча. Она была счастлива его удачей. Но сейчас, когда под ним был горячий конь, во всем теле играла молодая сила, и он джигитовал,

восхищая весь народ,— она и ругала его, и радовалась, и замирала от страха. Когда же он закручивал совсем уж отчаянную петлю, она закрывалась белой шалью. Малейшая неловкость могла кончиться увечьем или смертью. Ах, не будь она бийче, побежала бы, повисла на удилах, оставила эту опасную игру!

Когда Каншау закончил джигитовку, на середину поляны выехал Мурай. Теперь Нальбике не закрывала лицо шалью, сердце ее успокоилось, и она с удовольствием смотрела на джигитовку Мурая. «Видит бог,— говорила она про себя,— он не хуже Каншау. А может, и искусней его. Но что с того? Мил-то мне Каншау».

Мурай, словно боясь, что Нальбике не увидит всего его мастерства, подъехал поближе, что и говорить, наездник он был отчаянный. С тем же блеском он повторил все, что исполнил Каншау, и даже пошел дальше. Когда он, на полном скаку, держась за луку седла, встал на крупе коня на голову — замерла вся поляна. Мурай проскакал так целый круг и, оттолкнувшись от луки, спрыгнул на землю — и радостный гул пролетел по долине. «Вижу, вижу,— говорила Нальбике,— нет джигита лучше в нашем ушелье, вижу твою доблесть. И нет здесь девушки, которая не влюбилась бы в тебя. А я вот не могу. Я свое сердце отдала другому, кого не променяю на весь остальной мир».

Каншау, давая Желтогривому остыть, тоже смотрел на эту игру. Да, в джигитовке Мурай обошел его, уж здесь-то он взял верх. Но улан-нёгер проделывал все это не для гостей, а ради Нальбике, и Каншау видел ее восторг. «Кто может помешать ему жениться на Нальбике? — подумал он, сразу забыв всю свою радость.— Каждый отдаст свою дочь за такого княжича, даже Айдарук». Каждый раз, когда Мурай подъезжал ближе к Нальбике, Каншау казалось, что сейчас он выхватит ее из толпы и ускачет. Он старался не смотреть туда, но ее белая шаль сама притягивала его взгляд.

Конечно, думал Каншау, сынку бия не надо работать. Пока он, Каншау, рубил дрова и пас чужих овец, Мурай джигитовал, оттачивал каждое движение, каждый взмах руки. Ну и ловкий, конечно, сильный, тут не поспоришь, привык везде и во всем быть первым, и ради этого готов хоть шею себе сломать — особенно сегодня, когда проиграл на скачках.

Белый башлык, положенный победителю в джигитовке, повязали на шею коня Мурая, он проехал круг почета и,

остановившись возле девушек, снял башлык, бросил его Нальбике и ускакал.

На следующий день гостей ожидали новые состязания — стрельба, толкание камней и борьба. Каждый выбирал себе состязание по душе. Нальбике вдруг попросила, чтобы ее тоже допустили к состязаниям по стрельбе. Ее желание вызвало переполох. Не к добру, подумали многие, уж если женщина взялась за ружье — не миновать беды. Другую бы и близко не подпустили, выпроводили тут же, но Нальбике была единственной сестрой жениха, дочерью Айдарука, и все было в ее воле. Зарядили винтовку и дали ей. Она взяла ее и, повернувшись к мишени, опустилась на одно колено. Подняла винтовку. И зрители подивились, как ловко легла ей винтовка в руки. Она же, не обращая внимания на их удивление, закрыла глаз, как учил Каншау, прицелилась и выстрелила. Не смотря — попала или не попала — протянула винтовку, чтобы зарядили снова. И вторым выстрелом она угодила в круг. И опять протянула винтовку — зарядить. «Первая пуля — за Каншау, вторая — за меня, а третья, — загадала она, — пусть будет за всех женщин». И выстрелила. Все три ее пули легли в самый малый круг.

Она заставила говорить о себе и тем отблагодарила Каншау, который научил ее так метко стрелять. Заговорить-то заговорили, но в этих жамауатских пересудах хвалы было мало: стреляла женщина, девушка, еще не вышедшая за порог родительского дома, не испытывавшая чувства мести, что же ждать от нее, когда переступит порог родительского дома, переживет ли нанесенную обиду?

Ерюзбек в тот же вечер объявил сыновьям, что о родстве с Айдаруком он больше и слышать не хочет. Можно считать, что девушка, обнимавшая винтовку, обняла мужчину. И никогда эта девчонка не переступит порог дома Ерюзбековых. «Лучшими женщинами были те, которые умели стрелять», — с каким-то значением сказал на это Заммай. (Сейчас он был на побывке после ранения.) А Мурай вспылил: «Если даже она из этой винтовки прицелится в мой дом, я женюсь на ней!» Отец было прикрикнул на него. Но обычно почтительный Мурай закричал тоже и пригрозил, что, если отец завтра же не пошлет сватов к Айдаруку, он запишется добровольцем и вместе с Заммаем уйдет на фронт.

И на следующий день сваты от Ерюзбека пошли, как говорится, «открыть двери» — пока гости не разъехались,

пока Айдарук был в хорошем расположении духа. Как их принял Айдарук, что ответил — этого не знали. Молчали сваты, молчал Ерюзбек, молчал и Айдарук.

Так что не пустыми оказались страхи Каншау. Он-то не мог послать сватов «открыть двери», не мог просить бия, чтобы он отдал свою дочь за батрака.

И Нальбике испугалась. Прежде она и мысли не допускала, что кто-то может так просто, мимоходом, решить ее судьбу. Но после женитьбы брата и после прихода сватов она поняла, что хоть и своевольна, но в этом деле своей воли у нее нет. Ее добрый, справедливый отец исполнит любую ее прихоть, но если решит выдать ее замуж, то даже спрашивать ее не станет — как не стал спрашивать сына. Поехал, присмотрел невесту и засватал. И Шабатай увидел свою жену только в час брачной постели.

Нальбике почувствовала себя так, будто очутилась в лесу после пожара — ни травинки, ни птицы, ни единого уцелевшего дерева... Она не знала, что ответил отец сватам. Но что он мог ответить? Не такой род Ерюзбековы, чтобы так просто найти причину и отказать им. А она сама? Что скажет, если даже спросят ее согласия? Сказать «нет»? А почему? По какой причине? Сознаться в том, что любит Каншау, — значит, разбить сердце отца и матери. И не жди тогда мира в ауле, ссора с Ерюзбековыми — накладная ссора. Бежать? Но куда? Оскорбленный отец отречется от нее, а взбешенные Ерюзбековы не успокоятся, пока не погубят Каншау.

Порою, устав от этих безысходных дум, Нальбике начала завидовать простым девушкам из аула. «У меня всего много, у них всего мало, но они выходят замуж за тех, кого любят. На работе, на свадьбах, на игрищах знакомятся с парнями, могут узнать их и полюбить. А мы, бийские дочки? Придешь раз в году на свадьбу — по сторонам не смотри, не засмейся, ни с кем не заговори. Увидят, что бийче засмеялась или заговорила с кем-то, осудят тут же, плохо воспитана, того и гляди княжеский дом опозорит. А батрачка всегда хорошо воспитана, что ни сделает, все сойдет».

Пожалуй, Нальбике от жалости к себе преувеличивала. Уж ей-то многое дозволялось, и еще больше она сама позволяла себе. Однако Нальбике прекрасно понимала, что вся эта воля — уже ненадолго.

Свадьба шла к концу. Гости, далекие и близкие, поднав последние тосты, высказав последние пожелания, по-

кидали дом славного князя Бурундуева, и на дворе состоялся прощальный той. Измученная бесконечными думами и недосыпанием, Нальбике стояла среди девушек и не замечала, кто танцует и в честь кого стреляют. Вдруг она услышала имя Каншау. Кто-то вытолкнул его на середину круга и настойчиво просил станцевать. Это был Шабаз. И тут же донесся злой голос:

— Клянусь, этот жалчи Айдарука слегка помешался, ему уже кажется, что он бий!

«Какие злые слова,— подумала Нальбике,— как все же бессердечны наши! Сказать такое человеку в лицо!»

Пока она стояла, пересиливая боль, Каншау, раскинув руки, как крылья, обошел круг, ища себе девушку для танца. С ним пошла бы любая девушка — каждой в удовольствие танцевать с таким джигитом. Нет, она сама станцует с ним — со своим любимым, да не суженым. Может, это единственный танец в их судьбе...

Нальбике, растянув за спиной белую шаль, белым лебедем вплыла в круг. Нет, такого Мурай снести не мог. И без того в эти дни этот жалчи немало досадил Ерюзмековым, теперь же — на что это похоже! — его будущая невеста танцует с ним! Он влетел в круг и начал танцевать, отесняя Каншау от Нальбике. Каншау схватился за кинжал, но друзья Мурая были настороже, они подбежали, крепко взяли его за обе руки и вытащили из круга.

Мурай словно и не заметил этого, а Нальбике не понимала, танцует она или стоит на месте, мысли путались, руки-ноги стали не свои. Она еще не знала, что сейчас делает, но знала, что докажет свою любовь к Каншау и отомстит его обидчику. Люди кричали, палили из ружей в честь бия и бийче, гармонистка заиграла громче, все били в ладоши — и молодые, и старые. А Нальбике ничего не слышала, сбивалась в танце и сбивала Мурая.

«Ты сам хотел этого,— шептала она, пряча лицо под шалью.— Ты этот день запомнишь на всю жизнь, хороший джигит». Она задышалась от радости, она лебедем плыла по кругу. «Отведаешь, каково это — быть опозоренным, отведаешь, хороший джигит». Все больше и больше сходило к народу, громче и громче становилась музыка, гармонистка и тот, кто бил в барабан, уже стояли на ногах; от хлопанья рук и возгласов — карс! карс! карс! карс! — дрожал княжеский двор.

И в самый разгар танца Нальбике, бросив Мурая, ушла из круга!

Люди застыли, не веря своим глазам. Остановилась и музыка — она, казалось, изумленная, так и повисла в воздухе.

Опозоренный Мурай целую минуту неподвижно стоял в середине круга — и уже с этой минуты он был мертв.

«Да, я, дочь Айдарука Нальбике, посреди танца бросила Мурая за то, что он унижил Каншау. Вот он стоит, опозоренный — смотрите!»

Налитыми кровью глазами Мурай обвел всех вокруг, рванулся прочь, прошел, не задев, лес человеческих тел. Пробежав, издалека прыгнул на стоявшего возле ограды коня, упал в седло. Каракочый скакнул несколько раз, словно укусил копытами дорогу, и встал. Мурай выхватил маузер, обернулся и стал искать кого-то в толпе. Но того, кто был нужен, не увидел.

Он вскинул руку с маузером, и железный полумесяц над домом Айдарука рассыпался, осколки покатались по крыше. И еще раз он выстрелил в небо. Большой черный ястреб упал во двор и, раскинув крылья, дергаясь телом, забился на земле. А Мурай — теперь уже тоскливыми глазами — все искал в толпе и опять не нашел. И тогда, круто повернув коня, он понесся прочь. Подстреленный ястреб крутился в пыли, угрожая всем, кто подходил, крыльями и раскрытым клювом.

Шабатай не видел позора Мурая, когда он выбежал на выстрелы, того уже не было. Он быстро понял все, чернея от гнева, схватил Нальбике за волосы и поволок в дом, перетащив через порог, швырнул на пол и стал бить кулаками. Нальбике не кричала, не плакала. Разъяренный Шабатай выломал спинку деревянной кровати и ударил ею сестру. А Нальбике ни о чем не жалела — все-таки отомстила за Каншау, все-таки отомстила! Вдруг она подумала: а ведь и Каншау ждет беда!.. Она пыталась встать, но от сильного удара упала и потеряла сознание.

Все случилось так быстро, что старшины рода и аула, еще остававшиеся на тое, даже прийти в себя не успели. И лишь когда взбешенный Шабатай уволок Нальбике в дом, все засуетились и, кто конный, кто пеший, понеслись вслед за Мураем. Из дома выбежал Шабатай, оттолкнул садившегося на коня гостя, вскочил в седло и тоже поскакал следом.

Скоро он обогнал всех и первым заметил Мурая. Тот стояла на краю скалы, спиной к реке. Шабатай увидел, что Мурай поднес маузер к виску. Конь несся по каменистой

дороге, искорки кремня летели из-под копыт. Но крик Шабатая летел еще быстрее:

— Мурай, не губи себя! Слышишь, Мурай! Не убивай!..

Грянул выстрел. Шабатай соскочил с коня и побежал рядом с разогнавшейся лошастью. Мурай все так же прямо стоял на краю скалы. «Где же это стреляли?» — успел подумать Шабатай. И тут Мурай, все такой же прямой, оторвавшись от скалы, полетел в Юрду.

«Вот и все...» — сказал Шабатай. Когда он подбежал к краю скалы и посмотрел вниз, Мурай, вытянувшись, лежал на воде и слабое здесь, за уступом скалы, течение медленно разворачивало его. В следующий миг сильный, смелый Мурай, не устававший веселиться целыми днями, лучший наездник ущелья, выстрелом рвавший волосинку из конской гривы, словно устыдившись взгляда Шабатая, погрузился в воду и пошел на дно.

Шабатай напрямик, не разбирая дороги, побежал вниз. «Я не мужчина, если не отомщу за твою кровь! Я не мужчина!» — повторял он про себя.

Когда подоспевший Адей спустился к воде, он увидел наполовину втиснутого сильным течением в расщелину Мурая и плачущего над ним Шабатая. Видно, самоубийца хотел, чтобы тела его не нашли, и выбрал место, где река уходит под скалу. Но течение не успело затащить его, и он лежал в прозрачной воде и чистой пене — великолепный джигит, злой и отрешенный в своей тоске от всего земного, однако с ясным выражением исполненного долга на лице — как он его понимал...

С тех самых пор как в Жамауате отыграли языческие торжества и голлу по случаю того, что обзавелись собственным князем, а князь — уже тем самым, что он был — разделил Жамауат на бедных и богатых, на жалчи и хозяев, в долине Юрду никто не кончал самоубийством.

Конечно, люди гибли то и дело. То камнепад, то сход снежных лавин, то паводки — стоило лишь замешкаться, и смерть не упускала своей доли. Самоубийство же каралось богом на том свете и считалось малодушием и слабостью на этом — как ни глянь, невыгодно. Конечно, изредка случалось, что какая-нибудь не сладившая со своей любовью девчонка бросалась в Юрду, но с женщины какой спрос! Так и жили в долине люди, оплакивая каждую смерть ровно столько, сколько слез она заслуживала. В ущельях смерть всегда была неожиданна, как крик филина в ночи.

Дом князей Бурундуевых был неприкосновенен — потому что люди всегда ждали от княжеского дома справедливости, как ждали добра сначала от святого дерева, потом от аллаха. Если же добра и справедливости не было, винить было некого. И князя, и дерево, и самого аллаха они приняли по собственной воле.

И не случилось бы никакого побоища во дворе неприкосновенного дома с двумя полумесяцами (впрочем, теперь уже с одним), если бы вестником горя не оказался Шамуюк. Не зря в Жамауате говорили: не поручай дела глупцу. Истина эта — истина не только для Жамауата. Говорить говорили, но что делать, если дурак зачастую (и не только в Жамауате) оказывался проворнее — пока умные думали, он уже делал. Вот и здесь вперед других поспел Шамуюк.

В Жамауате, как, пожалуй, и во всех достойных селениях мира, цену себе знали и не хуже других сочиняли легенды о своем славном, подчас даже небесном происхождении. Предок же Шамуюка появился на памяти Жамауата. Пятилетним мальчиком его привезли из Сванетии, а к какому он там роду принадлежал — к сванским князьям или к сванским пастухам, — никто не знал, выхватили из ватаги играющих мальчишек — и все, а тогда в горах все мальчишки — и княжата, и пастушата — играли вместе. За похищенным, конечно же, приходили из-за гор, но жамауатчане были лукавы, гостеприимны; устраивали лазутчикам по-жамауатски щедрые застолья, пели о дружбе со сванами, водили захмелевших гостей по склонам Сырбыта, по развалинам старых башен и крепостей, которые, по преданиям, строили сванские каменотесы. Сваны были настоящие горцы, и жамауатчане знали, что делали, когда настойчивый интерес послов к судьбе похищенного мальчика переводили на предания старых времен. Так ни с чем и уходили посланники подоблачной Сванетии. А в Жамауате еще долго вспоминали Бийтугана, семилетнего внука Жандара, который, быть может, нескончаемые годы пас овец в Сванетии, не помня своего рода. А может, стал отличным наездником, воином и прибавил Сванетии славу. Скорее всего, так и случилось, полагали в Жамауате, — уже внук-то Жандара наверняка не сплеховал.

Похищенный мальчик-сван был назван Бийтуганом, этим Жамауат хоть отчасти восстанавливал справедливость. Мальчик рос и через год уже пас овец на склонах Сырбыта. Он хорошо пел. Песни Бийтугана были протяжны, грустны, и жамауатчане опускали головы, слыша в них

плач его матери. Но ведь плакала и мать Бийтугана! Они-то пережили это горе, пусть и сваны переживут. Бийтуган-сван вырос высоким красивым джигитом, и девушки влюбились в него. Что влюбились! — гордый и мужественный чужеземец лишил их белого света, но гордые жамауатовские родители не желали выдавать своих дочерей замуж за безродного красавца. А он все же выкрал девушку, правда, не самую красивую, но самую любимую. Пришлось тогда Жамаату дать ему фамилию. И дали фамилию того, у кого он пас овец, пока не вырос, — им был некий Адамей по прозвищу Аштапар-Обжора из рода Жерчиевых. Так появился новый независимый род в Жамауате. Адамей был человеком достойным, и обжорой он не был, лишь однажды, видимо, проголодался сильно и съел больше положенного, но язвительному Жамаату и того хватило. Издавна здесь считалось, что нет слабости более позорной для мужчины, чем жадность к пище. Самая убийственная песня Жамаута была о пастухе, который съел три лепешки вместо положенной одной, а потом еще пытался скрыть это, — но в долине Юрду ничего не скроешь, особенно если это касается достоинства мужчины.

Отделившись от Адамея, Бийтуган жил своей жизнью. Теперь он не тосковал по своим заоблачным высям, не пел своих гортанных песен, а жена его, оказавшись плодovитой, рожала чуть ли не каждый год. Крепкий, статный Бийтуган потянулся к земле. Дети досыта ели то, что он добывал трудом, а труд съедал его самого. Большое семейство Бийтугана обосновалось в верховьях Кюнлюма своим выселком. И когда новые Жерчиевы стали бурно расселяться, прежние, настоящие Жерчиевы, род древний и достойный, поняли, какую оплошность они совершили: в Жамауате толком и не знали теперь, какой Жерчиев из настоящих, а какой из ненастоящих. Впору было рвать на себе волосы. «Назвать бы их Адамеевыми, уж если так!» — вырывалось порой у настоящего Жерчиева. «Или Аштапаровыми», — подсказывали ехидные жамауатчане. Уже не было в живых ни Адамея с несправедливым прозвищем Аштапар, ни многодетного Бийтугана, выросшего в христианской колыбельке, но схороненного под мусульманским камнем. Старики навечно переселялись на поляну Алау, дети продолжали борьбу с камнем.

Тот, кто оказался вестником горя, был правнуком Бийтугана, теперь уже он носил прозвище Адамея — Аштапар-Обжора. На сей раз кличка была правильная, точно по

мерке. Он был обжорой. Но обжорство его было не в том, что он мог много съесть, а в том, что он мог есть все. Он мог есть траву, корни, зелено-кислые плоды из леса, сладковатую кору ольхи, птицу, сырую или жареную — все равно; баранину, медвежатину, похлебку, сыворотку, требуху... особенно он любил требуху, и, если прислуживал на чьем-нибудь тое, старался не отходить далеко от котла, в котором варилась требуха. Казалось, он никогда не наестся досыта. Все дело было в глазах — жадные, ненасытные, вечно просящие были у него глаза. Он мог держать в руке огромный кусок баранины, есть его так, что по бороде текли жирные мутные струи, а глаза все равно метались по столу, по чужим рукам, по обглоданным костям: они никогда не смотрели прямо, но всегда чего-то искали, чего-то проसили. В свободное от еды время он рассказывал свою родословную легенду, в которой утверждалось высокое княжеское происхождение Жерчиевых, — его род, видите ли, берет свое начало от сванских князей, и вовсе не Жерчиевы они, а Жерчидзе, и это особенно потешало жамаутчан.

Из-за этого «Жерчидзе» Шамуюка, вызвавшегося быть вестником горя, и случилось все. Вместо того чтобы кричать «Погиб!», вместо того чтобы кричать «Беда!», тем самым давая понять, что людям теперь остается лишь горевать, и больше ничего, он по глупости своей скакал по аулу на коне и кричал: «Убили Мурая!» И крик этот вызвал то, что и должен был вызвать, — жажду немедленного мщения. Страшная весть о том, что кто-то убил кого-то, не дала собраться с мыслями людям даже такого аула, как Жамаут, где мужчины, прежде чем и камень-то бросить, мерили расстояние полета и осматривали не только место, куда должен упасть камень, но и воздух, по которому он полетит.

Ерюзмековы схватились за топоры и вилы, челядь их за палки и, поскольку все эти дни Мурай находился в доме Бүрундуевых, бросились именно туда. Прямо в воротах, не разбирая, кто в чем виноват, они набросились на ошеломленных гостей. Прикрывая людей, Шабаз кричал, раскинув руки, выталкивал разъяренную челядь Ерюзмековых назад, в ворота, вырвал у кого-то топор, отшвырнул далеко в сторону. Кто-то выстрелил в него, не попал, к стрелявшему бежал Қаншау, тот стал целиться в него, Шабаз сбил его с ног, тот, падая, успел выстрелить еще раз, и пуля обожгла Шабазу правое предплечье. Шабаз качнулся, по грубой ткани рубашки большим пятном разбежалась кровь, теряя силы, он уже не грудью и широко раскинутыми ру-

ками, а спиной сдерживал толпу. Чьи-то вилы ткнули ему в голову, и он упал. Но люди сбегались уже сюда со всего Жамауата.

А стрелял Заммай, старший сын Ерюзмека. Он не искал тела брата, не пытался узнать, кто отныне их кровник, казалось, не в отместку за смерть брата хотел он пролить чужую кровь, а лишь из азарта, довольный случаем. Он редко появлялся в Жамауате, Ерюзек его не любил, Заммай изводил жадного отца, требовал денег. Ходил он в военной форме, а поскольку в долине Юрду не особенно разбирались в знаках различия, то называли его просто и без лукавства «инарал»; в слове этом было больше почтения, чем в правильном русском «генерал», оно звучало как «бий» или «эфенди». Но в последний его приезд люди заметили на груди Заммая крест, и это привело в уныние почитавших его жамауатчан. Теперь они старались обходить его стороной, потому что, повстречавшись, мусульманин не может не приветствовать мусульманина, а отдавать салам человеку с крестом на груди для правоверной жамауатской совести как-то накладно. Заммай был молчалив и угрюм, лишь изредка беседовал с таубиями, коротал время на охоте, но и там, как было замечено, палил без особой нужды и добычей не интересовался.

Заммай, поднявшись на ноги, поискал маузер, не найдя, выхватил кинжал. Каншау поднял с земли чье-то ружье и ударом приклада снова сбил его с ног. Несколько человек схватили Заммая, коленями придавили к земле, чья-то рука, по случаю, сорвала и отбросила его крест.

Когда Адей прискакал к княжескому дому, толпа заполнила двор. Он спрыгнул с коня и, расталкивая людей, прорвался к крыльцу, где стоял Айдарук. Каншау с ружьем в руках отгонял тех из челяди Ерюзмековых, кто близко подступал к князю. Кровь текла по его распоротой щеке.

— Не зватьсь нам Ерюзмековыми, если не выпьем чашку крови этой бесстыжей! — кричал окруженный родственниками Ерюзек. — Если не убьем жандаровского щенка! Не носить нам шапок!

— Народ! — закричал Адей. — Люди! Опомнитесь! Мало вам смерти Мурая, лучшего джигита в горах! Горе Ерюзмека — наше горе. Но никто в смерти Мурая не виновен! Подумай, Ерюзек, на сколько лет потянется резня? Никто не виновен!

Услышав голос уважаемого в долине человека, люди затихли. Заммай, все еще прижатый к земле, крикнул:

— Я с лица земли сотру твой дом, твой род, князь! Весь твой род не стоил моего брата!

— Слов нет, твой брат был храбрым и сильным, лучшим из лучших,— сказал Адей, подходя к нему.— Но Айдарук чем виноват перед богом и памятью твоего брата? Он чист, как трава...

— Видит бог,— сказал Айдарук, пытаясь выйти вперед, но Каншау не пускал его.— Я больше всех горюю. Все в моем доме уважали его.

— Нет, в твоём доме уважают только одного человека, Айдарук,— сказал Ерюзмек неожиданно тихо, но его услышали все.— Вон ту вшивую собаку, что стоит рядом с тобой. Вы только его уважаете. И ты, и твоя поганая дочь...

— Почему же мне его не уважать, Ерюзмек, он мне не сделал ничего плохого,— ответил Айдарук так же тихо.— Но дело сейчас не в нем. Погиб твой сын, Ерюзмек. О нем подумаем. Видишь, и еще один...— Два работника Айдарука уносили Шабаза в дом.

Но убитый горем Ерюзмек не способен был внять рассудку. Вдруг он растолкал всех и бросился с кинжалом на Каншау. Каншау даже не шевельнулся, только сильнее сжал ружье. Эфенди успел встать между ними.

— Уходи, эфенди,— сказал Ерюзмек.— Ты знаешь, кровь кровью смывается. На нем кровь моего сына.— И, вынув наган, он выстрелил. Но первая пуля расщепила приклад ружья в руках Каншау, а вторая зацепила Шамуюка, который всегда все, даже грызню собак, любил видеть вблизи. Он схватился за руку и, вереща, закрутился на месте, а Каншау от волнения некстати рассмеялся.

— Ты смеешься...— задыхаясь от ярости, крикнул Ерюзмек.— Ты смеешься, скотина...— Но кто-то уже выдернул из его руки наган.

В толпе уже начинали улыбаться, очень уж нелеп был крутящийся, разбрызгивающий кровь с руки Шамуюк. К тому же и получил он, как считали многие, за дело.

— Если мне придется стрелять, я не промахнусь,— сказал Каншау.

— Уходи сейчас же,— сказал Айдарук.— Уходи в дом.

— Мне надоела твоя бесполезная доброта,— крикнула с порога Акбийче, не стыдясь кричать на мужа при людях.— Все равно он от Шабата не уйдет.

— Прочь! — сказал Айдарук жене.— Мало крови на один день в твоём доме!

Каншау отшвырнул ружье, пересек двор, прямо с ограды прыгнул в седло Желтогривого и поскакал...

Вздых прошел по двору. И тут Шамуюк, увидев, что один парень поблизости смотрит на него с усмешкой, взвыл от обиды и окровавленной своей пятерней вlepил прямо в его ухмыляющееся лицо. Тут уж, разве только кроме Ерюзмековых и Бурундуевых, рассмеялись все. Но сразу вспомнили, что со свадьбы им идти на похороны, замолчали, задвигались, засуетились и потянулись от ворот в разные стороны. А все Ерюзмековы пошли на берег Юрду, где под защитой двух своих родственников лежал Мурай, злой и отрешенный от всего земного, с ясным выражением исполненного долга на лице — как он его понимал.

## V. ИНЫЕ ВРЕМЕНА

Вскоре случилось событие, которое заставило забыть даже о погибшем Мурае и кровавом побоище во дворе Айдарука. В Жамауат приехал некий Баттал, назвавшийся правнуком Жашуу — того самого Жашуу, которого сожгли на керагаче. Дурное это было знамение — пострашнее, чем проделки самого Жашуу, задумавшего обучать людей иной грамоте, нежели коран. Мало того, что человек этот не скрывал, что он правнук сожженного Жамауатом отступника, он приехал в аул с русской женой — не побоялся привезти в достойнейшее мусульманское селение женщину другой веры. Оллаха-а, беда, какую не мог сотворить и Жашуу со своими тамгами, входила в ущелье...

Остановился он в доме Жанмирзы. Статный, все еще моложавый Жанмирза на вопросы встревоженных односельчан отвечал улыбкой и довольным взглядом. Среди многих необъяснимых свойств Жандаровых была и эта: нигде они не пропадали. Потому и сравнивали их с ивовым прутиком — срезали его и выбросили, а он и там пустил корни. Случалось, Жандаровы уезжали и на Восток, в поисках благочестия, приживались даже там, на чужой раскаленной земле. Полагали, что и Гитчеулан давно уже покоится в священной земле вблизи могилы пророка. Однако правы оказались те, кто говорил, что Гитчеулан подался к русскому помещику, тому самому, который обучил его старшего сына грамоте и тем самым обрушил беду на его дом. Но говорившие одно и говорившие другое давно уже были

на том свете и, наверное, у самого Гитчеулана узнали, как было на самом деле.

Среди тех книг, которые торжественно сожгли на майдане, была одна, которая казалась нелепей и омерзительней других. Буквы в ней были не такие, как в коране, но главное — в ней был нарисован человек! Вот что ужаснуло Жамауат. Аллах запрещал своим рабам рисовать все, в чем есть душа — человека ли, зверя ли. А в той книге, во всю книжную страницу был портрет человека. По всему видно — не простого. Должно быть, попа, а их жамауатчане презрительно называли бабасами. Этот же бабас, лицо которого смотрело с листа в самом начале большой книги, затаенно улыбался, на нем был серый из грубого сукна бешмет, а борода растекалась по широкой груди. На вопрос, почему этого бабаса поместили в книге, Жашыу отвечал просто и ясно: потому что он написал эту книгу. А о чем говорится в этой книге? В ней говорится, что не солнце крутится вокруг земли, а земля вокруг солнца. Это было такой нелепостью, что поначалу даже святотатством не показалось.

Но когда Жашыу уже висел на керагаче, он говорил сквозь дым: «И Жамауат, и все вы вместе крутитесь, а я снова вернусь к вам и на этом костре сожгу ночь...» Многие забылось в жизни Жамауата, но эти слова помнили и передавали из поколения в поколение. Выходит, Жашыу-то был прав: наверное, земля и впрямь крутится, если к ним опять возвращался тот зловещий день. Сколько лет прошло с тех пор; казалось, все кануло, забылось, род Гитчеулана исчез, развеялся, аллах не допустил, чтобы он чадил в чистейшем воздухе правоверного Жамауата. Ан нет, зло возвращалось злом, ядовитый побег жандаровского дерева вновь источал яд в мирную землю их долины. Впору было подосадовать — как это на золе сожженного безбожника вырос другой, еще опаснее? Тогда они остановили Жашыу, но кто теперь остановит этого?

Конечно же, традиции в Жамауате были еще крепки, вера в аллаха непоколебима, но время было совсем другое, и подпорки керагача порядком подгнили. Вряд ли теперь заставишь кого плюнуть правнуку Жашыу в лицо, а тем более сожжешь его. Ни один мулла не взял на себя смелости сказать первое слово — как же быть с этой новой делу аллаха и пророка Мухаммеда опасностью? А решить надо было скорее, ибо, поселившись в доме Жанмирзы, Батгал быстро осваивался в ауле. Он оказался общитель-

ным, этот похожий на русского Жандар, а может, он и был рожден от русской женщины? Жандаровы молчали, а спросить прямо было неудобно. Он был рыжий, с рыжими усами, носил черную кожаную куртку и картуз, как у тех, кто работает на железной дороге. Баттал был не из стеснительных и, как заметили настороженные старейшины, быстро заводил знакомства; вроде бы не гебсорка<sup>1</sup> из Аварии, а земляки не отрывали от него взгляда.

Впрочем, и земляками их называть было трудно. Те, среди кого он вырос, жили в далекой глухой деревушке Белые Вишняки. О Жамауате он знал лишь по рассказам деда. Так и вырос он в далекой от Жамауата стороне, в русской деревне возле дремучего леса и глубокой реки, где бултыхался малышом, потом выучился плавать, ловил рыбу. Он был заводилой, когда был босоногим мальчишкой, остался им, когда уже вытянулся в крепкого парня. Гитчеулан привез из-за гор жадность к земле, а тут она была так плодородна и щедра, что работающие крестьянские руки в следующее уже поколение вывели их в состоятельных хозяев. Давно уже в деревне Белые Вишняки свои Жандаровы вспомнили об исконном своем столярном и плотницком ремесле.

К тому времени, когда Баттал вырос и стал в ряд со старшими дядьями и их сыновьями, все эти работы в Белых Вишняках и в окрестных хуторах делали Жандаровы.

С годами Баттал становился молчаливым: ему снились горы, горящий керагач тянулся до самых небес и уже весь небосвод пылал красным огнем. Он силился представить себе прадеда; преданья, которые он слышал от старших, были противоречивы, и всякий раз он видел его другим — то высоким стройным юношей, то сильным, кражистым мужчиной.

В доме помещиков Тургановых висел портрет основателя их рода — того, у кого мальчиком жил Жашыу. Помещик был одет просто и вовсе не походил на своих потомков. В доме Жандаровых его почитали наравне с Жандаром и Жашыу. Батталу, когда он перестилал паркет в этом доме, довелось несколько раз видеть этот портрет, и каждый раз он пристально вглядывался, стараясь лучше запомнить. Теперь во сне Жашыу был похож на него. Порою Баттал заговаривал о возвращении в Жамауат, но завет, оставшийся от Гитчеулана, был мудр: Жамауат никогда не простит Жашыу, даже сожженного.

<sup>1</sup> Гебсорка — канатоходец.

Только жизнь могла оказаться мудрее Жандаровых — лишь она могла внести поправки в завет старших, снять запрет. Она и оказалась мудрее. И явила свою мудрость в летний день в облике тонкой белолицей девушки, которая резко изменила судьбу Баттала.

Прежде Баттал никогда не видел ее, хотя знал всех девушек в Белых Вишняхках. Она была такая тонкая, в длинном шелковом платье, так бледна, что среди краснощеких вишняковских крестьянок казалась неземной. Несколько раз заметив, что она вместе с другими девушками идет в лес по грибы, Баттал увязывался за ними и, хотя в доме Баттала грибов не ели, возвращался с полным лукошком. Сильный и рослый джигит, тоже непохожий на здешних ребят, заинтересовал и ее. Белая и бледная, оттого кажущаяся стеснительной, она краснела при виде его.

Звали ее Нина, она училась в городе и жила у тетушки. Нина редко бывала в Белых Вишняхках, в имени своих родителей, помещиков Тургановых, сначала росла в пансионе, потом училась, ездила с тетей за границу. С началом войны они вернулись в Россию, и в это лето она впервые за многие годы приехала в Белые Вишнякаи.

Баттал рассказывал ей о своей родине, о горах, о том, как парни крадут там девушек: наврал, что у него есть конь и бурка, что он может ее украсть, как некогда основатель их рода Жандар украл свою невесту и на лихом коне под буркой увез в горы. Слушая эти речи, она краснела, а оставшись одна, плакала. Когда подошел срок возвращаться в город, она отказалась ехать. Она была дочерью помещика, а помещики, как и князья в горах, также заботились о чистоте крови. Она разрыдалась на груди у матери и призналась в любви к Батталу. Мать отругала ее и пригрозила обо всем рассказать отцу, уж он-то найдет на нее управу. «Да что же, маменька, утоплюсь, и все», — сказала она. Пока мать раздумывала, как поступить с глупой девчонкой, Нина пришла к Батталу и сказала: «Что ж ты, горец, не седлаешь коня?» Он взял ее за руку, и они пошли пешком из Белых Вишняков.

На станции между Ростовом и Армавиром Баттал нянялся железнодорожным рабочим. Появились у них друзья, по вечерам они собирались в комнатухе молодоженов. О чем только не говорили, не спорили! Иногда товарищи приносили книжки, в которых пытались разобраться, и Нина читала, хотя и сама толком не понимала

их — эти горячие, шумные, как завихренные волны, книжечки, до того растрепанные и замусоленные, что порой трудно было разобрать строчки.

Так прошла зима, а к весне участились облавы, исчезли многие из друзей Баттала. Однажды ночью товарищи пришли за ними, и несколько дней Баттал и Нина скрывались в какой-то деревушке, в доме местного писаря, человека веселого и общительного. Баттал удивлялся: немолодой уже человек, находится на государственной службе и все же скрывает, как он говорил, «мятежного рабочего». «Жена у тебя слишком красивая, трудно будет тебе стать тем, кем хочешь», — сказал он как-то Батталу. «Почему?» — спросил Баттал. «Потому что красота женщины — огромное богатство и ты, голубчик, самый настоящий капиталист. А нам, кроме своих цепей, терять нечего. Собственной жизни ты, может, и не пожалеешь, но вот такое богатство потерять...» Баттал покраснел — не от стыда, от удовольствия. «А я вовсе не собираюсь терять. Надо и жизнь сделать достойной этой красоты...» За одну зиму он многое понял и теперь говорил убежденно.

Пришлось уехать и оттуда. И Баттал подумал: «А что, если поехать в Жамауат? Уж там-то ни за что не отыщут». Так решили добраться до Нальчика. Однако в пути случилась эта встреча... Они сидели на разъезде в ожидании какой-нибудь подводки до Нальчика, и на них все время поглядывал мужчина средних лет, в хорошей кавказской одежде, не князь, но, видно, человек состоятельный. Они насторожились: неужели следят? А тот уходил к стоявшей тут же во дворе нагруженной разными тюками и ящиками телеге, думал о чем-то и снова подходил к ним и с каким-то волнением смотрел на Баттала. Когда они уже встревожились не на шутку, тот наконец решился и подошел к ним. Первое же его слово, сказанное по-балкарски, поразило Баттала. «Джигит, ты молод, не стыди, если меня обмануло сердце. Жандаровскую метку вижу в тебе. Из ветки Алимيرзы...» Батталу хотелось крикнуть: да, да, он Жандаров, и прадед его — сожженный на керагаче Жашу, но лишь сказал, что он действительно балкарец, но всю жизнь прожил в Армавире, а теперь с женой едет в Нальчик. Лицо человека разом потухло. Все же они поговорили. Тот сообщил о себе, что зовут его Жанмирза, он сын Заурбека из рода Жандаровых из аула Жамауат и вот по глупости открыл у себя в ауле лавку,

доставляет людям керосин, табак, мануфактуру... Сейчас возвращается из Баку, ездил за кое-каким товаром. В Жамауате, сказал он, Жандаровых теперь осталось немного, а некогда это был могущественный род, основавший в долине Юрду селение. А его он принял за потомка одного из разъехавшихся по свету детей Алимيرзы. Жанмирза помнил и рассказы о Гитчеулане, прах которого, говорят, покоится в священной для мусульман земле. Баттал слушал его, и все больше теснило дыхание, он не выдержал, слезы покатались из глаз, и он бросился в объятия Жанмирзы. Кончилось все тем, что они с Ниной вместо Нальчика отправились в Жамауат.

По дороге они разобрались в родословной, и оказалось, что Жанмирза старше на поколение, выходит — дядя. Жанмирза, веселившийся всю дорогу, однако не забыл обычаев и показал снохе крутость горских адатов. У въезда в Жамауат он остановил телегу, без единого слова снял с головы Нины шляпу и, словно желая посмотреть, как она полетит, кинул в сторону, шляпа пролетела кругом, как кречет, и упала на берег Юрды. Ошеломленная, подавленная Нина робко посмотрела на мужа, но тот и сам растерянно глядел на дядю.

— Не нужни, не пойдет гора, — сказал дядя по-русски. Развязал один из тюков, достал цветастый шелковый платок с длинной золотисто-серой бахромой и накинул на голову невестки. — Так положени гора. Шапка мужчины положена, сноха лица люди нельзя видеть.

Нина впервые за всю дорогу от души рассмеялась. Возможно, решительность дяди не понравилась Батталу, но он помалкивал из почтения.

— Так пойдет, — сказал Жанмирза, трогая лошадь. — Так луди не скажет: Жандар сноха в шапка привозил.

Вместе с пущенной кречетом шляпкой словно бы отлетела назад и осталась у входа в новую страну вся ее прожитая доселе жизнь. Лишь кольнуло в сердце, но боль тут же отпустила, оттого, может, что просто, быстро и решительно сделал это Жанмирза. Потом она еще раз украдкой оглянулась и глазами попрощалась с последней, возможно, в своей жизни шляпкой.

Встречая настороженные, недоверчивые, испуганно-льстивые или хитровато-презрительные взгляды жамауатчан, Баттал не робел, делал вид, что ничего не замечает, держал себя так, словно во всех глазах только одно — радость, что он наконец вернулся. Но это были потомки

тех жамауатчан, которые плевали в лицо его прадеду, конечно же они чувствовали свою связь с ними, это их слюна проступала в их взглядах. Но ведь и Баттал чувствовал такую же связь со своим сожженным предком.

Встревоженные служители мечети настороженно следили за ним. Из них один Адей был зряч. Оттого он посмеивался над ними, он видел, что этим полумуллам-полумусульманам, полуграмотным в исламе людям очень хочется понюхать дым нового костра под керагачем. Но об этом и мечтать было глупо, и ходили муллы угрюмые. Адей читал и другие книги, кроме корана у него в медресе стояли шестьдесят томов тефсира — комментариев к корану, и он пытался втолковать людям, что не вера, а невежество заставило людей сжечь соплеменника. И даже того, что этот Жандаров вернулся с русской женщиной, эфенди не осуждал.

— Вспомните пророка,— говорил Адей.— Он-то не считался с тем, кто из какого народа, отчего же вдруг его правоверные оказались такими привередливыми?

— То пророк... Что дозволено пророку — не позволено простому смертному.

— И пророка в земле похоронили! А покуда жил, одинаково любил всех двенадцать жен!

Тогда и интерес перешел на его жену. В Жамауате очень хотели увидеть ее. Одни говорили, что она красива, да того красива, что, когда она идет, все вокруг озаряется, как под солнцем, другие, наоборот, утверждали, что она некрасива, да того некрасива, что Жандаровы стесняются показать ее людям. Третьи, самые сведущие, сообщали, что русские женщины ничего своими руками не делают, даже нужду свою справляют в доме, а утром выносят ведро во двор. Никто никогда не видел, чтобы жена Баттала выходила из дома, но такое возможно лишь ангелам, людям положено хоть раз в день пройти пешком до домика в огороде. Выходит, Баттал сам по утрам выносит ведро из дома, сомнений нет.

Но шла весна, забот становилось все больше, так что интерес к пришельцам стал убывать.

Но в один прекрасный день жена Баттала, высокая и статная, в длинном строгом платье, в красивом цветастом платке, с коромыслом на плече пошла к роднику за водой. Все женщины и мужчины ближайших улиц высыпали к оврагам и на плоские крыши домов. Нина шла легкой уверенной походкой, с высоко поднятой головой, с при-

ветливой улыбкой на лице, с чувством достоинства; но что больше всего поразило высыпающих на улицу людей — она и не думала, что здесь чужая, нет, она такая же здесь хозяйка, как и любая другая, здесь родившаяся, и она может все делать, и, возможно, еще лучше, и если она не говорит на их языке, так это лишь пока, дайте срок, и она переговорит любую. Въевшись глазами, они смотрели, как осторожно, умеючи, бережно всполоснула она ведра, по два даже раза, как самые лучшие хозяйки в Жамауате, было замечено и то, что, всполоснув, воду она вылила ниже дороги. Только потом набрала воды в оба ведра до краев, зацепила коромыслом и пошла обратно, ни разу не плеснув, с тем же чувством достоинства, с легкой приветливой улыбкой, высоко поднятой головой, легкой, даже, кажется, плавной походкой, в цветастом платке с бахромой, в длинном строгом платье, статная и высокая.

Откуда было знать простодушным жамауатчанам, что их обвели вокруг пальца, что полтора месяца жена Жанмирзы учила ее всему этому: с коромыслом и ведрами проходила русская сноха по комнатам, нагибалась, зачерпывала, всполаскивала и, положив в каждое ведро по ручному жернову, шла обратно.

Теперь ждали, как Жандаровы покажут свою невестку народу? Покуда же этот — и всегда странный — род делал вид, что ничего не случилось и никто не приезжал. В ауле понимали — это не случайно, Жандаровы, как и всегда, задумали что-то свое, жандаровское. Жарнес говорил, что Жандаровы солод поставили, а солод, ясно, просто так не ставят даже они.

Всю зиму в доме Жанмирзы шли споры: как быть с молодыми, как их представить Жамауату? Одни (молодые и Дебош) были за то, чтобы свадьбу сыграть как можно скорее, — кончатся тогда все злоязычные пересуды в ауле, другие (Жанмирза, Коналий, дочери Заурбека и Науруза, их мужья, зятя-кабардинцы Жансуг и Анзор Бирсовы) — чтобы со свадьбой не спешить, невестка пока слаба с дороги, еще не привыкла к людям, к местным обычаям, даже к здешней погоде. Жандаровы своих зятьев Жансуга и Анзора почитали наравне со старшими и поступили по их совету, свадьбу решили сыграть тогда, когда на лице невестки заиграет русский светлый румянец — чтоб весь Жамауат ахнул, а завистливые мужчины были готовы стать не то что правнуком сожженного Жашуу, а хоть

гяуром, хоть камни в гору таскать, лишь бы иметь такую женщину.

К весне лицо Нины действительно засияло румянцем, но и талия стала заметно терять свою былую стройность. Тогда-то Жандаровы и усмехнулись в сторону — ждали румянца, да забыли, что любовь, коль начнет одаривать, так уж одним румянцем не ограничится. И заспешили со свадьбой. Но прежде они послали сноху с коромыслом и ведрами к роднику проторить тропу — а уж как идти, учила жена Жанмирзы. Сначала Нина носила в ведрах жернова, а когда стала носить воду, то первые дни Баттал ходил следом с тряпкой в руках и вытирал лужи с пола, но уж когда она по-настоящему пошла к роднику, Жамауат увидел, на ком женился Жандаров Баттал, чирчик — почка потерянной ветви рода.

По случаю свадьбы были вызваны из Глухого оврага Каншау, из Кабарды зятя Джансуг и Анзор Бирсовы. Сам Жанмирза ходил приглашать князя Айдарука, который пришел на свадьбу с дорогими подарками для невестки, и уважаемых людей аула Бекболата и Адея. Но и не пришедших тоже было много — земля, видно, и впрямь крутилась, и всеми делами ведал на ней не один аллах, коли в Жамауате дошли до того, что в мусульманском доме играют свадьбу с неверной, а за столом сидит эфенди, а князь произносит тосты.

Русская невеста была одета по-горски, с камаром и тьюме — золотым поясом и нагрудником. Она уже не была той бледненькой тоненькой девушкой, которая встретила Батталу в лесу, и под сердцем ее уже шевелился по-жандаровски беспокойный ребенок. Сейчас же в нагруднике, в золотом поясе, в белой шали она ничем не отличалась от горянки, а красотой, по утверждению злоязычников (больше злоязычниц), особенно взбеленившихся по случаю «дурного примера», эта русская, эта рыжеволосая ведьма, в смиренном взгляде которой гнездилась чума, затмила даже «нетронуту пришедших» невесток этого рода. В своем безоглядном поношении Жандаровых они и не замечали, что неким образом сбивают цену самим себе — не из далеких же стран привозили Жандаровы невесток, которых затмила «тронутая».

Нина же была счастлива. Радушие новых родственников, веселая, удалая свадьба с танцами, песнями, играми, каких она даже представить не могла, — все это сняло напряжение с души. Не знающая горских обычаев, того, на-

пример, что невестка не должна разговаривать со старшими родственниками жениха, покуда они сами не заставят заговорить, поднеся подарки по случаю «отмыкания языка», Нина, сама того не ведая, угодила и этому условию: ее никто не понимал, и она никого толком не понимала — и обе стороны остались довольны.

Отыграв щедрую свадьбу, Жандаровы к исходу весны общими силами поставили домик, там, где прежде стояло разрушенное жилище Гитчеулана. В Жамауате давно уже чувствовалась теснота, в иных семьях уже враждовали из-за земли, но усадьба Гитчеулана оставалась пустошью, никто не хотел брать землю, где стоял проклятый аулом дом. Дом разрушался, а огород исходил буйной силой, потому что, не желая занимать это становье дьявола, жамауатчане не стеснялись, однако, загонять туда скот, и земля десятилетиями удобрялась чудодейственной овечьей мочой и пометом кур, которые приходили сюда нестись и покурахтать. И не в пустой дом поселили Жандаровы молодых, обставили как подобает приличному жамауатскому дома. Жанмирза торжественно проводил кунаков, снабдив их всем, что нужно в начале семейной жизни, а там и другие подарили кийизы, кое-что из хозяйственной и домашней утвари, из обстановки и даже корову. Многому предстояло выучиться Нине — ходить по воду было лишь первой хозяйственной заботой, быть может, самой простой.

Она сердцем приняла этот поросший бурьяном двор. И решила, что первую ночь в своем доме она проведет как сама хочет. Под удивленным взглядом Баттала она отнесла постель в недостроенный еще коровник. Дом — это дом везде. А здесь будет проходить большая часть ее дней и трудов, отсюда она свою жизнь и начнет.

Смелость, однажды заставившая Нину послушаться своего сердца, еще только набирала опыта и терпения. Она понимала, что среди крутых нравов и обычаев, если и не чужих, то иных, глядящих на нее по-особому людей она не должна расслабляться ни на минуту, должна всегда носить в своих ведрах жернова. Она не могла забыть, какими взглядами провожали ее в тот день, когда она впервые пошла за водой, — затаенные, порою злобные, они лишали всякой надежды на расслабление, на легкое примирение, на скорое право свободно, наравне с другими черпать воду из родника. Оставалось терпение — тихое, долгое, неозлобленное. Что ж, она выдержит, она все выдержит.

...Корова встала, вода с ее морды капнула на горячее лицо Нины. Но не было никакого страха, словно она родилась и выросла здесь, точно этот жвачный запах коровы — один из запахов ее детства. С морды коровы снова капнула вода, Нина только улыбнулась; и ее она любила, днем, когда рвала для нее траву, она порезала, а потом обожгла крапивой руку, теперь от пореза и крапивного ожога саднило руку под шеей мужа — она удивилась, что и это лишь приятно ей.

Наутро один неуклюже попытался подоить корову, другая так же неуклюже выпальывала траву на огороде, чтобы освободить землю для вскопки. Выходили соседи и, припав к оградке, глядели на их старания. По беспорядочным, вразной, ударам молочных струй по ведру видно было, что Жандаров Баттал никогда не доил корову, а женщина тянула траву, как повздорившие девочки тянут друг друга за волосы.

«Какие нездешние!» — говорили соседи друг другу глазами. Но так же было видно, что эти не сдадутся, что они не отступят, покуда не добьются своего, покуда не станут «здешними».

Вскоре Баттал открыл столярную мастерскую, в шекирды — ученики — взял Жансоха. А кукуруза, картошка и «нездешние грядки» Нины зазеленели и запахи так обильно и разнообразно, что порядком уже грамотные, но еще не научившиеся воровать жамауатчане с трудом удерживались от соблазна залезть в огород Баттала Жандарова. Женщины, самая стойкая часть Жамауата во все времена, по-прежнему не признавали Нину, но краснели помидоры в ее огороде, синели баклажаны, поспевали еще какие-то неведомые женщинам овощи, и мужчины нет-нет да и заводили речь о том, что есть иные женщины, которые... и кто мог подумать, что земля в долине умеет родить столь многообразно... а у других женщин на грядках хорошо вызревает только их женское упрямство. Без всякой надежды смотрели женщины на свои огороды — не видать им здесь ни разноцветного изобилия, не услышать им похвалы своих мужей. И если раньше они косо поглядывали на Нину, то теперь при встрече косили по сторонам, не видит ли кто, и с некоторой уже любезностью принимали ее приветствие.

Приходилось учесть и то, что кроме других столярных поделок Баттал мастерил прекрасные колыбели, а кто же смастерит тебе хорошую колыбель, если ты зверем смот-

ришь на его жену? А после того как Жансох привез целую арбу кизиловой, барбарисовой, грушевой древесины и Баттал, дав ей хорошенько высохнуть, нарезал спиц для гребня, вырезал из груши челнок и поставил резной, с удобным сиденьем тауат<sup>1</sup>, а женщины Жандаровых посадили за него молодую сноху ткать сукна — чувство было такое, будто в заброшенной нечестивой земле Гетчеулана все эти годы было зарыто золото, они же все ходили мимо, давали своей скотине топтать его, а эта чужеземка с чумой в глазах и смирением во взгляде, с неумеющими руками и неговорящим языком, пришла, заняла, присвоила, и спасибо от нее не услышали. Вот и оставалось тряхнуть в отчаянии передником, положить руки запястьями на пояс и смотреть на этот окаянный дом, и слушать, как челнок жандаровской снохи мерно хлопает по мягкой пряже.

Столярная же мастерская Баттала, как и кузница Бекболата, становилась излюбленным местом жамауатских мужчин. Но если возле кузни Бекболата собирались старики, то к Батталу шла молодежь. Баттал рассказывал о России, о революции, а это было очень интересно. Сами Жандаровы, слушая его рассказы, лишь ухмылялись. Баттал никак не мог постичь, что означает эта ухмылка, одобряют его сородичи или вовсе не придают значения его словам, считая все это пустым. Интересно было это и Жамауату. В долине Юрду испокон веков было известно, что Жандаровы разногласий между собой за пределы рода не выносят; никто никогда не слышал, чтобы один Жандаров жаловался на другого, так что и слова Баттала они не могли обсуждать иначе, как внутри своей ограды. Вот и гадали в Жамауате, как же сами Жандаровы принимают то, о чем говорит их сородич.

За те несколько месяцев, которые он прожил на земле отцов, Баттал окреп, его могучие плечи раздались еще больше. Во время празднеств ему не раз советовали испытать силы в борьбе, особенно жамауатчанам хотелось, чтобы он схватился с хуламо-безенгийским богатырем Шабазом, который, излечившись от раны, снова входил в свою могучую силу. Схватись они, может, и не сплеховал бы Баттал; хоть и не воткнул бы соперника по колени в землю, как нарт Сосрук эмегена<sup>2</sup>, но побороть, глядишь,

<sup>1</sup> Тауат — ткацкий станок.

<sup>2</sup> Сосрук — герой нартского эпоса; эмеген — чудовище, постоянный враг нартов.

и сумел бы. Было любопытно и Батталу, мужская жажда первенства толкала его на поединок, но он считал, что такие схватки — дело пустое, людям на потеху, и на уговоры не поддавался.

Темным ярым молчанием был встречен Баттал Ерюзмековыми. Они поняли, что с возвращением грамотного Баттала род Жандаровых стал сильнее, и рассчитывать на то, чтобы убить Каншау и остаться безнаказанным, теперь не приходится. Ерюзмековы молчали, но Жамауат видел, что в глубине этого темного молчания горела мсть дому Коналия, хоть и не Каншау убил Мурая, а собственная его гордыня. Конечно, не потому белый свет казался Ерюзмековым багровым закатом, что они не могли убить Каншау где-нибудь в Глухом овраге, на пустынном ли выпасе, ночью ли у загона, да где угодно — Ерюзмековы нашли бы место и убили. Но уйти, как ушли однажды, наверное бы, не удалось. Иное теперь время в Жамауате, резко разделило людей, поставило друг против друга — и стоит в день похорон кому-нибудь, хотя бы Бекболату, посмотреть Ерюзмеку в глаза — большего и не нужно. Не выдержит испуганный Ерюзбек его взгляда, опустит глаза, и кузнец тут же потребует отмщения невинной крови. И ответной мести долго ждать не придется. Вот что сдерживало затаивших ненависть Ерюзмековых оттого и кусали они губы в бессильном гневе. Они понимали, что, не убрав Баттала, они не могут расправиться с Каншау.

Однажды Ерюзбек все же решился и позвал к себе Шамуюка.

Шамуюк уже был у него прошлой осенью. Через месяц после побоища во дворе Айдарука Шамуюк пришел требовать платы за кровь — за простреленную руку. Ему дали барана, которого Шамуюк зарезал в тот же вечер. Теперь в Жамауате говорили, что за кровь Шамуюка вместо самих Ерюзмековых кровью расплатился баран из Ерюзмековых. Еще говорили: страшно расправился со своим кровником Шамуюк — он съел его!

Теперь старшина обещал ему сразу двух быков. Если же дело раскроется и Шамуюк встанет перед необходимостью заплатить за кровь, Ерюзбек возьмет все расходы на себя — даже волос не упадет с достойной Шамуюковой головы. А быки все равно его. Заманчиво было это нищему Шамуюку, самому бедному человеку в Жамауате. Всего один выстрел — и он хозяин двух здоровых быков.

А этого Баттала он даже толком не знает. И Шамуюк согласился на двух быков.

Но пока нерасторопный, бестолковый Шамуюк ходил с ружьем под шубой и мечтал о двух быках, в России убрали царя, а столярная мастерская Баттала стала для молодежи все равно что новая мечеть. Струсил Ерюзбек и обратно забрал у Шамуюка ружье, а вместе с ружьем, получается, и двух быков.

Слухи же шли один хуже другого. Видно, державные цепи у царя проржавели насквозь. Вслед за царем бежали его генералы, государство расползлось. События уже выплескивались за пределы русских земель, низинный устойчивый туман, гонимый степными ветрами, уже забивал горные ущелья. И в непроглядном этом тумане Ерюзбековым уже нужно было думать не о кровной мести, а о том, как бы уцелеть самим. Уже ни горские обычаи, ни вера, ни племенное родство не в силах были удержать народ. Если такие язычники, как Баттал, возмущают народ, сеют раздоры — пусть же тогда меч занесется над их головами! Воистину: кто делает добро безродному, тот шьет чабуры для собаки. Собака тут же сожрет чабуры, а безродный обернет добро в зло.

В таких раздумьях жил Ерюзбек той весной. Он не выходил к людям, и люди редко приходили в его дом. Всеми делами теперь заправлял Заммай. В том побоище в Айдаруковом дворе ему повредили коленную чашечку, хромота не проходила, он ездил в Пятигорск и вернулся оттуда уже уволенным в отставку. Несчастья последних двух лет вконец ожесточили Ерюзбека, он был готов пожертвовать своим нелюбимым старшим сыном, лишь бы отомстить за младшего, любимого. Погибнет Заммай от рук Жандаровых — уже своей смертью даст ему повод открыто расправиться с ними; останется в живых, но при этом подтолкнет проклятый род на преступление — и тут он, Ерюзбек, будет в выигрыше.

— Разве в тебе княжеская кровь? — сказал он однажды Заммаю. — Лучше бы твоя мать родила осла. Кровь твоего брата до сих пор не отомщена, а у тебя и кусок в горле не встанет.

— А что ты предлагаешь, Ерюзбек? — спросил Заммай. Он называл отца по имени. — Скажи, а то я разучился понимать ваши горские иносказания. Убить кого-то из Жандаровых? Я могу. Ты знаешь. Сам меня в четырнадцать лет... В этом доме убить легче, чем барана зарезать.

— Почему же убивать,— помолчав, сказал Ерюзмек.— Не так просто. И даже опасно. А другого сына у меня нет, остался с одним ослом.

— Что же тогда?

— Отец твой — князь, Заммай, хоть ты его и презираешь. Но каратабаны меня как князя почитать обязаны. Однако вот перестали. Весенняя пахота в разгаре, а сабан-сыя<sup>1</sup> все нет,— никто не вспомнил извечного обычая. Я что, я свое прожил, я о тебе думаю. В твоих силах наказать Науруза, как они наказали твой дом. Каншау в горах на выигранном коне гарцует, а Мурай в холодной земле лежит... Ты разве человек! — князь Ерюзмек заплакал.

Заммай встал и вышел из дома. Когда он вернулся, Ерюзмек точил свой кинжал.

— Нет теперь чести в молодых. Но я-то еще ношу шапку и не уйду из жизни, не отомстив за сына.

— Ладно, ладно! — закричал Заммай.— У меня три патрона, могу троих отправить к Мураю.

— Иди же! — крикнул отец. Брусок сорвался с лезвия и в кровь расцарапал ему руку.— Не стой здесь, не я убил твоего брата. Поди убей, избеи, быков отними, наконец!

«Убей, избеи, отними быков». Заммай решил, что угонит быков Коналия и того, кто придет за ними первым,— убьет.

От скуки и озлобления он был готов затеять любую игру. Он выследил быков Коналия на пашне, загнал их в ерюзмековские халжары и стал ждать.

Впервые в аул после смерти Мурая Каншау вернулся на свадьбу Баттала. И с тех пор, хоть он и стеснялся женатого сородича, его все время тянуло к нему. На свадьбе, когда Каншау станцевал на носках, Баттал обнял его. Каншау смутился, но почувствовал тепло братского объятия. При встречах Баттал коротко спрашивал: «Как дела?», «Не обижает ли князь?», «Как живется в коше?» И Каншау так же коротко отвечал: «Хорошо», «Нет», «Живем помаленьку», но каждый раз, спустившись с гор и побывав дома, он шел в столярную мастерскую. Жансох обнимал брата, радуясь его приходу, и, если видел его грустным, ухмылялся и подмигивал Батталу.

Каншау хорошо понимал, почему его так тянет к Бат-

---

<sup>1</sup> Сабан-сыя — подарок, подношение князю, «отцу аула», в честь выхода на пахоту.

талу, и ждал удобного часа, чтобы открыться ему. Но этот час все не наступал, то кто-то заглядывал мимоходом и усаживался надолго, то Баттал с Жансохом слишком были заняты делом. Все сильнее становилось желание узнать мнение Баттала, уж он-то непременно найдет выход, что-нибудь да придумает. Ведь только недавно Баттал сам был в его положении, однако все у него получилось просто и легко. Неужели ему, Каншау, не по силам такое же? Встречая Нину, он украдкой поглядывал на нее, сравнивал с Нальбике, потом в бессонные ночи в Глухом овраге задавал себе один и тот же вопрос: «Сумела же Нина, неужели не сможет и Нальбике?»

В ту ночь он не сомкнул глаз. Глухой овраг давил извечным своим покоем. Весь мир незыблем и недвижим. Но вдруг почудилось ему в эту ночь, что оборвалось где-то что-то, подломилась подпорка мира — все пошло креном; и дом под скалой, и капель в нише скалы, и ступеньки, ведущие к реке, — все сдвинулось с места, и только крик матери еще удерживает на месте этот скосившийся, готовый рухнуть мир. Рано утром он объявил Карче, что едет домой, и, не обращая внимания на его недовольство, оседлал Желтогривого и поехал в Жамауат.

Он приехал в аул и никого не застал дома. Жансох, конечно, в мастерской. А где же отец? Где мать, где Рамазан? Он вышел со двора, ведя Желтогривого в поводу. Соседские мальчишки, радостно блестя глазами, сообщили ему:

— А Қоналий пошел драться с Ерюзмековыми!

— Как? Зачем?

— Не знает еще! — Они живо переглянулись. — Они же ваших быков отняли.

— Отняли быков? — не поверил Каншау. — За что?

— За что, за что! — загалдели мальчишки. — Захотели отнять и отняли. Надо было преподнести ему сабан-сый. Все так говорят. А тут ваши быки на ерюзмековскую пахоту залезли.

Дальше Каншау не стал слушать, почуяв беду, поспешил на помощь отцу. Он подъехал к дому Ерюзмека, но никого, кроме женщин, там не нашел. Соседи сказали, что ничего не видели, Қоналия здесь не было. Каншау решил, что мальчишки посмеялись над ним, и повернул коня назад. «К Батталу!» — решил он. Если Жансох там — он все знает.

— Ассалом алейкум, Баттал, да будет доброй твоя ра-

бота,— приветствовал его Қаншау, издали спешившись с коня.

— На тебе лица нет, Қаншау,— сказал Баттал.— Что случилось?

— Приехал посмотреть, как живут старики, а тут вести недобрые, если поверить мальчишкам.

— Что такое? — Баттал насторожился.

— Опять Ерюзмековы. Ты же знаешь, что у нас с ними. Теперь они не отстанут.

— Да ты скажи, в чем дело!

— Отцовских быков угнали. Ерюзбек что-то затеял.

— Нет, так дело не пойдет,— очень серьезно ответил Баттал и вонзил топор в бревно.— Пошли поглядим, что там.

— Я был у них дома, никого нет.

— Что дома? Быков домой не загоняют.

Поднявшись на холм, они увидели внизу халжары Ерюзмековых. Быки томились за загородкой, а людей видно не было.

— Ты побудь здесь, Баттал, я пойду один.

Қаншау на рысце подъехал к халжару, когда из-за угла вышел Заммай. Сначала Қаншау не заметил маузера в его руке, но и заметив, как-то не осознал этого и продолжал ехать. Уже сойдясь, он отдал салам и лишь тогда увидел, что Заммай поднимает маузер, и понял, что, видать, не за быками он ехал сюда... Он перебросил ногу через круп коня и прыгнул на землю, встал прямо перед Заммаем. Это была долгая минута, когда двое мужчин — один пожелавший убить, другой пожелавший вернуть свое добро — смотрели друг на друга. В их упорных, проникающих до самой души взглядах было нечто большее, чем смерть, или простая жажда справедливости. Кажется, первым это почувствовал тот, который намеревался убить, он понял и теперь не знал, как быть; а тот, что пришел за справедливостью, еще не знал, что творится в душе другого, и ждал выстрела. Они стояли у перекладин ворот, враги не враги, потому что каждый из них попал сюда не своей волей.

Оттого Заммай не выстрелил сразу, что меньше всего ждал Қаншау, он думал, что за быками явится сам Қоналий или Жансох. А тут ехал Қаншау, пастух, которого любила дочь Айдарука. Ради этой женщины Заммай сам бы убил своего брата! За что же она, это удивительное существо, полюбила этого босяка? Заммай не смог совла-

дать со своим любопытством. Ему хотелось, прежде чем выстрелит, посмотреть на него вблизи, еще живого. Теперь появилось это — что было выше зависти и мести. Вдруг Заммай, не отрывая от него взгляда, стал чесать спину о косяк ворот. Потом перестал чесаться и посмотрел на него с каким-то странным выражением — то ли подавленной ярости, то ли сознания своей вины и своего поражения. Қаншау понял, что сын Ерюзмекова не выстрелит, и постарался сказать спокойно:

— Я пришел за быками, Заммай. Если они нанесли ущерб...

— Я пожалел тебя, сын Қоналия. На этот раз пожалел. Ты погубил моего брата...

— Нашей вины в гибели Мурая нет, и вы, Ерюзмековы, это знаете. Будь вы в ладу с честью, вы бы сами сказали, что это Мурай оскорбил меня. Я бы не простил ему, но он сам решил дело — вот правда. А что ты меня пожалел... Я думаю, ты себя пожалел. Открой ворота, ты человек вольный, а у меня времени мало, я пастух.

Под темным навесом бровей Заммая сверкнул злобный огонек — такой дерзости от помилованного им человека он не ожидал. Қаншау начал снимать перекладыны ворот, Заммай отошел в сторону и, глядя, как он спокойно снимает перекладыны, рассмеялся, словно хотел своим смехом вызвать в нем злость. Но смешок вырвался натушный, с пузырьками слюны и с привистом (не хватало двух нижних левых зубов, тоже вместе с крестом оставил в подарок айдаруковскому двору) — за такой смех можно было пожалеть его самого. Қаншау и пожалел. Он выгнал быков и, вскочив на коня, сказал с участием:

— Не огорчайся, Заммай, подумаешь, два зуба потерял. Еще вырастут, в твои-то годы...

И Заммай выстрелил. Пуля прошла под самой шеей коня, Желтогривый с ржанием взвился на дыбы, Қаншау еле удержался в седле. Ко второму выстрелу лошадь уже отнесла его в сторону. Руки ли у Заммая дрожали, нетвердо ли стоял на ногах — вторая пуля тоже пролетела мимо. Қаншау хотел было конем смять Заммая, но, заворачивая жеребца, увидел на крутом спуске к халжарам отца и Ерюзмека. Князь сидел верхом на лошади с занесенной нагайкой в руке. Должно быть, звук выстрела остановил его. «Твое счастье, если не успеешь ударить, — думал Қаншау, ударив лошадь пятками. — Но если ударишь...

если ударишь...» Рука старшины так и висела в воздухе, — видеть, он тоже увидел скачущего к ним человека.

— Что, князь... ты поймал моего отца в своем сарае? — сказал Каншау, осаживая лошадь. — Что, он воровал у тебя?

— Выходишь плохую скотину — губы твои будут в масле, — опустив нагайку, медленно сказал Ерюзек, — выходишь дурного человека — губы твои будут в крови.

— Верные слова, — сказал подоспевший Баттал. Он видел все с холма и бросился сюда после первого выстрела. Бежать по пахоте было трудно, и он говорил задыхаясь. — Только вот надо разобраться, кто кого выхаживал?

Ерюзек с ненавистью оглядел троих Жандаровых, потом перевел взгляд на стоящего возле халжара сына, будто взвешивая силы. Взвесил и рассмеялся коротко:

— Что вы, мужи Жандаровых, шуток уже не понимаете? С чего бы мы стали отнимать ваших быков?

Они — двое верхом и двое пешком — пошли к халжару.

Заммай так и не сошел с места, стоял. Широко расставив ноги, в расстегнутом кителе, обеими руками сжимая свой маузер, он окинул всех таким взглядом, словно прикидывал, в кого пустить последнюю пулю — в кого-нибудь из Жандаровых или в Ерюзема.

— Нехорошая эта шутка, князь, — сказал Каншау. — Твое счастье, что не ударил отца. Уж я бы не промахнулся, как твой сын!

— Ай, собачий сын, как у тебя язык поворачивается так говорить со мной! — взвился Ерюзек. — Если бы даже князь ударил твоего отца, ровесника своего, что тут такого? Пока еще никто не отменял право князей наказывать непослушных.

Баттал шагнул вперед.

— Так не будет, Ерюзек. Не смей оскорблять ни дядю, ни кого другого. А если поднимешь руку...

— Угроза?

— Стало быть, угроза.

— Вот ка-ак! — протянул Ерюзек и с каким-то даже удивлением посмотрел на сына. Каншау заметил, как у бия задрожала борода. Все так же удивленно смотря по сторонам, бий перекидывал камчу из руки в руку, вдруг он встал в седле — и камча со свистом врезалась в лицо Баттала. Баттал зажал лицо ладонями, но тут же отнял их. Поперек щеки легла кровавая полоса. Довольный, что

наказал наглеца, Ерюзбек, повернул коня и, собираясь уезжать, сказал:

— Можете забрать своих быков.

Баттал шагнул к нему, взял коня за повод и завернул к себе.

— Слезай!

Старшина попытался оттолкнуть его ногой, но Баттал даже не шелохнулся. Он ухватил в свою большую ладонь руку Ерюзбека вместе с его камчой и сжал с такой силой, что Ерюзбек, побелев от боли, сполз с седла. Каншау стоял как вкопанный. Он понимал, что не может остановить Баттала, только надеялся, что вмешается отец. Но и тот стоял молча и смотрел, как все сильнее сжимал Баттал кисть бия. На открытом спокойном лице Баттала не было ничего мстительного, злой была лишь полоса от плети. Бий вскрикнул, Баттал раздавил ему кисть.

Смотрел и Заммай, все так же держа маузер обеими руками. И чем сильнее бледнел отец, тем белее становился он. Когда же отец закричал, он сунул маузер в кобуру и прислонился спиной к косяку ворот — вот-вот почешется, и теперь уже спокойно смотрел на позор отца.

Пока Заммай держал в руках маузер, Каншау был на чеку — и даже не мог дышать от изумления: чтобы сын терпел такое, пусть даже ненавидя отца!

Баттал помог Ерюзбеку взобраться на коня, заткнул камчу ему под луку седла, и бий, разом лишившись речи и напыщенного достоинства, с раздавленной кистью уехал.

Трое оставшихся подавленно молчали. Когда и как исчез Заммай, они не заметили. Қоналий чувствовал себя виноватым. Если что случится теперь с Батталом, а случится обязательно, то беду эту накликал он. Таковую беду, что станет дороже этих двух быков. Он готов был хоть сейчас же отвести их во двор бия Ерюзбековых — лишь бы он простил Баттала. Но Ерюзбек не простит. Его кисть — еще один узелок в счетах князей с карахалком. И теперь, потеряв всякую надежду унять карахалк, они во главе с Ерюзбеком пойдут на все, лишь бы постелить зарвавшимся беднякам постель из камня...

— Бежать тебе надо, — сказал Қоналий. — Спрячь голову где-нибудь, пока все забудется.

— Куда бежать? — Баттал глянул на него и скупой улыбнулся. Потом взял у Каншау коня, подвел к дяде. — Садись, аксакал, гони своих волов верхом. А нам с Каншау надо поговорить.

Коналий встревожился. О чем еще говорить? И так от столярной мастерской искры на весь аул разлетаются, и, наслушавшись батталовских речей, молодежь ходит словно пьяная. Старик не хотелось после такой стычки оставлять сына с Батталом, хотя он и был, без сомнения, заступником всему роду в это смутное время. Но он ничего не сказал, тяжело сел на коня и погнал волов домой, то и дело беспокойно оглядываясь назад.

Братья молча проводили взглядом старика и пошли вверх по холму. Баттал шел, сощутив глаза, и сосредоточенно грыз соломинку, будто советовался с ней. Перед глазами Каншау все еще стоял Заммай, жадно глядящий на боль отца.

Поднявшись на вершину, Баттал растянулся на траве. Каншау сел рядом, сцепив руки на коленях.

— Нет! — сказал Баттал, всматриваясь в далекое синее небо. — Не бежать надо, а бороться. Сейчас биям не до ополоумевшего старшины — нашел время быков угонять! У каждого своих забот хватает.

Каншау задумался. На уме у него было одно — как быть с Нальбике? И не знал, не ведал, какие потрясения ждут его, что перемены несутся, как горный поток, выходящий из своих вековых берегов. И поток этот захлестывал все сильнее, втягивал в себя, в свою ярость, в свое необузданное течение все больше и больше людей. Теперь же после этой стычки, после слов Баттала он увидел, что бешеный поток подхлынул и к нему, вот-вот захватит и понесет. Но к борьбе, о которой говорил Баттал, он готов не был.

— Мира уже не будет, — сказал Баттал. — Близится буря, и она снесет в горах все межи, и все для того, чтобы скорей настало время, когда все люди будут вдоволь есть, хорошо одеваться и даже учиться — кто сколько захочет. В Петрограде, ты знаешь, скинули царя. Теперь нужно скинуть тамошних Ерюзмековых. Пролетариат борется за это. А во главе — Ленин.

— А где этот Петроград? — спросил Каншау.

— Там... — Баттал взглядом показал на север. — Самый главный в России город.

— А эти, что победили?

— Про-ле-та-ри-ат. Это люди, у кого ничего нет. Вроде нас с тобой.

— А разве у нас ничего нет? — удивился Каншау.

— А что есть?

— У каждого горца есть хотя бы пара быков.

— Которых любой старшина может запереть в свой халжар? А чью землю пашут на этих быках? Ты чей скот пасешь? И почему Ерюзмек смеет поднять руку на твоего отца?

Каншау надолго замолчал.

— А этот, Лейлин? — наконец спросил он.

— Он знает, как всем бедным стать свободными, а потом и богатыми. Он поможет нам.

— Он нас не знает.

— Знает. Таких, как мы с тобой, — вся земля. — Баттал сел и тоже сцепил руки на коленях. — Нет, дальше так жить нельзя. Посмотри вниз. Вот наша родина. Понимаешь, что такое родная земля? А сейчас? Земля раздрана на куски, князья и богатые всю между собой разделили, как шкуру вола на чабуры. И еще недовольны: одному, видите ли, спинная часть досталась, другому паховая — оттого и грызутся между собой. А ведь она вся вместе — наша родная земля! А разделена земля — разделен народ. И силы его разорваны, потому даже имени у нас нет. Сколько я ездил, нигде не говорят о балкарцах. А все — баксанцы, чегемцы, словно племена какие-то, словно и народа такого нет. Но вот пришел человек и сказал: так жить нельзя. Народ должен быть народом, и все должны быть свободными. Народ только тогда народ, когда все-все в нем свободны и равны.

— Так никогда не будет! — с болью сказал Каншау. — Даже как-то говорить непривычно «все люди равны», — и он подумал о Нальбике. Тогда бы ничто не помешало ему быть счастливым с ней. Но это — сказки, сказки слушают с вечера, а жить начинают с утра. — Так только в сказках бывает, — сказал он вслух. — Приводят бедного пастуха к царю, тот испытывает его на сметку и отвагу. Выдержал пастух все испытания — получай целое ханство!

— И у нас будет свое ханство. Ханом своей земли станет народ. Ленин вернет нам родину, отнимет ее у князей. А насчет сметки и отваги ты прав, без них нам никто ничего не даст.

— А найдется ли у Лейлина столько свобод и столько ханства? — сказал Каншау. — Сам говоришь: таких, как мы, — вся земля. — Они помолчали, и Каншау сказал с глубокой тоской, прощаясь со своей мечтой о равенстве: — Давай, брат, думать, как тебя спасти. Это дело. А что ты говоришь — это сказки. И станешь ты свободным или не

станешь — имя твоего рода не изменится. Ты азат — независимый, и останешься независимым.

Он встал. Встал и Баттал.

— Очень скоро ты все сам поймешь. Уговаривать не стану, да и смысла нет — сейчас каждый сам выбирает себе дорогу. Я свою уже выбрал. Надумаешь быть вместе со всеми, значит, и дороги наши сойдутся.

— Мне еще два года работать у Айдарука, — сказал Каншау.

Баттал на это ничего не сказал. Они молча спустились до подножия холма и разошлись в разные стороны.

## VI. РАСПУТЬЕ

Не было мира и в Глухом овраге. Еще прошлой осенью, когда Каншау на коне вернулся в кош с несчастливой свадьбы Шабатая, Карча встретил его неприветливо. Не спросил даже, как прошла свадьба и откуда такой конь. Угрюмый, как небо перед дождем, он побрел к стаду. Каншау сказал ему вслед, что сменит его, пусть Карча отдохнет, пусть поедет куда-нибудь.

— Скоро оставлю тебе все стадо, — ответил на это Карча, — получишь насовсем. Отблагодаришь Айдарука за то, что пригласил на свадьбу.

Враждебность Карчи не утихала. Пытаясь как-то смягчить его, хоть как-то утешить, Каншау однажды вечером заговорил с ним в коше:

— Мы люди, Карча. Я знаю, тебе трудней, чем мне, и я готов... Мы род человеческий...

— Да пусть он в огне сгорит, твой род человеческий! — гневно перебил его Карча. — Волчьей добычей станет! Что я от него видел?

Он даже разговаривать спокойно, по-человечески не мог. Злое упрямое лицо осунулось еще больше, обросло редкой полуседой-полурыжей щетиной; даже нос его, острый, изогнутый, как клюв грифа, красный от простуды, был злобен; а когда заговаривал, его зрачки, блестящие как льдинки в текучей воде, застывали и напрягались — сейчас выстрелят. Карча сжимался в темный опасный комок, дышал натужно, со свистом, но в складках щек под жидкой бородкой лежала упрямая уверенность — во всем,

что ему пришлось пережить в Глухом овраге, в том, что в старости он остался одиноким, брошенным, никому не нужным, виноваты и Айдарук, скот которого он оберегал дни и ночи, и Қаншау, счастье и удачу которого он сносил, и собаки, вместе с которыми терпел холод и зной, делил эту недвижимую, стоялую, пропахшую недогрызенной зачервивевшей костью жизнь Сангырау-кола — Глухого оврага. Род человеческий! Да он, этот род человеческий, всегда, неизменно, неиссякаемо равнодушный к боли своих детей, давно отделил его от плоти своей, отрезал, как гниющий нарост, отбросил дальше, в глушь этого ущелья, который и зовется-то — Сангырау, отбросил и никогда больше не поинтересовался: как он там, что с ним; мул понукаемый, пес, приставленный лаять у порога, бык выхолощенный, загнанный под ярмо на веки веков, — что он должен был чувствовать к роду человеческому? Верно сказал: пусть он сгорит в огне, волчьей добычей станет!

А тут еще Айдарук, которому он на совесть, верой и правдой служил столько лет, аллах свидетель, и безотказным волком, и верным псом умножал и охранял его богатство, в час своего торжества вспомнил не его, старого Қарчу, а этого недоумка, за что, за какие заслуги?! Конечно, обижаться — вот, дескать, таубий не пригласил своего батрака на свадьбу — глупо и бессмысленно. Но ведь пригласил же он Қаншау!

Қарче было невдомек, что кроме воловьего усердия и ослиной невзыскательности надо еще иметь за душою слово, чтобы вовремя сказать его, мужество, чтобы его проявить. И потому никакого превосходства Қаншау над собой не находил. Правда, он покрасивей будет и соображает быстрее. Но ведь жизнь не на этих свойствах строится. А то многое, чем владеет он, Қарча, люди почему-то упорно не замечают. И он стал негодовать на людей. Но все-таки больше всего он злился на Қаншау, который приехал в кош беспомощным сопляком, жил рядом с ним, перенял у него все пастушьи навыки, и теперь на свадьбы зовут его, а не Қарчу, у которого он всему этому выучился.

Вернувшись на Желтогривом, Қаншау нанес ему еще одну обиду. «Ушел пешком, а вернулся на коне, — думал Қарча, изнывая от зависти. — Ушел пешком, а вернулся на коне...»

Он словно даже помолодел от этой зависти. Бессонница, которой он в жизни не знал, вдруг навалилась на него,

и долгими ночами в своих думах он становился Қаншау, носил его одежду, его имя, думал его думы. Қарча узнал, что стряслось на свадьбе, и потому, становясь Қаншау, он обнимал Нальбике, ощущал ее тепло, ее ласки, ее дыхание. Проходила ночь, наступал день, он снова становился Қарчой и томился в самом себе, как в темнице, белый свет он видел только ночью, в мечтах.

В один из таких черных дней он твердо решил уйти от Айдарука. За пятнадцать лет своей службы он должен был получить не один десяток овец. Так почему не уйти сейчас же и не поставить где-нибудь свой кош? С его трудолюбием и бережливостью он в несколько лет догонит в богатстве самого Айдарука. Вот когда все заговорят о Қарче! А такие, как Қаншау, пойдут к нему батрачить. Или взять деньгами? Плюнуть на все, жениться и жить остаток дней в довольстве и покое?

Он решил уйти, хотя до свадьбы Шабатая подумывал остаться у Айдарука еще на пять лет. Удерживало одно: он все никак не мог решить, чем взять расчет, баранами или деньгами? Две вещи хотелось Қарче в своей старости — покоя и власти. Деньги сулили покой, бараны — власть. Если возьмет деньгами, то женится. Не будет больше дни и ночи бегать за стадом. Будет сидеть дома, а жена днем будет работать на него, ночью ласкать. Но тогда о том, чтобы преумножить стадо, разбогатеть и стать первым человеком в долине, придется забыть. А хочешь власти — забудь о покое.

Но шла война, и деньги дешевели день ото дня, прямо в руках прели. Қарча решил: баранами! Но пока он раздумывал, стали говорить (теперь он ездил в аул при каждом удобном случае), что скинули царя, и те, у кого много земли и скота, стали бояться за свою землю и свой скот. И опять Қарча заплясал на месте, не зная, как быть, куда ступить.

Дней через десять в кош приехал Айдарук. Он был приветлив, привез чабанам гостинцев, но и в глазах, и в движениях его была какая-то растерянность. «Тяжело у него на сердце, — подумал Қаншау. — Может, что-то неладное у него в доме?» Он хотел спросить о Нальбике, но не посмел.

Однако неладно оказалось в его собственном доме.

— Говорят, Қоналий приболел, — сказал Айдарук. — Выбери барашка пожирней и поезжай, навести его. Эх-хе-хе, разве вы, молодые, понимаете, что такое отец!

— Что-то случилось? — сказал Қаншау. — Могу ли я узнать, что мучает тебя?

— Так... неважно себя чувствую.

Да, неладное что-то в доме Айдарука. Он уже решился было спросить о Нальбике и опять не посмел.

Они стали собираться в дорогу. Подошел хмурый Қарча.

— Срок мой истек, бий, — сказал он, не поднимая головы. — Если тебе не трудно, отсчитай мне положенных овец и отпусти.

— Знаю, Қарча, — кивнул Айдарук. — Вот вернется Қаншау, и я сразу отпущу тебя. — А про себя подумал: «Вот и этому захотелось стать бием».

Қарча не осмелился возразить ему, но недовольства своего не скрыл. В коше был освежеванный ягненок. Қаншау положил его в мешок и приторочил к седлу Желтогривого. По дороге Айдарук рассказал, что сейчас происходит в ущельях Балкарии.

— Ты постарайся объяснить своему родичу Батталу, — говорил он, — что все мы созданы единым богом — и бии, и карахалк. Народ не спокоен, еще немного — и прольется кровь. Кровь-то прольется, но все останется на месте. Так всегда было, с сотворения мира, тем все кончится и теперь.

— Что же случилось? Почему поднимаются бедняки? Кто такие большевики? Ничего не пойму!

— Бедняки не виноваты... — Айдарук вздохнул. Остывшие его глаза смотрели на далекие вершины. — Они не виноваты. А большевики... Я и сам не понимаю, кто они. Но кто бы они ни были, мутить народ, ломать устоявшуюся жизнь — дело несправедное. Темный народ, темный, всему верит! А большевики говорят: раз царя свергли — будет равенство. Равенство? Очень хочется, даже мне. Тогда я буду равен Иналуку из Диогера. Но вот у меня две руки — и даже они не равны, одна правая, другая левая.

Қаншау озабоченно думал.

— Но разве плохо — быть всем равными?

— А разве плохо, обе руки — правые? Очень бы неплохо, Қаншау, если бы было возможно. Но что делать, нет на земле равенства. Даже злаки, что выходят из земли, — один съедобный, а другой отравный. Даже звезды на небе и те неодинаковы.

— Равные и одинаковые — не одно и то же.

— Верно, — усмехнулся Айдарук. — Но скажи: какого

ты хочешь равенства? Чтобы все были жалчи? Или все были бии? Если бии — дай всем бийское имя. Но где ты возьмешь столько земли, столько скота и как всем дать образование? Но если ты отберешь у меня овец и отдашь Шамуюку — он станет бием, а я жалчи. И увидишь, что я-то был бием получше.

Несмотря на уныние, Каншау представил Шамуюка бием и рассмеялся.

— Да и из тебя, прости, уже, наверное, хорошего жалчи не получится.

— Хочешь быть бием — работай. Вон Карча — половину моего стада заберет. Чем не бий?.. А Шамуюк, если утром получит барана, к вечеру его съест. Карахалк тоже разный... Мы народ мирный, — продолжал Айдарук. — Но к нашим мирным очагам мы пустили гяуров — и теперь не будет нам мира. Сын пойдет на отца, брат на брата, жалчи на бия. Вот какие дни идут к нам, Каншау. Но если сумеем остаться людьми, кровь не прольется. Всю жизнь я старался никого не обидеть. Одного всегда боялся — крови. Все отдам, но не стану пачкать руки в крови, не хочу смотреть, как плачут сироты!

Голос Айдарука дрогнул. Всю жизнь он верил, что лишь доброта может сблизить людей, разрушить ту стену, что веками стояла между богатыми и бедными, сильными и слабыми. А теперь говорили: только оружие в силах изменить мир и разрушить эту стену. Но где оружие — там кровь, а следом — беда и голод.

— Слов нет, Айдарук, ты... — осторожно начал Каншау, — другой. Но ты один такой. Остальные таубии и даже уздени думают совсем иначе. Ерюзбек готов был последних быков отобрать у нас...

Айдарук хмуро посмотрел на него. Это уже звучало как обвинение всем таубиям. И сказал жестко:

— Карахалк должен запомнить одно: таубии ни у кого ничего не отнимали, богатство они приобрели не насильем. А не захотят понять этого — сами же сгорят в огне.

Дальше и говорить было не о чем. Оба одновременно поняли это и умолкли. Айдарук почувствовал, что теряет еще одного верного человека. А Каншау думал о том, что прав был Ордан: человек — что луна, виден только одной стороной. Что-то скрытое было и в Айдаруке. Тоже не святой пророк.

Все время, пока они ехали, Каншау собирался открыть-

ся ему в своем чувстве к Нальбике, но теперь пришел в замешательство.

На околице, у брода через Юрду, Айдарук остановил коня.

— Тебе реку переходить не нужно,— сказал он.— Поеду один. Передай мой салам Коналию и Кундуз. И пойми: пришел в Жамауат Баттал, пришел—и конец миру между родами.

— Я провожу тебя до дома,— сказал Каншау, стараясь не видеть, как нахмурился Айдарук. Ему хотелось доехать до княжеского дома.— Я не спешу, перейду в Кюнлюм через нижний брод...

— Нет,— еще строже сказал бий, догадавшийся о надежде батрака.— У меня по пути есть другие дела.— Он увидел в глазах Каншау такую тоску, что на миг опустил взгляд.— Я не богатый караван, нечего меня провожать. Поезжай скорей к родителям.

Переходя через брод, Айдарук чувствовал у себя на спине его упорный взгляд.

Он, конечно, догадывался о том, что творилось в сердце его батрака, даже сочувствовал ему, но понимал бессмысленность этого, всерьез его не принимал. У кого в юности не было такой любви? Он и сам как-то в Баку влюбился в красивую племянницу миллионера Чермоева. Мечтать не запретишь. И не стоит из-за этого поднимать шума. Так он думал, видя, как теряется, краснеет Каншау, как волнуется в разговоре с ним. Все пройдет, все кончится... Беда только, что из-за этого погиб Мурай. Но не чужая любовь убила его, а собственная гордость. И этого уже не поправишь. И он с тоской подумал: все равно бы он с таким сердцем долго не прожил — вот был князь! Явись вдруг перед ним живой Мурай, ни минуты бы не раздумывал, ни на что бы не посмотрел — тут же отдал свою дочь за него, пусть бы даже через год Нальбике осталась вдовой.

Выехав на другой берег, Айдарук увидел, что Каншау медленно едет вдоль реки. Ну чем не бий? Как Айдаруку нужен был рядом близкий человек! Но он вздохнул: нет, этот — нет.

Айдарук тосковал по сыну-помощнику, продолжателю всех его дел, опоре и утешению. Шабатай не понимал отца и в свою душу его не пускал. Беды других лишь радовали его. В этом он был продолжением матери, которая становилась невыносимой не только для работниц, но и для

всего дома. Иной раз Акбийче становилась страшной: казалось, она злобствует на камни, деревья, горы вокруг, что они не старятся вместе с ней. Услышав однажды, что бедняки недовольны таубиями, она потребовала, чтобы высекли всех недовольных. Желания этого, конечно, не исполнили, и каждый раз, когда что-то случалось не по ней, всю свою лютую ярость она выливала на бедных работников, превращая их работу в настоящую пытку.

А над дочерью Акбийче власти не имела и сделать ее похожей на себя не смогла. Нальбике выросла другим человеком. Росла она, стараясь во всем походить на отца. Хотя таинственный и непонятный мир женщины был от князя далек, сам он был своей дочери очень близок. Когда Нальбике подросла, он брал ее с собой. Он играл ей на кылкобузе, рассказывал о травах, деревьях родных нагорий, о камнях и старых могильниках. Он учил ее распознавать птиц по свисту, рассказывал об их повадках. Ум у дочки был жадный, она пыталась схватить все, выучиться всему — языку трав, зверей, птиц. Здесь Нальбике начала прислушиваться к самой себе, к рождению женственности в своей глубине, и это тоже было чудом. Оно было неумолимым и хитрым, это рождение женственности, как тихое журчание затаенного лесного ручейка-родничка; оно щекотало щеки, колени, неожиданной пронзительной болью отдавалось в груди — и тогда Нальбике испуганно прижималась или к отцу, или к дереву — что оказывалось ближе.

В сущности, подумал Айдарук, он несчастный муж и лишь наполовину счастливый отец...

Айдарук не заметил, быстро он ехал или медленно. Так и не успев обдумать свои мысли и лишь признав себя несчастным, он въехал в аул. На крыше одного из домов голозадые, в одних рубашках, хотя и в шапках, мальчишки играли в кости. Проезжая мимо, Айдарук посмотрел на них и вдруг почувствовал себя виноватым перед этими юными и пока еще счастливыми голодранцами. «Не так уж они малы, чтобы ходить без штанов. Их отцы и матери работают не покладая рук, пашут землю, пасут скот, а их дети ходят без штанов... — И он глубоко вздохнул: — Нет, никто не захочет терпеть такую жизнь вечно...»

Ему даже стало смешно, столько думал, ночами не спал, размышлял о захлестнувшей страну революции, решил — дело несправедное, и вдруг споткнулся на этих бесштаных подростках. Как же он раньше не замечал, что подростки эти не только позорят себя и своих родителей,

но и весь аул, а прежде всего — его, самого богатого здесь человека, на которого работают их родители? Странно, что он не видел всего этого прежде...

Поднявшись на косогор, он увидел, что в доме у него гости. Во дворе стояла линейка, у коновязи были привязаны не расседланные еще кони, двух он узнал сразу, коня Шабатая и его нового друга Заммая. Теперь в душе Шабатая место Мурая занял его брат. Похоже, занимал он и место отца; Ерюзмек уже давно не появлялся в управе, и всеми делами, хотя его никто не выбирал старшиной, заправлял Заммай, в офицерском кителе и с новым гяурским крестом. «Кто же приехал на линейке?» — подумал Айдарук. Но кто бы ни был, он не хотел встречаться с ними и поехал к Адею-эфенди, лишь он один мог понять его состояние.

И Каншау не сразу попал домой. Отъехав от брода, он остановился у каменного моста и долго смотрел снизу вверх на свой дом. С такой душой идти домой не хотелось. Он повернул коня к подворью Гитчеулана, решил повидаться с Батталом.

Но и там разговора не получилось. Баттал смотрел на него как-то недоверчиво, недобро. «Ты сердцем привязан к княжескому дому и ничего не хочешь видеть», — холодно сказал он Каншау. И этот не понимал его. С кем он мог поделиться, кому доверить свою боль?

Зато дома ему были рады. Рамазан вернулся из леса с дровами и разгружал своего ослика. «Уже помощник!» — порадовался Каншау. Он вспомнил зиму, которую провел в доме князей Бурундуевых, — и тупо грохнул топор в зимнем лесу, и громко рассмеялась юная Нальбике. Он привязал Желтогривого к коновязи рядом с чьим-то лет полутора вороним жеребцом.

— Жансоха! — улыбнулся Рамазан, поймав его вопрошительный взгляд. И с удовольствием сказал: — Чистая кабардинская порода! — Когда он впервые услышал эти слова, они сразу подняли достоинства жеребенка в его глазах на неизмеримую высоту. — Отец отдал двух быков! Зато Жансох как рад! Я и то бы так не подпрыгивал!

«Отдал злополучных быков, избавился», — подумал Каншау, поглаживая жеребенка, тот, обеспокоенный присутствием другой лошади, беспокойно переминался на месте.

Из дома вышел Жансох с медным тазом. Он поставил таз на землю и обнял брата.

— Поздравляю! — сказал Қаншау. — Езди на счастье!

— Анзор научил, как ухаживать, чем кормить, — быстро заговорил Жансох, ему было стыдно, что так дорого достался семье его конь. — Вот, овес на молоке настоял. Раз в день обязательно надо так кормить. Когда подрастет, Анзор покажет, как его выезжать.

Рамазан, держа в своих маленьких ручках сыромятные ремни, смотрел на своих братьев.

— Все у тебя хорошо, — сказал Қаншау, отпуская брата. — И конь у тебя есть, и сам вольный.

— Иди в дом, мы с Рамазаном сейчас придем, — сказал Жансох.

— Как отец?

— Полегчало. Сегодня уже ни одного намаза не пропустил.

Жеребенок, почуяв еду, заржал, начал перебирать ногами. Коротенькая озорная челка упала на белую отметину на лбу, дикие торопливые глаза, кажется, не видели ничего, кроме таза с овсом. Жансох ткнулся лбом в лоб жеребенка, но тот в нетерпении оттолкнул его и, чуть не рассыпав, стал подбирать овес.

Қоналий читал предвечерний намаз, и Қаншау подождал, пока он закончит молитву. Когда Қоналий встал с намазлыка, он с опущенной головой подошел к нему и молча прижался к его груди — на миг передал отцу тоску и боль, но у отца не было сил, чтобы снять боль сына, рассеять его тоску. Первым взял себя в руки сын.

— Приболел ты.

— Пустое, грудь заложило, теперь отпустило.

— Что нового в ауле?

— Ничего радостного, сын. В страхе и живем.

— Что так? Нас не касается...

— Нас все касается, Қаншау. Беда узкой тропкой не ходит. Снова на войну забирают.

— Одна война не кончилась, начинается другая, — вздохнула Кундуз. — Женить мне вас пора, а тут опять на войну. Что же так гневается на нас аллах?

— Не горюй, жена. Что суждено, то и увидим.

В доме стало тихо. Было слышно, как во дворе фыркал и звенел уздечкой Желтогривый и Жансох увещевал своего Вороного.

— Какого жеребенка купили, — сказал Қаншау, уводя разговор от тяжелого. — Жансох-то земли под ногами не чувствует.

— Как же, двух быков стоил. Чистая кабардинская порода.

— Хорошо мы сделали, отец, что не приняли тогда подарка Айдарука. Свой конь — это все же свой конь, хотя тебе и трудно без быков, — сказал Каншау, чтобы увидеть, как относится отец к дому князя. Но Коналий ничего не сказал на это. — Ничего, живы будем, и быки будут. А Жансох имеет коня.

Всю ночь Каншау пролежал без сна и уже под утро решил на отчаянный шаг: он, как встанет, сразу напишет письмо Нальбике и встретится с ней. Если она согласится, они убегут. Он еще не знал, куда им бежать, но другого выхода не видел.

Утром Каншау попросил Жансоха найти листочек бумаги и карандаш. Жансох сходил к Жанмирзе и принес.

Каншау впервые в жизни писал письмо. Есть целый свод правил, как должен писать парень девушке и девушка парню, с обязательными приветами, оборотами, стихотворными строчками. Каншау написал, держась канонов, всех положенных оборотов и сравнений, — вышло путано, слезливо и цветисто одновременно. Пришлось Жансоху еще раз сходить к Жанмирзе. На этот раз Каншау написал коротко, решительно: надо встретиться.

Дочка Жанмирзы отнесла письмо подруге Нальбике, та — уже ей самой. В доме подруги они и встретились. Ею была Кезибан, дочь Адея. Каншау понимал, что это дерзость — назначать свидание с девушкой в доме своего учителя. Адей мог счесть это оскорбительным для себя. Но другого выхода у Каншау не было. К кому еще могла пойти дочь князя в такое время? А сам он был учеником Адея и дружил с Алиханом. Сейчас Алихан находился в Стамбуле, но когда он бывал дома, то Каншау частенько навещал его. К тому же он просто обязан зайти к учителю и справиться о его здоровье. Так что его приход в дом Адея не должен вызвать никаких подозрений. У Адея подрастала дочь, и они дружили — Нальбике и Кезибан, дочери двух больших людей Жамауата. Могла же одна на минутку забежать к другой! В общем — хитрость, достойная простодушного Каншау.

Получив письмо, Нальбике поняла все сразу. Она сказала матери, что обещала подарить Кезибан свое египетское парчовое платье, из которого давно выросла. Нальбике собиралась, а княгиня хмурила брови и чернела лицом, но так и не нашла причины, чтобы не отпустить дочь.

Дом эфенди был дом почтенный, дом друга, единомышленника — чтоб они пропали с этим своим единомыслием, князь и этот эфенди! — нет, она ничего не смогла придумать! Акбийче фыркнула и с шумом захлопнула дверь в свою комнату.

Они встретились. Однако Нальбике так волновалась и смущалась, что разговора, какого они ждали оба, не получалось. Почти год не виделись они. А теперь боялись даже поднять глаза. Как легко было понять друг друга прежде — голос, взгляд, поворот головы, само молчание — тысячи намеков во всем. Но какие намеки, какое молчание теперь! Надо решить, куда ехать, где искать пристанища, кто им будет помогать?

— Убежим, а там будет видно! — настаивал Қаншау.

— И Шабатай с друзьями спалит ваш дом!

Нет, не хотела Нальбике принести в дом жениха такое приданое. Она хотела одного: счастья себе и никакого зла другим. В страхе, что видит его в последний раз, она расплакалась.

— Я хочу сказать твоему отцу... Хочу признаться, — сказал Қаншау.

— Ты мужчина, ты и решай, — сказала она. — Но и отец мой в своей доброте не безграничный.

И они тут же убедились в том, что тревога их ненасправна. Только наконец подняли глаза, прямо посмотрели друг на друга, и уже сотни слов готовы были сорваться с языка — во двор верхом на коне въехал Шабатай. Конь вставал на дыбы, а седок кричал так, как князю не подобает кричать вовсе. Нальбике вышла во двор. Қаншау выпрыгнул в окно и, оглядываясь, пошел к задам, где оставил Желтогривого. Из-за невысокого каменного забора он смотрел, как Шабатай вел сестру, почти волок по улице, одной рукой он держал повод коня, другой — руку сестры; казалось, что он ведет сразу двух лошадей — смирную и дикую. Қаншау хотелось выйти навстречу и отнять у него Нальбике. Он вспомнил, как побил его в детстве из-за ржавого ножа, а потом в мальчишеских играх не раз защищал княжеского сынка от задир. Сердце разрывалось, а он, не в силах ничего сделать, стоял и смотрел.

Вдруг конь Шабатай, почуяв поблизости другого жеребца, заржал, Шабатай, и без того подозревавший, что Қаншау где-то здесь, быстро обернулся, бросил сестру и вскочил на коня. И Қаншау вскочил на Желтогривого. Жеребец кругом прошелся на месте, перемахнул через ограду,

и они понесли по склону. Шабатай бросился следом — вот удобный случай покончить с Каншау. Покуда он жил в их коше, Шабатай не мог ничего сделать — запрещал отец, запрещали обычаи, к тому же в горах Каншау был сильнее, чем он. Здесь же сам аллах звал его к возмездию. Некому, кроме него, защитить честь сестры, не от отца же ждать!

Каншау решил увести его подальше от аула. Нынче без оружия не ходит никто, ружья были у обоих. Только сегодня Коналий сам приторочил свое старое ружье к седлу сына — в горах было тревожно, слышали, что в Верхнем Чегеме уже нападали на коши. Словно чуял отец. Каншау понимал, что, если подпустит Шабатая близко, тот не преминет выстрелить. Стрелок он неважный, но все же лучше Заммая, так что подпускать не следует. Скрывшись за скалой, он сбил Шабатаю со следа. Тот проскакал — в гневе, еще не тронутый страхом. Каншау снял ружье, притороченное к седлу, и не спеша поехал за ним.

— Каншау, остановись, если ты мужчина! — кричал Шабатай. — Не прячься, если ты не женщина!

— Мужчина, женщина... — пробормотал презрительно Каншау. — И слов-то других нет.

Когда Шабатай въехал в глухой рукав ущелья, Каншау встал в устье и выстрелом вверх остановил его. И тут же перезарядил ружье. Шабатай остановил коня и начал соображать, как же это он дал загнать себя в мешок. Страх охватил его. А Каншау вспомнил, как только на днях он сам вот так же стоял перед Заммаем, спешился и, положив руку на желтую гриву коня, стал.

— Я мужчина, Шабатай, а не женщина. Я перед тобой, на земле, ты на коне. Стреляй. — Но при этом в правой руке держал на весу отцовское ружье.

Кровь схлынула с лица Шабатая. Он понимал, что первым Каншау не выстрелит, но уж ответит без промаха.

— Что ты болтаешь! — срывающимся голосом крикнул он. — Что, у меня других дел нет, как гоняться за каким-то пастухом? Ты стрелял?

— Не каким-то пастухом, а Каншау Жандаровым, который честно хочет жениться на твоей сестре, — поправил он Шабатаю. Голос его тоже дрожал. — Мы с тобой вместе учились, играли вместе, не раз я защищал тебя от других мальчишек. И чего вам всем приспичило стрелять в меня? На днях Заммай стрелял, сегодня ты с ружьем за мной гонишься. Что у вас — пули в стволах чешутся?

Шабатай молчал. Қаншау, немного успокоившись, продолжал:

— Я почитаю бия и не хочу враждовать с тобой. Я не раб, как ты думаешь, и не бедняк безродный. Я люблю твою сестру, и я достоин ее.

— Не говори о моей сестре! — сказал Шабатай. — Она слишком высока для тебя — руками не дотянешься. А дотянешься — я отрублю их тебе.

— Ни в чем я не уступлю вам, ни в чем, на что человек способен.

— Прежде чем она выйдет за тебя, я в землю ее вкочую!

— Я — азат, — уже совсем спокойно сказал Қаншау. — Я независимый человек. Что я делаю — делаю по собственной воле. И никто не волен мне указывать. Ты тоже.

Конь под княжичем, чуя тревогу всадника, приседал, крутился, перебирал копытами. Видя смятение Шабатая, Қаншау слегка обмяк.

— Мир велик, а жизнь коротка, — сказал он примирительно, — зачем нам враждовать? Мы равны по корану.

— Но ты никогда не родишься князем. Ты чернь — и черню останешься.

С тем бы Шабатай и ускакал, но Қаншау успел ухватить за повод и остановил рванувшегося коня. Шабатай выхватил кинжал. Легко было ему ударить сверху, но и тут он замешкался, и Қаншау успел закрыться ружьем.

— В позорный твой час пусть я встречу тебя, — сказал он. — Что ж, ударь еще раз, бей! Гони меня дальше, если ты мужчина! Род твой княжеский не найдет, где будут гнить твои кости. — И он, отпустив повод, вскочил на Желтогривого и ускакал.

Қаншау ехал по белой каменистой дороге. Никогда эта дорога не была такой долгой и утомительной. В буйном цветении белели и голубели дикие плодоносы, вода, камни в реке, даже небо казались зелеными в этой полноте зеленеющего ущелья. Но в душе его была горечь, он чувствовал лишь тяжесть долгой каменистой дороги, от которой было бело в глазах. Ему не хотелось ехать в Глухой овраг, не хотелось думать и не хотелось жить. А что ждет его впереди, чтобы так уж хотеть жить? Вечная застылость Глухого оврага, недвижность тоски, недвижность жизни...

И тут Қаншау услышал выстрел. Он не был похож на обычный выстрел в горах, скалы не повторили его, земля не отозвалась — стукнул глухо и затих.

Каншау остановил лошадь. Нет, это не был выстрел сзади, вдогонку. Пожалуй, стреляли там, где пасет овец кошнёгер Ордана. Давно уже Каншау не был у старика. Он знал, что Ордан не упрекнет вслух, но и в молчании его будет осуждение Каншау за его напрасную боль. Да если бы он сам не убеждал себя разлюбить Нальбике, не мучиться напрасно! И самые благие советы здесь ничего не значат. Любовь — дичок, привоя не берущий, слова самого Ордана. И все же он боялся встретиться с молчанием Ордана.

Этот странный глухой выстрел разомкнул зеленый мир вокруг него. Каншау понял, что Ордан мог бы успокоить его, хоть что-то объяснить, и не только их с Нальбике судьбу, но и разобраться в том сплетении дорог, что рябила перед глазами, и он не знал, куда ступить; стоило ему выбрать одну из них, как она тут же снова разветвлялась, пропадала, как пропадают овечьи тропы в камнепаде. Но есть же дорога, та, одна, что определена ему, как дарована одна жизнь, но ее-то, этой единственной дороги, он и не знал.

Недоброе предчувствие вдруг толкнуло его в спину. Он пустил лошадь быстрее. Выхав на открытый склон, он увидел вдаль у леса разбредшихся овец. Это были овцы ордановского кошнёгера. Кто же пасет их сегодня? Доехав до первых овец, он крикнул обычное пастушеское приветствие:

— Да умножится стадо!

Никто ему не ответил. Крикнул еще раз. Что это, от волнения заложило уши? Нет, он слышал, как овцы щиплют траву. Наверное, пасет какой-нибудь мальчик. Уснул нечаянно. Тогда он крикнул, как кричат пастухи в горах:

— Э-ей-хе-э-эй!

От такого крика, если кто спал, уже проснулся бы, а кто ушел далеко — откликнулся. Но никто не появился и не отозвался. Каншау понял: овцы пасутся без хозяина. Ясно — случилась беда. Надо искать пастуха.

На склоне меж камней он не увидел никого. Случается, что камень — сорвется ли со скалы сам собой, выкатится ли из-под ноги вездесущей овцы — уносит жизнь пастуха. Но склон был пуст. Обвала не было, был выстрел. Странный глухой выстрел. Сильно забило сердце. Он медленно поехал краем леса.

Обогнув кусты орешника, Каншау увидел Ордана — он лежал, уткнувшись лбом в землю, словно в долгой молитве,

трава вокруг была залита кровью. Его старая берданка висела на ветке дулом вниз.

Каншау опустился на колени, повернул Ордана лицом к себе. Окровавленные пальцы старика пробежали по телу, словно он искал что-то. Каншау приподнял его.

— Ордан! — крикнул он и умолк, от слез перехватило дыхание. — Ордан... Что случилось?

Он узнал Каншау и, словно последнее его желание исполнилось, уронил голову ему на грудь.

— Нет у меня родных... — слабо шевельнулись губы Ордана. Он помолчал. Губы опять зашевелились, но долго не было никаких звуков, он напрягался, хотел сказать что-то, очень для него важное. — Земля везде одинакова. Нет клочка... везде можно... кладбище... здесь похорони... жил в горах... и останусь...

— Кто?! — спросил Каншау, прижав голову старика к груди, словно закрывая его от смерти. — Кто тебя убил? Я должен знать.

— Сам... — голос его немного окреп. — Смерть сама пришла. Когда пора умереть, человек глупеет. Вот и я... Повесил ружье... обратно в руки не далось... Ему нужны крепкие руки.

Он замолчал. Молчал и Каншау. Лишь теперь он начал понимать, кем был для него Ордан. Обидно и горько стало ему: жил рядом и так редко видел его, так мало говорил с ним, как будто Ордан был вечен.

Он сидел, обнимая старика и вспоминая, как много лет назад было ясное утро, лучи солнца пробивались сквозь качающуюся листву, и желтые и зеленые пятна, перемешиваясь, ходили по земле; они трое — Ордан, Жансох и Каншау — ехали в горы, и Ордан рассказывал, как давно, почти два века назад, ясным утром в лесу лучи солнца пробивались сквозь качающуюся листву и желтыми и зелеными пятнами ходили по полу хижины, Гинадука, сжимая кинжал, стоял перед Жандаром и Кулиной и смотрел, как в бочке с водой бьется белая птица.

— Я знаю, почему ты не приходил... а сегодня пришел, — вдруг спокойно и даже легко заговорил Ордан. — Со своей болью человек всегда один. И любовь... святое чувство, чтобы делиться с кем-то. Много тебе отпущено, джигит, чтобы жилось спокойно. Но и долгой жизни тебе не даровано. Не горюй, будь достоин своей судьбы... — Ордан закрыл глаза, снова тяжело стало говорить ему. — Не будет мира между богатыми и бедными. И даже не в

богатых дело — в богатстве. От него все раздоры и беды. Оно — как соленая вода, чем больше пьешь, тем больше хочется. Кто найдет на него управу, тот сделает людей счастливыми... Но когда это будет? Потому, Каншау, и твоя любовь не ко времени...

Ордан умер на закате. Каншау выправил его, закрыл глаза и, накрыв тело своим чепкеном, поднялся на скалу, чтобы созвать пастухов. Попытался крикнуть, но острый, обжигающий комок подступил к горлу, и он заплакал. Все слилось в этом плаче — и потерянная в Глухом овраге юность, и события последних дней, и бессильные слезы Нальбике, и смерть Ордана, его всезнающего советника и защитника.

Потом он зло и легко кричал со скалы, зло и легко рыл землю, как и завещал старик, там, где он случайно застрелился. Пришли пастухи и помогли ему похоронить друга. Но и потом, когда пастухи прочитали молитву и угнали отару, он долго оставался возле могилы.

Назавтра он весь день складывал вокруг могилы ограду из камней.

В свой кош он вернулся в сумерки, но на лице Карчи уже была ночь. Каншау ничего не стал рассказывать, не тем человеком был Карча, чтобы делиться с ним горем. Он лег и хотел хоть во сне забыть, что случилось в эти два дня. Но приснилась ему Нальбике. Она была в лохмотьях, растрепана и пасла чужих овец. Он проснулся и больше уже не мог уснуть. «Баттал хочет, чтобы я пошел против них, против Айдарука, против Нальбике, — думал он, сидя на мулжаре коша. — Нет, это мне не по силам. Лучше жить в темнице... Ну а Шабатай? Ерюзмековы? Мир же не на одной моей любви стоит и не на одних Айдаруках. И Ордан сказал: «Не будет мира между богатыми и бедными».

Тоска выгнала его из коша. Уже светало. Лежа возле стада, спал Карча.

— Ты богатый или бедный? — спросил он Карчу, потрянув его за плечо.

— Что ты мелешь! — разозлился спросонок Карча.

— Богатый, говорю, ты или бедный?

— Сегодня я стану богатым! — оживился Карча. — Приедет бий и выделит мою долю. И ты увидишь — бедный я или богатый. Двести двадцать баранов, я уже подсчитал.

— Позавидуешь!

— Еще бы! Я не Карча, если через три года не обгоню

самого Айдарука! — Мысли о прекрасной будущей жизни смягчили Карчу. — Хочешь, я возьму тебя в жалчи?

— Спасибо, — сказал Каншау. И подумал: «Этот уже начал хлебать соленую воду».

— Держись меня. Хоть я и не князь, да богач, бай. А байство посильнее бийства, — настаивал Карча. — Я тебя не обижу.

— Да меня и Айдарук не обижает.

— Ты глупец. Мы с тобой одного сословия. Айдарук своего коня тоже не обижает, только ездит на нем.

— Отчего же ты не скинешь с себя Айдарука? — спросил Каншау, удивленный тем, как слова Карчи сошлись со словами Баттала.

— А что мне это даст?

— Свободу.

— Свободу! — Карча усмехнулся. — Свобода нужна птице, чтобы летать. Дай мне сто овец вместо свободы, а там посмотрим, кто лучше заживет, свободный Каншау или богатый Карча.

— Ты прав, — признал Каншау.

— Еще как прав, — ухмыльнулся Карча. — Подожди, твой Айдарук еще придет ко мне просить овцу для курбан-байрама.

— И ты дашь ему? — с живостью спросил Каншау.

— Он еще поклонится мне! — воскликнул Карча. — И он, и все эти бии, кто сытней меня ест и лучше одевается, они лишь покуда богаче меня. Все поклонятся. Двести двадцать баранов! — Карча вскочил и подпрыгнул несколько раз, словно вступил в танцевальный круг. — Скорей бы приехал бий... Аллах, как я хочу видеть своих овец! Видишь, лежат. Сейчас они все одинаковые, но двести двадцать из них — мои. — Глядя на сумрачный рассвет, он воздел обе руки к небу. — Аллах, дай силы бедному рабу твоему исполнить свои надежды, не пожалей милости! — Он закрыл глаза и, касаясь ладонями лица, забормотал длинную молитву. Оторвавшись на миг, сказал: — Пойду сегодня искать место для своего коша. Если Айдарук придет без меня, удержи его, пока я не вернусь.

Каншау поднял стадо и погнал на выпас.

Айдарук приехал только через неделю. Он привез с собой нового жалчи. Этого безродного, бездомного и очень доброго человека Каншау знал. Звали его Эсау. Рассказывали, что в молодости он батрачил у какого-то таубия и влюбился в его дочь. У него хватило ума сообщить о

своим чувстве бийче, она сказала братьям, а те живьем закопали его в землю и придавили сверху камнем. Но аллах не отвернулся от Эсау. Когда братья бийче ушли, служанка из дома бия, должно быть любившая Эсау за красоту и глупость, вместе со своей сестрой откатила камень и откопала его. Эсау был красив и глуп, это уже сказано, но еще он не любил оставаться в долгу. Бийче, осмеявшую его любовь, он наказал так, что после этого уже никто не захотел жениться на ней. Говорят даже, что об этом подвиге Эсау была сочинена песня. За его смерть братья бийче давали коня под седлом. Но Эсау вместе со своей спасительницей, которая простила ему его глупость во второй раз, исчез из родных мест. Абречил он в чужих краях или батрачил и сколько раз прощали ему аллах и та женщина его глупость — неизвестно, но жила в аулах веселая о нем память и веселая песня. Потом забылась песня, канул в забвение и Эсау. Но порой и река возвращается в свое старое русло. И Эсау, положив где-то в чужих краях собственными руками камень на могилу той, что когда-то откатила камень с его могилы, вернулся в Жамауат. И бийче, и обидчики его уже давно были в земле, где Эсау уже побывал сорок лет назад. «Вернулся умереть, — сказал он. — Мужчина должен лежать в своей земле». Уж он-то знал. Теперь Эсау на двенадцати ишачках возил дрова из леса — две вязанки из трех хозяину ишачков, одну — себе. Так он каждый день имел четыре вязанки дров. Он продавал их, обменивал на зерно, масло. Жилось ему неплохо, и в ауле он был человеком нужным.

А теперь этот Эсау стоял у коша и обдумывал свой первый разговор с собаками. Те еще не знали, что этот худощавый человек с веселыми глазами останется вместо Карчи, и посматривали на него весьма непочтительно.

Айдарук был неразговорчив. Карче он лишь сказал, что волен идти, а заработок свой может получить овцами или деньгами. Услышав о деньгах, Карча даже вспотел от напряжения. Он отошел в сторону и задумался. Может, плюнуть на все и зажить спокойно, словно сам баран на выпасе? Не он будет бегать за овцами, а жена будет бегать за ним, днем обслуживать, а ночью ласкать. И все-таки Карча не был мелким человеком. Он подошел к князю и с достоинством протянул одну из своих палок:

— Здесь двести двадцать баранов.

— Я прибавлю еще десять, — сказал Айдарук, даже не взглянув на документ своего жалчи.

Сначала Карча не понял, когда же понял, сорвал с себя шапку и бросился обнимать бия. Заикаясь и чуть не плача, он бормотал что-то.

— Каншау, поди помоги ему отделить своих овец,— распорядился бий, а Карче сказал:— Я доволен тобой, будь же доволен и ты.

— Золотой человек! Шейх! — бормотал Карча, спеша к своим баранам. На гладко выбритой его голове выступили крупные капли пота. Под тяжестью неожиданной радости он согнулся, стал еще меньше.

— Жив буду, я тебя не обижу,— обернулся бий к Эсау.— Но время трудное, сам знаешь... Слышал я,— прибавил он с горечью,— что дома наши будут поджигать.

— А у меня нет дома,— простодушно сказал Эсау.

Каншау отсчитал Карче положенных ему овец— все двести двадцать и еще десять. Карча, водя пальцем по насечкам— один баран, одна насечка, пересчитал их снова и, словно боясь, что овец могут отобрать, скорей погнал их туда, где уже давно облюбовал себе кош.

— Доволен ли он? — спросил Айдарук.

— Очень, бий.

— Вот и хорошо...— сказал Айдарук, думая о чем-то своем.

Каншау хотелось узнать, что слышно о Баттале, как там Нальбике и знает ли бий о его стычке с Шабатаем, но только спросил:

— Что нового в ауле?

— Что может быть хорошего в ауле, если даже ты...— начал с упреком Айдарук, но не договорил.— Я тороплюсь, подай коня.

Каншау посадил его на коня.

— Я слышал, на коши нападают,— уже сидя верхом, сказал Айдарук,— угоняют скот. В Чегеме убили одного пастуха. Будьте начеку. Оружие я пришлю.

Опять Каншау упустил случай раскрыть бию свою сердечную тайну и в глубокой досаде долго стоял у коновязи.

Ночами над печальным заброшенным Глухим оврагом свистел тревожный ветер. Лучи уже округлившейся, позеленевшей от летнего разнотравья луны сквозь щели плетня загона били прямо в лицо Каншау. Монотонно гудел Глухой овраг; мерное жевание, кашель, одышливое дыхание овец смешивались со сладковато-удушливым запахом вереска, который доносил ветер.

Эсау быстро полюбил (у него как-то все получалось

быстро) этого немногословного, видного, как князь, джигита. Но ни о чем его не спрашивал. Эсау знал: страдание ведомо тому, кто любит, но сам может быть не любим. Никогда он не испытал подобного чувства (один случай не в счет), но знал — так бывает. Он много видел, много пережил, но и по сей день счастьем, которое было в его молодости, жил как сегодняшним. Оттого и вышел он среди ночи к страдающему человеку. Старые подпорки плетня потрескивали от упругой игры ветра; Эсау стоял перед лежащим под буркой Каншау, и ему очень хотелось рассказать о своей жизни. Рассказать, как это было, когда с его лица откинули тяжелый пласт земли и он увидел лицо той, которую он — правда не сразу — полюбил на всю жизнь. И сказать, что от всех бед одно лекарство — смелость. Говорят о семи небесах, о семи пластах земли и о бесконечности страдания. Эсау знал также, что оно, это страдание, бывает так мучительно, что человеку порой может не хватить сил, чтобы справиться с ним. Говорят, человека от бед не отделить. Ему хотелось уйти, чтобы не мешать чужим нелегким думам, но как уйдешь, если человек так молод, так одинок под буркой и под луной. Сам он такого одиночества не испытал, но знал — так бывает.

Эсау присел рядом. Его тень закрыла лицо Каншау, но тот так и не открыл глаз. Эсау в нетерпении начал тихо петь, он это любил, всегда весело разговаривал с самим собой, тихо напевая про себя. Он не унывал, не скучал, всегда ему все было ясно; напевая, работал, напевая, думал, но главное, напевая, вспоминал; так он спорил с миром, побеждал его, хотя бывал и побежденным.

— Бегите! — сказал он просто. Каншау открыл глаза. Эсау понял, что он все время видел его и ждал от него каких-то слов. — Бегите, бегите!

Каншау удивленно посмотрел на старика. Ордан ничего не советовал, только помог узнать, есть ли в сердце девушки любовь. А этот старик куда решительней.

— Айдарук не отдаст за тебя свою дочь, — сказал Эсау.

Не об этом ли говорил Ордан, когда сравнивал любовь с дичком, никакого привоя не берущим?

— Я не птица, чтобы бросить все и улететь, — сказал Каншау. Он хотел утвердиться в своем решении, сверял его с опытом Эсау.

— Лучше на время стать птицей и улететь, чем потом всю жизнь биться о прутья клетки.

— Бий меня чуть ли не сыном считает...

— Это не задевает его чести.

Они долго молчали.

— Все равно я должен сказать ему,— твердо сказал Каншау.

— Оу-эй, горец, у тебя нет головы!

Каншау обманывал себя надеждой, что добрый Айдарук поймет их с Нальбике. Пусть он даже не отдаст свою дочь за него — пусть хоть посочувствует! Ему казалось: поговорят они в открытую, и уляжется смятение, вызванное разговором с Батталом, и он хоть в этом обретет душевный покой. Такой разговор с отцом Нальбике был важен и потому, что теперь, после стычки с Шабатаем, он должен знать, как ему быть в следующий раз, если они столкнутся опять. И Каншау ждал, волновался, готовил слова, повторял их, выверял на слух.

Как-то Эсау на Желтогривом поехал в соседний кош-нёгер попросить соли, Каншау остался один. К загону подъехали четыре всадника, Каншау насторожился: все четверо были с винтовками.

— Чей кош? — спросил один из всадников, не отдав салама, не сказав «Да умножится!..».

— Кош бия Айдарука,— ответил Каншау и тоже не отдал салама и не спросил, кто они.

— Все верно, мы не ошиблись.

— Не считите неотесанным, но вы и привета не сказали, и себя не назвали, кто вы?

— Мы, джигит, борцы за свободу! — сказал второй всадник, постарше.

— А где она — свобода?

— Там, где мы,— там и свобода.

— Вы не люди Баттала?

— Мы Баттала-Маттала не знаем, мы сами по себе.

Почуввав недоброе, Каншау шагнул к кошу, но третий всадник, угадав его намерение, конем заступил ему путь. Тот, кто спросил, чей это кош, слез с коня и уселся на чурбаке как победитель. Второй «борец за свободу» тоже, кряхтя, слез и стал обшаривать кош, разворошить ворох сена у входа он не догадался.

— Мы забираем это стадо. Тебя мы не тронем, ты такой же бедняк, как и мы,— сказал тот, на чурбаке.

— Но стадо не разбредшееся, у него есть хозяин.

— Верно, народ ему хозяин.

— Клочка шерсти от паршивой овцы не унесете,— ска-

зал Каншау, стараясь быть спокойным.— Не дело бедных угонять чужой скот.

— Ты за кого, за бия или за свободу? — спросил сверху тот, кто не давал ему пройти в кош.

— Я — за этих вот овец. Я в коше хозяин, и вы должны разговаривать со мной как с хозяином. Если приехали с добром, слезайте с коней, пейте айран, если с враждой.... как говорится, от многих и погибнет много, а от малого — мало.— И он положил руку на свой пастушеский нож. Тот, который стоял над ним, тоже вытащил свой кинжал. Но тут четвертый всадник подъехал сзади и набросил аркан на Каншау и резко дернул. Каншау упал. Все четверо навалились на него, проволокли к коновязи и, поставив на колени, заведя руки назад, крепко примотали к столбу.

Каншау понял, что это грабители, прикрывающиеся буркой бедности; они кричали, смеялись над безмозглым пастухом, переворачивали все в коше с такой враждой, что у Каншау вспотела спина,— все, что случилось в последние дни, было началом, предупреждением; настоящая, позорная смерть пришла теперь — неожиданно, предательски, не дав ему возможности защититься. Эти люди привязали его как жертвенную овцу — который же из них будет резать? Но они всё слонялись, перешучивались, неторопливо пили айран из бочонка, потом сгоняли стадо к дороге. И все были недовольны, прямо-таки возмущены тем, что Каншау вздумалось защищать добро бия-кровапийцы.

— Понятно, бию в зятя норовит,— сказал один.— Верно тот говорил: добром стадо не отдаст. Он знает.

«Кто — он?» — подумал Каншау.

— А что? — засмеялся другой.— Тебе не хочется? Шелк, перина, молодая княжна...

— Ну, понял, каково это — своих на князей менять? — спросил тот, который свалил его арканом.— Да тебя на костре изжарить мало.

— Ты трус, ты только со связанным можешь так разговаривать.

Тот отвязал толстую пеньковую веревку, державшую плетеную дверцу загона, с завидным терпением распустил витки, сделал кляп и заткнул рот Каншау. Этому ему показалось мало, и он плеснул ему в лицо полный гоппан айрана.

— Когда человек не знает своего места, его надобно наказывать,— сказал он при этом.

Первый всадник все время сидел на чурбаке не вставая, ему и айран подали прямо в руки. Наконец он поднялся и сказал:

— Хватит, аланы! Пастуха не положено убивать, не убивали до нас, и мы не будем. Но пусть он повисит на столбе и поразмыслит, кого он вздумал защищать. Оружия нет? Хорошо искали?

И они уехали, угнав всю отару.

Впервые в жизни Каншау охватила жажда мести. Удивительное это было чувство — сильнее всех его прежних чувств, даже тревога о Нальбике сейчас позабылась. И пока он стоял на коленях, привязанный к столбу, лица каждого поочередно и всех вместе кружились перед глазами. Трое молодых — рыжеватый, уже с пролысинами, у них за бия, все время сидел на чурбаке, другой, узкоглазый и скуластый, больше молчал, словно думал о чем-то своем, третий — тот, что плеснул ему в лицо гоппан айрана, самый ненавистный, — белолицый, с крупными коричневыми родинками на щеке и длинными черными ресницами. Четвертый — уже пожилой, толстый и суетливый, который обыскивал кош, всеми повадками был похож на Шамуюка.

От ненависти темнело в глазах, перехватывало дыхание, но он, откинув голову вбок, смотрел на ворох сена у входа в кош, где лежало ружье, и удушье отпускало.

Эсау вернулся в полдень. Спрыгнув с коня, он подбежал к коновязи.

— Оу-эй, жив ли ты, горец? Чьи руки, чтоб они отсохли, привязали тебя так туго? — спросил он, залезая пальцем в рот Каншау. Кляп с комом слюны шлепнулся на землю.

Каншау молчал, еле двигая распухшим языком. Разматывая аркан, Эсау рассказал, что появились какие-то пришлые, переночевали в коше Карчи. Они не из здешних мест. В чегемских кошах, однако, считают, что они не враги пастухам.

— Враги! — зло сказал Каншау. — Ты точно слышал, что они были в коше Карчи?

— Сказали.

— Эти самые! И без Карчи тут не обошлось.

— Оу-эй, он здесь состарился....

— Человек стареет, зло не стареет. Я знаю, по какой дороге они пойдут.

— Оу-эй,— встревожился Эсау.— Айдарук тебе спасибо скажет. Если, конечно, жив останешься.

— Они не Айдарука пенькой кормили.

От тугого аркана все тело Каншау горело полосами, но боли он не чувствовал— месть горячила кровь. Он быстро раскидал сено, взял ружье. Счастье, что кош обыскивал тот старик, абрекский Шамуюк.

— Я догоню их,— сказал он Эсау.— Если что... передашь моему брату Жансоху... пусть он никогда не идет против Айдарука.

— Ладно, ладно,— бормотал Эсау, подводя Желтогривого,— не пойдет, не пойдет... Эх!— он даже присел от досады.— Еще бы одного коня и одно ружье!

Каншау до последнего сухого дерева, до каждого пустого гнезда знал окрестности. Он поехал в обход и там, где кончалась белая скала, спустился в ущелье и двинулся по реке. Чуть проехав, он спешился, стреножил Желтогривого и дальше пошел пешком. Он шел через ольховую чащу, грудью разрывая высокий папоротник, по щиколотки в палой сгнившей листве. От сырости начали расплзаться чабуры. Солнечные лучи никогда не проникали сюда, в эту глушь, и все, что росло, само тянулось к солнцу, достигало его веточкой, кончиком, кожей, и того хватало, чтобы набрать силы, мощи, запаха. Месть, точась из сердца, как кровь из раны, тащила Каншау вперед, он бежал, тянулся всем измученным телом. Когда он вышел из темного оврага в долину, где проходила дорога, он привалился к дереву, осмотрелся, прислушался.

Теперь надо пересечь долину и взобраться вон на ту скалу, с нее обозревалось далеко вокруг. Он шел на четвереньках, останавливался и вслушивался, хоронился за каждым выступом и выглядывал. Поднявшись на скалу, он посидел немного, отдышался, потом уперся обеими руками и вытянулся всем телом— так он снимал напряжение мускулов. Скинув истомление в суставах, он забился в узкую, не больше медвежьей берлоги, пещеру, вход в нее заслонял поросший травой обломок скалы. Сверху нависали кривые ветви можжевельника, слева вздымалась могучая сосна. Лишь в этот час проникал сюда свет— редкий дар скупого к ущелью солнца.

Вскоре в долине показались всадники— но не угонщики; эти были сплошь увешаны лентами с патронами и очень спешили, им явно было не до скота. Пришлось еще ждать, встать в нетерпении и выглядывать из укрытия.

Наконец появились и угонщики. Они остановились на поляне возле реки, согнали стадо в тесную кучу, видно, решили отдохнуть и пообедать. Один, тот, «Шамуюк», на самом берегу зарезал овцу, быстро освежевал, отбросил внутренности. Другой, скуластый, тем временем срубил молодое деревце, заострил его, вдвоем они насадили овцу на этот вертел и стали жарить над костром. Пока туша жарилась, налетчики мылись в речке, поправляли конскую сбрую, обновляли солому в чабурах.

Каншау внимательно всматривался в каждого, сейчас они были одни, никому не угрожали, ни с кем не воевали. Они совсем не похожи на бандитов и, кажется, вовсе и не думали, что они грабители, что совсем недавно унизили безвинного человека. Нет, они мирные люди, никому зла не делают, оттого и не боятся они погони, возмездия, да и с чего бы? И Каншау на какой-то миг засомневался, может, действительно в любви и уважении к дому Бурундуевых он ничего не видит, не понимает? Но тут же пеньковый кляп обжег его губы, он увидел руки, плеснувшие ему в лицо гоппан айрана, и у него даже в глазах померкло.

Каншау был молод и не знал, что это такое — убить человека. Он чувствовал лишь свое превосходство над ними. И решил это превосходство показать.

Они уже собрались возле костра. Каншау выстрелил в середину их круга, пуля попала в тушу, и она мотнулась на вертеле. Поднялся такой переполох, что Каншау рассмеялся. Один бросился за камень, другие залегли.

— Эй, бесшапочные<sup>1</sup>, вы что там — молитесь? Вставайте! Раньше нужно было аллаха бояться, — крикнул Каншау. Он прицелился в того, который утром накинул ему аркан на шею, и сбил с него шапку. — Алан, какая у тебя трусливая шапка — гляди, убежала. Бедная свобода — какие у нее защитники!

Каншау был молод, неопытен и потому дал им добежать до винтовок и открыть стрельбу. Но пули их были ему не страшны, а сами они были у него на виду. И лишь заметив одного, который сбоку заходил к его укрытию, он на миг растерялся, не зная, что теперь с ним делать. Это он спокойно разматывал пряди пеньковой веревки, вталкивал кляп в его рот, а потом выплеснул полный гоппан айрана ему в лицо. А тот от злости даже не прятался, зверем, на

---

<sup>1</sup> Бесшапочные — т. е. женщины.

четвереньках, карабкался наверх, держа винтовку наготове, вслух проклинал себя за то, что не убил пастуха сразу, ну ничего, еще не поздно, он издевательски кричал по-ослиному и ругал Каншау «собачьим сыном». И снова Каншау был виноват.

Эхо отпрянуло от скалы: сначала гулкий выстрел, потом крик — пронзительный и страшный, — и все услышали, что кричит он не от боли, а от сознания того, что через миг умрет.

Каншау лежал за камнем и смотрел, как те трое вскочили на коней и ускакали. Минуту назад он ликовал, месть была для него игрой, аллахом назначенной карой, а теперь он дрожал весь, от плеч до ног, и не мог подняться. И все же он встал и пошел вниз. Умиравший, как совсем недавно Ордан, в последних судорогах искал что-то у себя на груди. Каншау смотрел на него и видел, что тот, который утром издевался над ним, а минуту назад, поднимаясь сюда, кричал по-ослиному и обзывал его собачьим сыном, лишь померещился ему, был во сне, а этот, настоящий, который лежал и быстро-быстро ощупывал себя, оказался совсем другим человеком, и, пораженный, опустился на колени. Руки эти были другими, и в лице не было той злости, залепленное травинками, искаженное — не от боли, а от сознания, что в чем-то он жестоко ошибся, — оно лишь вызывало жалость и тоску. Так, сидя на коленях, Каншау закрыл ему глаза. Лишь пятно айрана на рукаве, которое осталось, когда он плеснул из гоппана, упрямо напоминало о прошлом — оно ярко белело рядом с кровью, не менялось, как лицо и руки, не поддавалось и не раскаивалось.

Он спускался, стараясь оттянуть время, отдалить все то, что ждет его внизу. Он убил человека... Хотел остановиться, хотел крикнуть: «Нет!», но, оказывается, и голоса не осталось, там, где рождался голос, теперь было пусто. Он тянул за собой ружье как палку. Уже внизу, возле отары, он почувствовал жажду, губы одеревенели. Он припал к воде, напился, потом лежал, подставив струям лицо. Когда он встал, остуженный течением, он уже был другой. Он восстановил поруганную честь, отомстил за зло, вернул хозяйское добро. Но что-то умерло в нем.

Первыми на беду отозвались братья — Жансох и Баттал. Было раннее утро, Каншау выгонял спасенное стадо из загона, и вдруг два голоса одновременно отдали ему салам. От неожиданности Каншау даже забыл ответить

на приветствие. Жансох спрыгнул с коня, подбежал и со слезами на глазах обнял его.

— А мы уже не думали увидеть тебя живым!

— С чего бы это? — насмешливо сказал Каншау, хотя и он уже был тронут волнением. Вдруг отпустило напряжение последних дней, и он почувствовал, как слабеют ноги.

— Ну, ну, ну, это еще что такое... — сказал Баттал.

Каншау боролся с хлынувшими слезами. Но опять вчерашнее встало перед глазами: как, схватившись за грудь, упал угонщик, и с того места, куда упал, взлетели птицы и рассыпались в разные стороны, а прямо из-под крыла падали желтые солнечные тени на лицо умирающего. Каншау опустил голову на плечо Баттала и, не боясь позора, заплакал.

Теперь за стадом шли три брата. Каншау был счастлив, что они приехали. Но осуждал Баттала за ту смуту, которую, как ему казалось, поднял в Жамауате, и был недоволен, что Жансох все время таскается с ним. И все же, почитая старшинство Баттала, он не высказывал своего неодобрения, внимательно оглядел Жансоха — веселый, смелый, всегда готов броситься первым, а куда — и не посмотрит. И опять Каншау увидел руки умирающего, быстро ищущие что-то на груди. Он повернулся к Батталу, заметил мягкий свет в его глазах.

— Ты так смотришь, словно невестка наша родила близнецов, — улыбнулся Каншау.

— Не близнецов, а все же родила, — засмеялся Жансох. — Она подарила нам племянника. Знаешь, как назвали?

— Как?

— Жашыу! В честь прадеда его назвали Жашыу. А сноха наша зовет его смешно: Жашыу. Будто другое имя.

— Пусть и Жашыу. Тоже хорошо.

— Ладно, все это к слову, — посерьезнел Баттал. — Ты жив, здоров, это главное. Ты глянь на Жансоха, настоящий революционер!

— Настоящий джигит, если он даже революционер, не таскается по горам без дела, а помогает отцу, — сухо сказал Каншау. — Сколько лет я уже батрачу здесь, а он, как ни гляну, все бездельничает. Каково нашему отцу? На Рамазана, что ли, надеяться?

Жансох смиренно слушал брата, которого всегда считал за старшего.

— Дело его сейчас важнее всех дел на свете, — сказал

Баттал спокойно. Он понял, что упрек Каншау метил в него по пословице: говорю дочке, а ты, сноха, послушай.— Сейчас в горах происходят большие события, великие перемены. И тебе ли оставаться в стороне? Карахалк Жамауата до сих пор рассказывает, как ты на свадьбе Бурундуевых осрамил биев, в честном поединке превзошел их. Теперь мы по-иному поборем их. Так, что и головы не поднимут!

— Побойся бога, Баттал,— с сердцем сказал Каншау.— Побойся бога, хоть ты и наполовину гяур! Что плохого они тебе сделали? Если в Жамауате кто и помогает бедным, так разве Айдарук...

— Ты один в коше? — спросил Жансох, стараясь по-своему помешать спору.

— Нет, со мной Эсау,— сказал Каншау, не глядя на брата.— Еще вечером пошел в аул за винтовкой.

— Мы видели его, это он сказал нам про твой бой,— кивнул Жансох.— Очень жалел, что не было другой винтовки, чуть не плакал.

— Скажи, Баттал,— повернулся к нему Каншау,— что это за люди были? Тоже бедняки? Ты о какой войне говорил?

— Нет, Каншау. Это бандиты. Мы не о такой войне говорим. Это не борьба, это грабеж. Дело совсем в другом... Нужно бороться за Советскую власть.

— И что даст Советская власть?

— Сначала даст свободу, потом — землю.

— Баттал, ты старше, мы с Жансохом ничего не понимаем, ты говоришь: свобода. Род Жандаровых — не кулы, не угнетенные, никогда ни от кого не были зависимы.

Баттал шел — прямой, напряженный, рыжеватые глаза прищурены.

— Если ты свободен, так отчего же ходишь как во сне, не видишь, что берешь и куда кладешь, отчего ты пожелтел, словно кормишься одним дымом, словно живешь там, где не ходят овцы, не варят мяса? Что за горе одолело тебя, азата, равного таубиям? — Баттал помолчал и, впившись требовательным взглядом Каншау в лицо, сказал:— Ты азиат, ты свободный, так шли сватов к Бурундуевым. Ты — первый род Жамауата, они — лишь второй. Ты не думай, что мы не знаем о твоей боли. Знаем, да помочь ничем не можем, руки наши коротки — не дотянемся, да тропинка узка — не дойдем. Я потому все это говорю, Каншау, что ты человек добрый и благодарный. Пойми, давние

связи, аталычество между Жандаровыми и Бурундуевыми, как и связи между другими родами, давно уже разрушены — память есть, да смысла нет. И заметь, Каншау, не Жандаровы оборвали молочное родство. А ты за прошедшим дождем с буркой хочешь бежать. Ты прав, твой Айдарук вроде бы и печется о народе, но ведь и он с высоты хочет обогревать народ, словно солнце, что ему стоит от шедрот своих послать щепотку своих лучей в дымные, холодные дома бедняков. Только и солнце это странное: весь свет, все тепло, все богатство оно взяло у этого же народа. Да, он добрый, Айдарук, заберет трех баранов, а потом, может, одного и вернет, он не Ерюзбек, тот возьмет трех и норовит прихватить и четвертого. Но им обоим придется вернуть всех трех. А этого им обоим не хочется. Они сделают все, чтобы остаться при своих стадах, при своих бийских выгодах. Потому в ущельях Балкарии создаются революционные отряды. И ты, Каншау, должен быть с нами.

И не столько слова Баттала убедили Каншау, хотя и в них был смысл, убедили страсть Баттала, его прямой немигающий рыжеватый взгляд, убедили в том, что случилось необратимое — хорошее оно или плохое, но случилось. Видно, ему тоже придется найти свое место в этом взбуряженном мире.

— Ты тоже погибнешь, Баттал.

— Я не боюсь этого.

— У тебя только что родился сын.

— Нехорошо.— Баттал посмотрел в глаза Каншау. «Нехорошо, что ты так говоришь»,— означали это слово и этот взгляд.

— Не дело проливать кровь, даже за свободу. Ты говоришь, что не боишься. Но если бы речь шла только о своей крови. Я уже вчера пролил кровь — и совсем этому не рад. Чужую кровь. Он тоже говорил, что за свободу.

— Ты убил грабителя. Сначала он грабил наше правое дело, украл его высокое слово, а потом с этим словом он пошел грабить людей.

— Мне-то откуда знать? Пришел и говорит: за свободу. Пришел ты и говоришь: за свободу. И я не знаю, куда я должен стрелять ради этой свободы. Ты — знаешь. И что же, каждый раз, как я подниму винтовку, ты будешь держать меня под локоть?

— Каншау,— несмело сказал Жансох,— на шаткий камень опираешься ты. Нам надо быть вместе. Оглох ты тут

в коше, ни о чем не ведаешь. Ты с чужой кровью считаешься, а Ерюзмек — только со своей...

— Ступай домой и будь дома,— перебил его Каншау.— Будь с отцом.

Прощанье было коротким и сухим. Баттал с Жансохом поехали вниз, к дороге. Каншау погнало стадо дальше.

Много передумал в этот день Каншау. Ему казалось, скалы вокруг сомкнулись, отрезали от всех дорог и тропинок, и он, как сказочный Бийнёгер, оказался заточенным среди скал: на небо взлететь — нет крыльев, в землю уйти — не хватает сил.

На следующий день приехал Айдарук. Он тоже знал все, и с ним были два его родственника, оба с винтовками. Узнав, что напали на княжеский кош, они уговорили Айдарука, чтобы он позволил им стеречь его от бандитов.

— Они пока поживут здесь,— сказал бий.— Как бы те не захотели вернуться и отомстить за товарища.

Каншау кивнул. А Эсау насмешливо оглядел двух джигитов, те решительно сжимали винтовки и с уважением поглядывали на Каншау. Сам Эсау вчера тоже вернулся из аула с ружьем.

— Не нужно ли чего еще?

— Соли нам нужно, соли,— сказал Эсау.— Я и в чегемские коши ходил. Теперь в ауле легче винтовку достать, чем соль.

— Жанмирза поехал в Бештау, привезет соли.

— Тогда и нам, и баранам нечего будет и желать.

Айдарук был еще сумрачней, чем в прошлый раз, и походил на усталого путника, завернувшего в чужой кош испить айрану; путник этот не знал дороги дальше, но и спросить не решался, то ли боялся показать свою неосведомленность, то ли не верил, что ему скажут правильно.

Он действительно лишь выпил чашку айрана и собрался уезжать. Каншау подсадил его в седло и, держась за уздечку, пошел с ним. Когда его конь ступил на дорогу, Айдарук сказал:

— Ступай обратно, Каншау, спасибо.

И тогда Каншау уткнулся головой в шею коня.

— Бий! Хочешь — убей меня... Я люблю твою дочь,— сказал он.

Он прижимался к густой гриве, и каждый волос острым ножом резал ему в лицо.

— Лишенный совести! — быстро сказал бий.

Еще сильнее вжался Каншау в режущую гриву.

— Я тебя любил, как сына,— сказал Айдарук.— А ты носил камень за пазухой.

Вместо ответа Каншау прочитал стих запомнившейся ему суры корана:

— «Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, говорящим...»

Айдарук вспылил:

— Аллах позабыл своих верных и благословил неверных.

— Ты отнимаешь жизнь у меня и Нальбике...

— Лучше бы я умер вчера!

— Я не думал оскорбить тебя...

— А что ты думал? — заговорил Айдарук, уже не владея собой.— Что думал? Родством своим прибавить Айдаруку чести? Или славы? Богатство мое думал преумножить?

Растерянный Каншау снизу смотрел на него. Такой злой отповеди он не ждал. От мягкости Айдарука не осталось и следа.

— Боюсь, что в другой раз Шабатай убьет тебя,— и Айдарук тронул коня.

— Пусть бы он убил меня тогда. Больше я не останусь в коше. Считаю, что ты рассчитался со мной. Желтогривый стоит того.

Айдарук ничего не сказал, хлестнул коня камчой.

Каншау вернулся, собрал свои пожитки, оседлал Желтогривого, попрощался с Эсау (тот, поняв все, тряхнул его за плечо), попрощался с джигитами (уважение в их глазах тут же сменилось презрением: бежит хваленый Жандар!) и, вслед князю, медленно поехал по дороге.

## VII. РАНА ИЗЛЕЧИМАЯ И РАНА НЕИЗЛЕЧИМАЯ

Босоногий мальчишка поднимался с одной плоской крыши на другую и кричал:

— На сход! На сход! Старшина Ерюзмек зовет на сход!

Крик этот спускался по горбатым дымоходам, через трещины тяжелых чинаровых дверей проникал в дома, и первыми из домов выбегали такие же, как этот маленький глашатай, босоногие мальчишки в шароварах из домотка-

ного сукна, а то и вовсе без шаровар, но в латаных шубейках. Они быстро озирались по сторонам и наперегонки мчались туда, куда глашатай созывал взрослых. Потом выходили мужчины в глубоких мохнатых шапках и женщины в толстых платках. Перекидываясь на ходу словами меж собой, окликая тех, кто еще оставался дома, деловито спускались они кривыми узкими переулками.

Скоро чуть не весь аул собрался перед управой и застыл в ожидании. Одни стояли, другие сидели, прислонившись к каменным заборам, третьи устроились на валунах, а все старики — рядами на длинных чинаровых бревнах, для этого и положенных перед правлением. Мальчишки, занявшие крыши, могли сверху видеть весь Жамауат разделенным по сословиям. Возле самой управы расположились самые родовитые и зажиточные, они и одеты были лучше, и самые богатые шапки были у них, и самые красивые кинжалы, и держались они посвободнее. Чем дальше от крыльца правления, тем беднее и забитее казались люди, и овчинные шапки порядком изношены, и на поясе висел не кинжал, а пастушеский нож в кожаных ножнах. «Корыто с веревкой: а равный с равным» — говорили в Жамауате.

Каншау впервые пришел на сход и с удивлением увидел, что единый Жамауат, который казался ему цельным, как кусок хорошей кожи, оказывается, похож на лоскутное одеяло. Князья сами по себе, уздени сами по себе, чагары сами по себе, каракиши сами по себе, а кулы устроились совсем на задах, они хорошо понимали свое положение и не осмеливались стоять по эту сторону ограды управы. Он же был азат — независимый горец, место азата оказалось недалеко от князей и узденей, но все же не рядом, межа легла четко.

Послышался цокот копыт, гул на майдане начал стихать. В сопровождении старшины Ерюзмека, Адея, Айдарука к правлению подъехал какой-то военный в высокой каракулевой шапке и белой черкеске; его сопровождали двое солдат. Спешившись, они поднялись на высокое крыльцо управы. Двое солдат встали по сторонам крыльца, держа своих коней за повод.

— Жамаат! — начал Ерюзбек. — На прошлом нашем сходе мы узнали о том, что свергли ненавистного всем нам царя. Кавказ избавился от кровавой власти гяура, теперь у нас свое правительство, которое будет править нами с кораном в руках. Сколько раз говорили мы о свободе, о

земле, о пастбищах? Теперь же Союз объединенных горцев<sup>1</sup> взял на себя заботу о нас. У кого нет земли, у того она будет. У кого нет пастбищ, сенокосных угодий — о них тоже подумает наше мусульманское правительство через свои земельные комитеты. И главное, жамаат, наша вера будет в неприкосновенности!

С разных мест послышались возгласы одобрения. Громче всех кричали старики, если и не громче, то все же старательнее.

— Но чтобы все это — наши земли, коши, мечети — было цело, мы должны защищать наш объединенный союз.

— От кого защищать? — крикнул кто-то из толпы.

Ерюзбек взгляделся в толпу и узнал в спрашивающем юного Жансоха. Баттала в толпе не было.

— От заблудших, от тех, кто с ума свихнулся, от веротступников! От таких, как ты, — твердо сказал он. — Кто они, твои большевики? Чем занимаются? Абреки. Смутьяны. Бродят где-то в России, потом, наевшись свинины, приходят к нам, и этим ртом, из которого еще воняет свиной, учат нас жить. Вот у нас самый большой большевик Баттал. Кто он? Откуда пришел? Он и балкарскую речь-то забыл! Сам гяур, жена гяур и ребенок тоже гяур!

Люди хорошо понимали, отчего так распаляется на Баттала старшина, они еще раз посмотрели на перевязанную руку старшины, потом переглянулись и подмигнули друг другу, даже бии и уздени не удержались от улыбки.

— К плохому человеку не подходи, говорят, а если подошел, то обрежь подол своего платья... Вместо того чтобы поддержать законное правительство во главе с мусульманином Шахановым, иные хотят заместо гяур-царя посадить нам на шею гяуров-большевиков. — Ерюзбек еще раз оглядел собравшихся и сглотнул слюну: — Другой бы на моем месте давно уничтожил дом Коналия, а я тут выслушиваю дурной вопрос его сына Жансоха... Ты, сукин сын, отцу задавай этот вопрос, брату своему, гяуру, который разносит по аулу дурные привычки, развращает народ. Запомни, жамаат, не все и не всегда будет прощаться Жандаровым, а тем, кто хрюкает русской свиньей, тем более!

— Сам ты свинья! — крикнул Жансох. Он, боясь отца, поднялся на ограду, чтобы сразу спрыгнуть и убежать. — Я-то не сукин сын, а вот ты — старый пес!

<sup>1</sup> Союз объединенных горцев — буржуазно-националистическое правительство на Северном Кавказе.

Коналий шагнул к нему, Жансох прыгнул с забора и убежал. Ерюзмекова жидкая бороденка еще долго дрожала.

— Большевики тоже свободу и землю обещают! — крикнули из толпы.

— Обещают! Только где она у Баттала, земля? Зато у него морда — на шести быках не вспашешь, разве ею поделиться? — подал голос Карча. Он осмелился встать возле узденей. Но, заметив, что узденям не понравилось, что он оказался среди них, да еще подает голос, как уздень, замялся, не зная, как быть, но старшина вдруг серьезно посмотрел на него и кивнул.

— Вот Карча — беднейший из бедных. А теперь кто богаче — я или он? Подойди сюда, Карча. Честный закон гор, — продолжил Ерюзбек, когда Карча встал рядом, — кто работает, голодным не бывает. И он теперь сам себе хозяин.

Каншау стоял рядом с отцом, смотрел на руку Ерюзмека. Она все еще висела на повязке. А старшина и словом не обмолвился о своем унижении. Прав Баттал — не до Ерюзмековых обид было нынче биям и узденям.

— Истиной корана звучат слова нашего почтенного старшины, — смело заговорил ободренный Карча. — Вот там Жарахмат стоит. Поставьте рядом свободу, о которой говорят большевики, и пару овец — он выберет овец. Верно я говорю, Жарахмат?

— Верно говоришь, Карча, — отозвался охрипшим голосом старик, — но где они, твои барашки?

— Кто даст нам землю, за того и мы будем, — сказал кузнец Бекболат.

— Нам хоть царь, хоть большевик, хоть Шаханов — только землю дайте! — Это сказал Шамуюк. — Все кричат «мед, мед» — а во рту не слаще.

— А зачем тебе земля, Шамуюк, ее ведь не съешь! — крикнул кто-то.

— Земля будет, — сказал Ерюзбек. — Земля наша, балкарская, значит, дать ее могут только сами балкарцы, а не царь и не большевики. Но за землю надо бороться. Сейчас повсюду идет мобилизация. От нас требуют сто всадников.

— А сто камней в лоб не хочет ваш Шаханов? — выкрикнули из толпы.

— Теперь знаем, отчего болит живот мусульманского правительства!

— Не шумите, аланы, надо думать, прежде чем говорить!

— Если это наше правительство, то надо его слушаться.

— Сначала дайте нам землю, а потом мы дадим наших джигитов.

— Да, сначала землю — потом джигитов!

Коналий, очень внимательно слушавший все речи и все выкрики, решил выяснять для себя что-то очень важное. У него два взрослых сына, и если все же решат выставить сто всадников, кому-то из двоих придется идти.

— Не осудите, потому спрашиваю, что не пойму никак, — сказал он. — Был царь — был Ерюзбек, и не было земли, теперь, говорят, мусульманское правительство — и опять Ерюзбек, а земли все нет. Был царь, брал наших джигитов на войну, теперь, говорят, Шаханов, и тоже забирает. Вот уйдут сейчас наши джигиты — против кого же они будут воевать? Вот что я хочу узнать.

Такой вопрос Ерюзбеку оказался не под силу. Он повернулся к приезжему и зашептал ему на ухо. Приезжий сразу окаменел лицом и строго посмотрел на Коналия, потом что-то сказал старшине, и тот объявил:

— Все это нам объяснит наш дорогой гость, личный посол комиссара Временного правительства атамана Караулова и большой друг и нукер Басията Шаханова, того самого, который, как я сказал, ныне возглавляет Союз объединенных горцев, Саутугирей Тетреш.

Майдан притих. Саутугирей Тетреш, высокий, средних лет, поднялся с места, поправил и без того крепко закрученные усы и, будто лишь теперь вспомнив, что положено здороваться, прижал правую руку к груди.

— Ассалом алейкум, жамаат долины Юрду!

Но жамаат вместо ответа только покашлял в разных местах.

Саутугирей Тетреш удивленно посмотрел на старшину, тот обреченно покачал головой. Кашель стал еще настойчивее, он требовал переходить к сути дела.

— Вы должны понять, — угрожающим голосом сказал тогда посол неведомого Жамауату Караулова. — Всадники нужны для сохранения единства горских племен. Это во-первых. Добровольцы нужны для укрепления сил Временного правительства. Это во-вторых. А в-третьих, и это главное, всадники нужны, чтобы продолжать войну с Германией. Отечество необходимо защищать. Вы здесь, в этой плодородной долине, беды не знаете, а враг топчет нашу

землю. Тысячи людей погибают на фронтах...— Теперь кашлянул и Саутугирей Тетреш: мол, если вам хочется узнать суть дела — пожалуйста. Он прошелся туда-сюда перед Ерюзмеком и, спустившись на две ступеньки вниз, властно поднял руку.— Законная власть, созданная самим народом, вполне может перебить хребет всем тем, кто выступит против Временного правительства и Союза объединенных горцев. И не думайте обойтись лишь всадниками. Нужно распространить заем свободы, который выпустило Временное правительство. Нужны деньги и хлеб! Отказ или даже простое нерадение нельзя рассматривать иначе как измену.

Толпа молчала. Мужчины ниже надвинули на лбы лохматые шапки, а женщины глубже спрятали лица в тяжелые платки. Сколько было забот, подходила пора сенокоса, а тут такая беда.

Каждый отец, каждая мать, у кого были взрослые сыновья, хотели бы отвести горе, что уже стучалось в их двери, но не знали, как это сделать. Когда они стекались сюда, на сход, в них жила надежда на лучшее, а теперь лишь оставалось смириться с худшим. У многих были вопросы, были сомнения, много упреков они могли бы высказать этим, сидящим за столом людям, но они еще надеялись, что им дадут землю, и потому молчали, чтобы не прогневить начальство. Потому и сыновей отдали безропотно.

— Кто зарится на чужое добро, тот идет против законов аллаха,— предупредил еще приезжий.— Если среди вас имеются люди, которым нужна земля, пусть обратятся в земкомы. Пусть купят и обрабатывают земли, которыми никто не пользуется. Того, кто нарушит эти законы, будем строго наказывать.

Здесь не знали, где эти земкомы находятся, и вообще — что это такое? В долине Юрду не было таких земель, чтобы ими не пользовались. Так что пустые слова говорил приезжий, но угроза в них была не пустая. Люди смотрели на Адея, на Айдарука, но сегодня они молчали, сами были растерянны, и вид у них был такой, словно они находились где-то не здесь.

Мужчины один за другим, пряча от жен глаза, начали подходить к столу и называть имена сыновей. Коналий тоже должен был подойти и назвать одного из своих близнецов. Он быстро глянул на сына и отвел взгляд. В глазах его были растерянность и мука. Как же ему, отцу, назвать

одного из сыновей, сделать выбор, обречь на тяготы и опасности, а возможно, и на гибель? «Отец,— шепнул Каншау,— скажи меня. Все равно мне в ауле не жить, уйду». — «Да и он уйдет, отрезанный ломоть». — «Нет, отец, я все равно уйду, скажи меня». Каншау знал: сейчас отец подойдет к столу, назовет его и отойдет униженный, полный чувства вины перед ним, Каншау, уже считая себя наполовину убийцей, потом тяжело, словно с обломком скалы на плечах, будет подниматься узким переулком домой, долгую ночь будет лежать не сомкнув глаз, слушая, как стучит капель в нише, а наутро, чуть свет, отводя взгляд, распрощается с ним и уйдет очищать свой аршин земли от скатившихся камней — чтобы не видеть, как сын верхом выедет со двора, чтобы наедине совладеть со своим горем, чтобы люди не видели его скупых осенних слез.

Саутугирей Тетреш записывал, как зовут, из какого рода джигит, которого выставляет Жамауат, у каждого отца брал подпись или отпечаток заскорузлого пальца. Он был доволен. Потом объявил, что через день все мобилизованные отправятся во Владикавказ, сопровождать их будет он сам лично.

Даже облегчение почувствовал Каншау — очень кстати выпала эта дорога. И не все ли равно — правая или неправая она? Он уедет, исчезнет — и все. Уедет от унижения, от неотступных мыслей, от тягостных встреч...

Прежде чем пуститься в дорогу, он должен был покончить с одним делом. Поначалу Каншау считал, что дел у него два. Однако после долгих ночных раздумий решил с Нальбике не встречаться. Забыть и не видеть ее никогда. Так будет лучше для них обоих. Так что дело теперь оставалось одно. Он должен был обязательно встретиться с Карчой и спросить у него, что за всадники были у него в ущелье? Как это Карча, тихий и жадный, не успев поставить свой кош, связался с бандитами, которые угоняют скот, издеваются над людьми и даже готовы убить человека? И по воле которых он, Каншау, убил человека. Не уяснив себе всего этого, он не мог уехать.

До Глухого оврага оставалось совсем немного, когда из-за скалы выехали несколько всадников. Поняв, что Каншау чужой и один, незнакомцы начали его допрашивать, а заодно и окружать.

— Ты кто?

— Каншау, сын Коналия из Кюнлюма.

— Танай, придержи-ка его за повод, я ему не верю.

— Почему не веришь, мало чести мужчине скрывать свое имя. Меня этому не учили.

— Думаешь, шапку только ты носишь?

Каншау открыл было рот, чтобы ответить и на это, как к нему вплотную подъехал один из всадников и:

— Гляди-ка, да ведь это жалчи Айдарука! Это он убил...

Он не успел договорить. Каншау хлестнул коня камчой и понесся вниз по лесистому склону. Прижавшись к гриве коня, он скакал не оглядываясь, бросая Желтогривого из стороны в сторону. Всадники почему-то не погнались за ним, а только открыли пальбу, и спина его видела каждую проносившуюся мимо пулю.

Лишь спустившись в ущелье, Каншау понял, что ранен. Сгоряча он даже не заметил этого. Но только ступил на землю, все тело пронзила боль, нога прогнулась, и он упал.

Пуля угодила ему в икру. Каншау скрутил жгут из травы, перетянул ногу повыше раны, саму же рану туго перевязал ишимла<sup>1</sup>. С трудом влез на коня и двинулся по крутому склону, к айдаруковскому кошу. По пути срубил жинжалом рябиновое ствольце и сделал палку, чтобы опереться.

— Оу-эй, жив ли ты, горец? — приветствовал его Эсау и, весьма довольный, сообщил: — А мы тут с ружьями в обнимку ходим, опять кто-то напал на стадо чегемцев, коши сожгли, а пастухов увели с собой... Оу-эй, что с твоей ногой?

— А Карча? — спросил Каншау.

— Его не тронули... Выходит, и тебя не обошли?

— Оллаха, да. Ты умеешь перевязывать?

— Перевяжем, — скромно ответил Эсау.

В глазах у молодых родственников Айдарука опять появилось уважение: все же везет этому Каншау — на днях подстрелил бандита, а сегодня и сам ранен. Как бы им хотелось вот так же, с перевязанной ногой сидя боком в седле, с рябиновой палкой в руке, через Каменный мост въехать в аул!

Зашли в кош. Эсау вскипятил воду, ловко промыл рану, прямо за кошем нарвал каких-то трав, выкопал какой-то корешок, растер его в порошок и посыпал рану, сверху положил траву, скинул свою нательную рубаху, нарвал из нее длинных лоскутов и туго перевязал. Сверху натянул шерстяные ишимла, поменял солому в чабуре и помог на-

---

<sup>1</sup> И ш и м л а — носки.

доть на ногу. Қаншау попил айрана и почувствовал себя легче.

— Мне нужно встретиться с Қарчой, — сказал он.

— Оу-эй, зачем он тебе?

— Дело есть. Спросить его хочу. — Стоя на одной ноге, Қаншау положил руку на плечо Эсау. — Хотел попрощаться с тобой. Я уезжаю. От Жамауата потребовали сто всадников.

— Куда с такой ногой?

— Все равно заберут, рана легкая.

Эсау помог ему сесть на коня. Қаншау кивнул двум молодым родственникам Айдарука — те еще крепче сжимали свои ружья и, видно, молили аллаха, чтобы научил бандитов напасть и на их кош, — и поехал к Қарче.

Увидев Қаншау у себя в коше, Қарча испугался.

— Не бойся, я тебя не трону, — сказал Қаншау. — Ты сам любого напугаешь — словно оборотень, который везде попевает.

— Ты скажешь, — мялся Қарча, не зная, звать его в кош или не звать. — Я бедный человек и никому зла не делаю.

— Жаль, сколько батрачили вместе, а я так и не постиг твоего благородства. И даже ничем не мог тебе услужить. — Қаншау слез с коня.

— Человек с человеком всегда сойдутся, — косясь на его ногу, пробормотал Қарча. — Разве сегодня знаешь, что будет завтра? Спасибо, что не забыл меня.

— Аллах, забыть тебя! Скоро имя твое будет на устах у всех! — Қаншау привязал коня к шаткой, наспех врытой коновязи.

Қарча молчал, взвешивая последние слова Қаншау — что бы они значили?

— Вот, алан, как нехорошо получилось, — Қаншау, опираясь на палку, без приглашения вошел в кош. — Четыре года пас с тобой овец и не понял, что ты за человек.

— Человек как человек... Обыкновенный. Пей айран.

— Нет, ты скажи — кто ты? — Қаншау снял со стены ружье Қарчи. — Несколько дней назад ты был вместе с бандитами, а вчера стоял рядом с Ерюзмеком... Кто ты?

— Какие бандиты? О чем ты говоришь, Қаншау?

— О том же, — и Қаншау поднял ружье. — Не хотел я тебя убивать...

Қарча побелел как творог.

— Меня запугали! Чего не сделаешь ради бедных своих овец...

— Против кого они?

— Они говорят: один бий в девяти шубах, а у девяти бедняков ни одной... Баев, биев — никого не обходят, угоняют стада.

— Ты же бай. Почему тебя не трогают?

— Все равно я из бедных. Бедняк, у которого двести овец. — Страх отпустил Карчу — видно, он все же почувствовал себя баем. — Я не ты, ради княжеского стада бедняков не убиваю.

Каншау чуть не выронил ружье из рук. От острой ли боли в ноге, от слов ли Карчи он закрыл глаза. И стоя так, с закрытыми глазами, он вспомнил, как эти защитники бедных привязывали его к коновязи, как измывались над ним...

— Вы не бедные, вы — собаки. Много я в тот день расстрелял патронов...

— Уж ты в долгу не остался.

— Одного бы хватило — на тебя.

— Я бедный, — упорствовал Карча.

— Ты бедный? Днем ты собака, а ночью волк. Ночью грабишь коши, а днем предаешь своих товарищей.

Карча снова стал бледным, он съезжился, обмяк.

— Где чегемцы? — спросил Каншау.

— Угнали вместе с отарой.

— Так вот, Карча, найдешь своих негеров и скажешь: пусть вернут чегемцев и весь скот. За них ты отвечаешь головой. Не вернуться — в ауле и Чегеме узнают все. И запомни, если с Эсау что-нибудь случится — я убью тебя. Это я всегда сумею.

Каншау повесил ружье на место и вышел. Он уже тронул поводья, когда Карчу угораздило сказать слова, которые привели его к самому большому позору, какого он никогда не испытывал.

— Слышал, Айдарук отказался отдать тебе дочь?

Снова острая боль прошла по ноге, Каншау закрыл глаза и тронул коня. Но Карча на этом не успокоился, так и ломился к своему позору.

— Позволь, теперь я попытаю счастье. Ты не обижайся — я богатый, хоть богатство мне роду и не прибавило. Думаю на днях послать сватов...

— Подними хвост коня.

Карча, шагнув, застыл на месте.

— Подними, собачий сын!

У Карчи вспотел лоб. Он приподнял хвост Желтогри-  
вого.

— Теперь поцелуй его в зад.

Карча отпустил хвост коня и побежал в кош за ружьем.

— Остановись! — крикнул Каншау, снимая с седла свое  
ружье. Карча замер спиной к нему.

— Вернись.

Карча вернулся.

— Подними хвост, подай мне, он тебе мешает.

Карча поднял, подал.

— Целуй.

Карча поцеловал.

— Теперь посылай сватов.

Каншау вернулся лишь под вечер. В доме было тихо,  
темно. Он вошел и увидел, что отец, мать и Жансох сидят  
возле потухшего очага, не было лишь Рамазана.

— Все обошлось, — сказал он на причитания Кундуз. —  
Эти из тех, с которыми я уже встречался. Так, чуть заде-  
ло. Жаль только, перед дорогой. Не надо, не трогай, Эсау  
сделал все как надо.

— Бедное дитя, как же я отпущу тебя в дорогу! Нам  
ни от кого ничего не надо, что же нас-то никто в покое не  
оставит!

Коналий молчал. С тех пор как он в знак того, что от-  
дает сына, приложил палец, от него еще не услышали ни  
одного слова. Но теперь он не выдержал:

— Пусть идет Жансох. Как ты пойдешь? С простре-  
ленной ногой? Пусть идет Жансох.

— Жансох горячий. Будет зря свою храбрость выстав-  
лять — и погибнет!

— Почему? — возмутился Жансох. — Где ты видел, что-  
бы я... Это таким, как ты, нерасторопным, нечего делать  
на войне! — Он подошел сзади и положил руки на плечи  
Каншау. — Ты будешь стоять и жалеть, а тот тебя и при-  
кончит, — и чуть ли не в слезах повернулся к отцу: — Отец,  
нельзя его отпускать, убьют его!

— О чем ты говоришь, Жансох! — с упреком сказал  
Каншау. — Жанмирза с японской войны вернулся — вон от-  
куда! Вернись и я.

— Ты гибели ищешь, я знаю.

— Ты слишком горяч, Жансох. Там нужен холодный  
ум.

— Конечно, у тебя сердце каменное, — язвительно ска-

зал Жансох. — И у тебя такой холодный ум, что... Ну ладно, коли так, никому не надо идти, — повернулся он к отцу. — Ни мне, ни Каншау. Ясно, против кого посылают — против таких же бедняков, как мы сами. Уедем сегодня же ночью, Баттал...

— Помолчи, — оборвал его Каншау. — Ты уже давно своей головой не думаешь. Мать споткнется, говорит: аллах, а ты споткнешься, говоришь: Баттал. Будь дома, будь опорой отцу и матери. Сенокос, страда — все будет на тебе. Отец, ты дал слово, его надо держать.

Жансох в сердцах ударил кулаком о перекладину, державшую плетень дымохода над очагом, и вышел.

Кундуз краем черного платка вытерла глаза, ниже нагнула на исхудалое лицо. Не она одна плакала сейчас в Жамауате — сто матерей заливались слезами, и сто коней чуяли дальнюю дорогу и радовались, что кормят их в этот вечер овсом и ячменем.

С двумя ранами уезжал Каншау из аула — тяжелой тайной раной в сердце и явной, полегче, на ноге. Вторую обещали залечить быстро.

## VIII. КОРОТКИЕ СЛОВА ПЕСНИ

Так вот она какая, эта жизнь! Счастье и позор в ней ходят рядом. А счастье Нальбике было и ее позором, теперь об этом знала она сама и знали все. Знали и осуждали: не было в горах такого бесстыдства, чтобы бийче влюблялась в батрака. И понадобилась эта свадьба, эти скачки, а потом этот танец, чтобы она поняла это.

Не было часа, чтобы Нальбике не думала о Каншау и не замирала от страха. За себя она не боялась, она была надежно укрыта, пока стоял этот большой дом под черепичной крышей, под осиротевшим полумесяцем, к тому же горцы не мстят женщине. Но обида, а может, и гибель грозила Каншау. Враги могли выместить злобу на нем. Не было у Каншау надежной защиты, не было и большого дома под черепичной крышей.

Иногда ей удавалось отогнать этот грызущий сердце страх, и она перебирала счастливые свои минуты — те, когда она девочкой ругалась с ненавистным подростком, таким здоровым и глупым; те, когда она, уже первая неве-

ста аула, смотрела на скачки и тот, кого выбрало ее сердце, пришел первым... В груди ее была крепкая кубышка, и, как последняя скряга, она складывала туда все — каждую его улыбку, каждое слово, каждый уворованный взгляд — ничего не терялось. Однажды она с подругами пошла собирать дикий укроп и невзначай увидела его. Он даже не заметил их, прошел мимо. Но походка его, задумчивый вид, тоскливый (она видела!) взгляд прибавили благодатной тяжести заветной кубышке. И прекрасные, нетускнеющие, лучшей чеканки дни — когда им, хотя бы украдкой, удавалось свидеться, и все, что было написано в сердце Қаншау, Нальбике читала с лица: тоже любит, тоже страдает, тоже не спит ночами, тоже счастлив и тоже несчастен.

Узнав о том, что Қаншау был в ауле и не попытался встретиться с ней, Нальбике была уязвлена до самого сердца. Обещала себе забыть и не думать о нем, не травить душу. Пусть он найдет такую, чтобы против них не ощерился весь мир, пусть женится... Так твердила она себе, но в душе по-прежнему была с Қаншау.

В тот страшный час, когда единственный брат бил ее, как бьют осла, Нальбике сказала себе: не подчинюсь, не поддамся его воле. На каждый его удар она отвечала про себя: нет, нет, нет. И тогда же решила: буду жить, лишь пока будет жив Қаншау.

Много чего загадывала Нальбике... На что надеялась? На доброе сердце отца? Только он, вопреки всем обычаям, забыв о превосходстве рода, мог бы соединить их. Видела же она, как иной раз бийская спесь тянула отца на несправедное, но он одолевал самолюбие и оставался человеком, ведь он очень любил дочь.

Однажды он вошел в комнату дочери. Увидел, как печальна она и, обняв ее, сказал:

— Одного я хочу, твоего счастья!

Она усмехнулась там, в глубине своих дум, и сама не заметила этого, но приметливый Айдарук понял, что про себя она смеется над отцом, и вспыхнул от гнева.

— У тебя нет совести! — сказал он. — Пустое сердце, никого не уважаешь, ни отца, ни матери.

Нальбике заплакала.

— Лучше бы я умер! — с горечью сказал Айдарук.

— Лучше бы у вас не было дочери. Уйду из дому, и всем будет легче.

— А мы — что? Я, твой брат...

— У меня давно нет брата.

— Нальбике, что ты говоришь!

— Нет у меня брата. Нет у меня здесь никого.

— Мой дом был лучшим во всех пяти обществах... Чем я провинился перед аллахом и людьми? — Горячий вздох Нальбике коснулся щеки Айдарука, и гнев сошел с него, он тихо повторил: — Перед аллахом и людьми...

— Прости меня, отец... обидела я тебя... свихнулась твоя дочь.

— Все рушится, Нальбике, все рушится, позор входит в мой дом. Я ведь бий, наш род самый древний... Заветы отцов на мне, и самый первый — хранить чистоту рода. Род никогда не простит нам этого... Скажи, Нальбике, не у кого больше спросить об этом... Как быть?

— Разве я тебе советчица? — сказала Нальбике. — Лучше всего, если бы у тебя не было дочери. Хотя... тогда, наверное, нашлось бы что-нибудь другое, и тебе снова пришлось бы защищать заветы отцов.

Айдарук ушел. Нальбике, оставшись одна, стала думать над словами отца. Чистота рода? Но чем Каншау хуже Шабатага — разве лицом, ростом, умом, достоинством не вышел? А она сама? Уж так ли далеко ушла от аульских девушек? Ах, лучше одета, чище телом? Так это богатство и привычки бийче. И то вековуха Азинат, дочь Бекболата, уж всем, говорят, чистюлям чистюля, даже веретено через платочек берет. Нет, Нальбике не нашла оправдания своему отцу.

«Убежать с Каншау, и все!» — решила она.

В день, когда отправляли всадников, Нальбике сумела подойти к Каншау и шепнуть: «Я знаю, ты говорил с отцом». Она ждала. Он мужчина, пусть скажет, пусть сделает что-нибудь. «Без тебя нет жизни», — сказал он. И все?! «У тебя есть конь», — подсказала она. И пока он думал, что значат эти слова, его окликнул Тетреш, камчой показал его место в строю, и на том разговор кончился.

Почему после отказа Каншау не пытался встретиться с ней? И даже не попрощался? Тысячи вопросов — хоть бы на один кто ответил.

Он уехал, ночами она распахивала окно и вслушивалась. Иногда ясно, совсем рядом, слышала переступ коня и его шаги. Порой он звал ее, голос прорывался сквозь галочий гомон над деревьями — и Нальбике возненавидела крикливых птиц, своим гвалтом они мешали разобрать, что говорит ей Каншау. Наступал день, она бродила по дому,

выискивая дело, уходила в аул, жадно ловила тамошние разговоры. Кто-то поджег чей-то дом, кто-то где-то погиб, кто-то на ком-то женился. Все это было скучно, и Нальбике ничего не запоминала. О тех же, кто ушел на войну, не было никаких вестей — канули, словно камень на дно.

Она была бийче и плохо знала, как живет карахалк, но они уважали ее. За что же? За то, что она отдала свое сердце парню из народа и уже столько лет была ему верна — кто теперь в Жамауате не знал этой печальной истории? И не только в Жамауате. Аул лежал в речной долине, а реки — самые быстрые разносчицы сердечных тайн. При встрече аульские девушки не отрывали глаз от княжны; Каншау считался счастливым джигитом — ему завидовали, хотя знали, что ничего из этого не выйдет, кроме унижения и позора.

Дни шли. Нальбике забилась в свое одиночество, как испуганное дитя забивается в угол. Она избегала встреч с домашними, те, казалось ей, тоже сторонятся ее. Одной было легче, с ними она чувствовала себя еще более одинокой. Ничего уже не оставалось для нее в отцовском доме, кроме тоски.

Так прошли осень и зима, а к весне долина реки Юрду всколыхнулась еще сильнее, и дом князей Бурундуевых остался без работников и служанок. Теперь его обитателям, как и большинству людей на свете, пришлось думать о хлебе насущном. Удручены были все, но все, кроме отца, думали, что это лишь на время. Айдарук же понял, что прежняя жизнь уже не вернется. Нальбике же без всякого уныния взяла на свои тоненькие плечи тяжелое коромысло и пошла к роднику Жандара. Сначала она, боясь оскверниться, набирала неполные ведра, но раз от разу смелела и уже без страха наполнила ведра до самых краев.

Она ближе сошлась с женщинами из карахалка, с восхищавшимися ею девушками; уж так они восхищались, так восхищались, а когда уходила от родника, то казалось, даже ведра их в восхищении оглядываются на нее.

Однажды она услышала разговор женщин о том, что из этого родника берет воду русская женщина. Особенно возмущались две — одетые лучше других и, как видно, больше других и набожные. Нальбике замечала, что и на нее они поглядывают с презрением.

— Ее ведра оскверняют наш родник! — кричала одна.

— Теперь эта вода осквернит наши казаны и кумганы, — подхватывала другая.

— И мы, правоверные женщины Жамауата, позволяем это! — заходила первая.

— А ведь сколько раз в день совершаем мы омовение водой этого родника — моем руки, ноги и, да простит аллах, смываем грехи свои... — опускала глаза вторая.

— Стоим и смотрим, как сатана макает пальцы в нашу священную воду! — начинала сызнова первая.

И здесь, у родника, в страхе за святость своих кумганов женщины решили то, чего не могли решить мужчины Жамауата за долгие месяцы борьбы с Батталом.

Нальбике слышала разговор, но значения ему не придавала, лишь подумала: не ее ведра, а ваши слюни оскверняют родник, меньше бы слюней брызгали. Но стало любопытно: какая она, русская? Уже утром следующего дня она поняла, что не впустую злобствовали две праведницы. Еще издали она заметила, что несколько женщин как-то странно суетятся у родника. Бежать она постеснялась — не принято женщине бежать, но сердце забилося сильней. Подойдя ближе, она поняла, что женщины бьют кого-то: кто кулаками, кто коромыслом, кто ведром... Распростертая на земле жертва не кричала, не звала на помощь. Нальбике вспомнила вчерашний разговор и, забыв о приличии, побежала.

— Нечисть! Джинны вы! Черные джинны! — кричала она.

Попыталась оттащить женщину, вцепившуюся в волосы Нины, но не сумела. Тогда сама в ярости вцепилась ей в волосы, стала тянуть, отгибать ее голову назад. Та, не видя, кто ее тянет, выругалась, резко ударила локтем, попала в живот. Нальбике упала, распаленная женщина обернулась, но, увидев, что ударила княжну, растерялась, отпустила русскую. Нальбике встала, стряхнула с платья пыль, хотела выругаться как-нибудь покрепче, но не смогла — перехватило дыхание, и она, то ли от бессилия, то ли от стыда, заплакала. Женщины, уже излившие свое негодование, отпустили русскую. Растерянные, виноватые, они встали в сторонке. Было что-то странное, пугающее в том, что плакала не побитая, не униженная ими женщина, а княжна, дочь почитаемого всеми человека. Тогда они с укоризной поглядели друг на друга, засуетились, и каждая стала спешно подыскивать себе оправдание, чтобы отмежеваться от других.

Нина с трудом поднялась на ноги. Избитая, в разодранном платье, лицо в ссадинах и наливающихся уже крово-

подтеках, она стояла и смотрела на женщин, но не с ненавистью, а как-то даже с жалостью, а те застыли, каждая на своем месте, отдельно от другой, словно грянула божья кара, застигла каждую на своем месте и превратила в черный камень; она же стояла нежданно явившейся богиней и решала, куда склонить свой божественный лик — низвергнуть их, лишить прохлады родника, света солнца, этой радости жить — за гордыню, за измену извечному женскому заступничеству, за то, что женщина, однажды родившая ребенка, подняла руку на другую, испытавшую те же муки, или простить их, простить, помня, что творят они это в темноте своей, в животном своем неведении.

— Стыдно как! Ой аллах, как стыдно! — закрыла лицо Нальбике.

Нина подошла к ней, с трудом сказала по-балкарски: — Они не виноваты... Виновата темнота...

Нальбике еще не поняла смысла этих слов, но ее поразило спокойствие этой женщины и то, как она сказала эти слова — ни обиды, ни жажды мести, что-то горькое, материнское... Так говорит мать, когда дети совершат что-то дурное: дети еще не осознали тяжести содеянного ими, мать же увидела, поняла и озабочена не тем, как скоро и сурово наказать их, а тем, как вывести их из этого неведения. Еще не зная ее имени, ее судьбы, не зная о ней ничего, кроме ходивших по аулу слухов, Нальбике почувствовала глубокое уважение к ней; вот чего, подумала она, не хватает ей самой — этой спокойной веры в себя. И, чувствуя, как слезы, стыд и восхищение разом ожгли ее лицо, она вдруг обняла Нину, крепко прижалась к ней и сказала:

— Не осуждайте нас... Аллаха ради, не осуждайте нас!

Женщины, уже успокоившиеся и осмелевшие, вновь загалдели:

— Еще извинения у нее просит...

— Оу, оу, неверную обнимает княжна...

— Какое осквернение... какое...

— Пусть не приходит сюда! — с угрозой сказала одна.

Нальбике, оттолкнув от себя Нину, схватила камень и швырнула в эту женщину. Лицо ее при этом дернулось так, словно вместе с камнем она бросила и всю свою ярость в негодование.

— Княжна, не то время, чтобы вы били нас, — сказала та, успев вернуться от камня. — Настает наш черед бить!

Нальбике изумленно уставилась на нее. Не просто жен-

шина, разгневанная на другую за то, что она не одной с ней веры, стояла перед ней, а враг, который в злобе и ненависти своей готов был растерзать заодно с русской и ее.

И Нальбике еще не осознала, но почувствовала что-то похожее на чувство единения с этой гордой русской женщиной — единения с непокорными и сильными.

## IX. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Верхом на своем Желтогривом Каншау, исхудавший, обросший, истосковавшийся, поднимался по крутому склону горы Кулемен. Был конец зимы. Уже месяц он находился в пути, ехал скрываясь от людей, воруя сено из крестьянских стогов для Желтогривого, сам кормился рисом, который прихватил с кухни, когда бежал из сотни, тем и был сыт. Сейчас он перевалит гору Кулемен, спустится по северному ее склону и войдет в долину Юрду. Ему повезло, можно сказать, сумел пройти по мосту Сират<sup>1</sup>. Здесь его уже защитит каждое дерево, каждый природорожный камень. Северный склон горы Кулемен с еле заметными турьими тропами полого выходил к плоским скалам, казавшимся тайными ступеньками в подземный мир. Здесь начиналось ущелье Юрду — родное его ущелье. «Есть ли здесь место, хоть бы в ладонь, где не ступала моя нога? — подумал Каншау. — Наверное, нет».

На вершине он спешился и, держа коня в поводу, стал спускаться вниз, туда, где вдоль реки мертвой змеей вытянулась узкая древняя дорога с разрушенными защитными стенами, следами арб и тенями от скал, она то исчезала меж камней, то вновь поблескивала по самому краю обрыва. У дороги тоже была своя история и своя судьба. Сколько раз, тогда еще, когда в мире не было никакой распри (так казалось Каншау), скакал он по ней, и камни, и даже тени их были неизменны, и так, думал он, будет всегда. Сейчас же, выйдя на дорогу, он подумал, что в мире, где бушуют распри, и камни не вечны, и тень от скалы может измениться в любой день. Разрушатся скалы, и тени лягут по-иному, а то исчезнут совсем; камни раскрошатся в щебень, и дорога умрет, растерзанная жестоким потоком.

---

<sup>1</sup> Сират — мост над адом.

Каншау бежал из кавалерийской сотни, стоявшей на Украине.

...Летом, когда сто джигитов из Жамауата прибыли во Владикавказ, их сразу раскидали по набранным на Северном Кавказе полкам «дикой дивизии», в рядах которой им предстояло спасти отечество. После недолгого лечения Каншау тоже определили в кавалерийскую сотню и отправили на фронт.

Непонятная эта была война, впрочем, наверное, как и любая война. В бой шли со страхом, из боя возвращались угрюмые, опустошенные, даже если сражение оказывалось выигранным. Иные попросту исчезали из сотни, и их объявляли дезертирами, врагами родины. Мир был разорван надвое, и также надвое разорвана была страна, и даже в их сотне был раскол. Солдаты ходили мрачные, командиры пьянствовали. Высоким словам, которыми их потчевали офицеры, солдаты не верили, впрочем, не верили им и сами офицеры.

А глубокой осенью пришла весть: в Петрограде произошла новая революция, власть взяли большевики во главе с Лениным. Теперь уже почти не воевали. Их полк стоял под Киевом, днем и ночью в гарнизоне шли митинги. «Защищать родину? Драться с большевиками?» Но разве это одно и то же? Крестьянским своим умом Каншау наконец вывел: у каждого честного человека есть родина, и каждый честный человек должен ее защищать. Это ясно. Не ясно было другое — от кого защищать? От Баттала? А по нему, так лучше бы спасать от Ерюзмека. А может, и от Айдарука? И это был самый трудный вопрос. Ответа на него здесь, в сотне, Каншау найти не мог. Ответ, полагал он, был дома. И однажды ночью, будучи в патруле, он отделился от товарищей, вернулся к казарме, взял припрятанные полмешка риса и полмешка овса и направился на юго-восток — домой.

Ответа не было и дома.

Казалось, события бурлят и клокочут там, в низинах. Здесь же люди лишь бессмысленно сбивались в кучи и о чем-то допытывались друг у друга, одни собирались на «окоянным подворье» возле дома Баттала, другие на майдане, третьи в мечети. Каждая кучка держалась особняком, люди недобро косились друг на друга. Вернувшись в аул из очередной поездки в слободку Нальчик, а может быть, откуда-то и подальше, Баттал говорил о каких-то съездах, декретах, об опасности гражданской войны, но

все это было совершенно непонятно, люди хотели знать одно: кто теперь хозяин — князя или карахалк? Айдарук безвылазно сидел дома, Ерюзбек вдруг стал ходить с палкой, а Заммай с Шабатаем исчезли из аула. Адей распустил учеников и тоже нигде не появлялся, однако люди видели, как растерян всегда собранный, сдержанный эфенди. Лишь один Бекболат знал, что Адей собирается ехать в Стамбул искать пропавшего сына — от Алихана уже год не было вестей.

В Жамауате стало известно, что Баттал собирает отряд. Жансох неотлучно был с ним. А Қаншау вдруг весь ушел в коран и целыми днями сидел у окошка, уткнувшись в отсыревшие листы. Қоналий был недоволен поведением Жансоха, постоянно ворчал на него, а Рамазан, видя недовольство отца и тревогу матери, днем ли, ночью бежал на дорогу встречать Жансоха и, дождавшись до самого дома вел за повод его коня. Потом Жансох исчез совсем, исчез и Баттал, вместе с ними исчезли из аула несколько джигитов.

Қаншау сидел за кораном, Рамазан ездил на ишачках за дровами, Қундуз пряла, Қоналий молился и просил бога, чтобы так же капала вода в нише, сыновья были дома и не лишились бы они хлеба.

Қаншау молчал, он хорошо видел, что желание отца несбыточно. И ноющая, ни на минуту не отпускающая тревога матери заставляла его снова опускать глаза и водить взглядом по долгим строчкам корана. Несчастные они, отец и мать, не понимают, что взрослых сыновей в такое время дома удержать нельзя.

Ночью Қундуз просыпалась и плакала: в ее думах первая же пуля, пущенная врагом, находила Жансоха. Она подходила к спящему Қаншау, вглядывалась в его лицо. Два брата, два близнеца, — одно лицо, один рост, одна стать, но никто никогда не путал их. Но все считали Қаншау старшим — по уму, по выдержке, а для Қундуз он был, как и был, младшим — намного, почти как Рамазан. Те полчаса, что прошли от рождения старшего близнеца, и до того, как она в муках родила второго, казались ей годами, в которые она успела осознать старшего уже отделившимся от ее плоти, уже человеком, а второго в эти полчаса она заново зачала, выходила и он долго еще был ее частью, а старший уже жил, набирался жизни, пока второй все еще был ею; второго она отдала через целую жизнь после первого. Но она вспоминала, что и Жансох-

то лишь на полчаса старше Каншау, всего-то на полчаса, и от сознания своей несправедливости к нему еще больше соли становилось в ее слезах.

Однажды Каншау прошел по аулу. Ни белых, ни красных сейчас не было. Тяжелая, давящая тишина поразила его; что ни говори, Жамауат был шумным, говорливым аулом, здесь любили и высмеять, и подшутить друг над другом, даже на похоронах находили повод посмеяться в кулак. Сейчас же аул натягивал на себя тишину, как человек в ознобе натягивает на себя тулуп. Редкие на улицах жамауатчане приветствовали его, но и саламы эти были глухи и поспешны, совсем не походили на громкие размашистые приветствия, обычные у горцев. Уж не оглох ли Каншау в полугодовом своем странствии по фронтам? К исходу дня Каншау понял, отчего эта тишина. Не от страха перед входящей в долину войной.

В этих краях бывали беды и пострашнее войны. Коли война — так войей, тут все ясно. Но когда нападал *ёлет* — холера или чума, — человек становился беззащитен. Но и в месяцы холеры не было такого испуганного молчания. Говорят, что люди, уже обреченные и потому заживо легшие в могилу, в своих просторных каменных склепах пели песни. Холера неотвратима, так что и думать не о чем, оставалось лишь мужественно встретить ее. Порою это легче, чем размышлять. И каждый, уже сотрясаясь от первой боли, думал не о смерти, а о своих близких. Они, легшие заживо, боялись, что здоровые, те, что наверху, вдруг проявят слабость, малодушие, бросятся им на помощь, а это — гибель роду, племени, аулу Жамауат. Оттого не проклятия выкрикивали они, а пели, о любви пели, о надежде.

Теперь была тишина. Хотя противостояние насилию зрело веками, но пришло время — и люди растерялись. Одно дело — мечтать, говорить о справедливости и равенстве, и совсем другое — держать в руках оружие и поднять его не против чужеземного захватчика, не против пришельца-насильника, а против того, кто жил рядом, из одного с тобой родника пил воду, а то и находился в кровном или молочном с тобой родстве... И если бы мысли были такими же громкими, как голос, то не давящая тишина, а тяжелый гул, будто сдвинулся ледник, покрыл бы Жамауат. Вот что понял Каншау.

Он седлал Желтогривого, ехал к реке, жеребец пасся, выщипывая пробившуюся уже траву, а он, лежа на холодной еще земле, подолгу глядел в сторону большого дома

князя Айдарука. Он не дал ей знать о своем возвращении. Зачем? Пришло время отмежеваться от ее мира, и если он оставит ее в сердце, будет как разрубленная пополам змея — ни жизнь, ни смерть. Порою из высоких труб княжеского дома шел прозрачный дым, но двор всегда был безлюден. Все же, перед тем как решиться, им овладело нестерпимое желание увидеть ее — издали, может, в последний раз. Подходил Желтогривый, устремлял на него свои влажные глаза, мотал головой и, чуя, что хозяину плохо, теребил бархатными губами его отросшую бороду. Каншау, как в тот давний день, в минуту унижения перед скачками, прижимал горячее лицо к его холодной, пахнувшей ветром шее.

Все же хорошо получилось, думал он, что судьба забросила его на фронт. Там он увидел наконец, какая пропасть зияла все эти годы между князьями Бурундуевыми и азатами Жандаровыми. Вроде он по справедливости жил, Айдарук. Но и красивые назидания таубия, и добрые его поступки в конечном счете не вязались с чем-то главным — с самой жизнью, которой жили тут они все, весь Жамауат. Каншау хорошо помнил, как в год, когда началась германская война, приходил к ним Айдарук, он тогда показался ему не просто человеком, а пророком, и слова его были полны мудрости и житейского опыта.

Умно рассуждал князь, умно, все кажется правдой, и не малый нужен ум оспорить его. Но откуда набраться ума, как его нажить, в каких Бахчисараях купить, если человеку даже головы поднять, спину разогнуть некогда? Если его доля — рубить дрова и пасти скот? Хоть в Дагестан его отправь, но и там ему в руки дадут не книгу, а все тот же пастуший посох. Не зря сказано, кто живет со скотом — скотом и становится. Нет, назидания Айдарука и его справедливость были удобны и выгодны ему самому, но истерлась, износилась его мудрость и для Каншау уже не годилась.

Там, в кавалерийской сотне, он вспоминал слова Баттала, и от стыда горело лицо. Баттал, вот кто видел все расставленные на таких, как он, легковверных силки — такие тонкие, так хитро сплетенные и так хорошо спрятанные, что Каншау, запутавшись в них, спотыкался на каждом шагу и кружился на месте. И весь народ бился в этих силках! Баттал видел это, пытался раскрыть людям глаза. И за это не любили его в Жамауате многие. Наводчик силков — за то, что он указывал на его снасти; схвачен-

ный в силки — за то, что он указывал на его унижение. Они были готовы сжечь его, как их прадеды когда-то сожгли его прадеда. «Проснитесь! — говорил он карахалку. — Весь мир поднялся, а мы забились в свои ущелья и спим. Оглушенные гудением скал, водопадов, бляением чужого скота, мы давно забыли, что мы люди». И в земле Баттал видел не одну лишь пашню и сенокосные угодья. «Земля — сила и имя народа!» — говорил он. Теперь Каншау понимал, что если есть на свете справедливые слова, то они должны быть такими.

Каншау уже собирался в путь, в отряд, но к твердому решению все еще не пришел. Прощаясь с родителями, он старался быть веселым, обещал вернуться с Жансохом. Но взгляд его бегал, выдавая смятение. О смерти он не думал — даже в голову не приходило, что он или Жансох могут умереть, но в душе была тоска, и он прятал глаза от матери.

За олицей он крепко обнял провожавшего его Рамазана, и голос его дрогнул: «Никогда... Что бы ни случилось... не поступайся своей целью. Не я, а ты будешь перестраивать жизнь. Ты!»

И эти слова брата Рамазан запомнил навсегда.

Он ехал по белой каменистой дороге, ведущей в Карачай, и вспоминал, как однажды она зазвенела и три всадника показались на ней. Он глянул на отвесную серую скалу, нависающую над аулом, — Нальбике не появилась. «Тем лучше, — подумал Каншау. — И она решила забыть». Желая быстрее проехать эти места, он перевел коня на махистую рысь. Говорили, что отряд Баттала находится где-то в верховьях реки Малки. Путь предстоял дальний. К полудню он въехал в глубокий, заросший лесом овраг. Нужно было дать отдых коню и самому напиться воды. Каншау вошел в узкое ущелье, спешился, завел Желтогривого в пещеру, снял удила и подвязал торбу с овсом. Только он вышел из пещеры, его окликнули. Два всадника с винтовками поперек седел с кручи смотрели на него. Каншау попятился назад и тоже взял в руки ружье. Всадники, держа его под прицелом, спустились вниз, сначала один, потом другой. Один из них махнул рукой: выходи.

— Я человек мирный, — сказал Каншау, выходя им навстречу. Он не заметил вражды в их лицах, да и он, по видимому, не показался им опасным, а что с ружьем, так теперь никто без ружья не ходит, не прошлый год. — Дол-

го блуждал по горам и степям, — сказал Каншау просто, словно знакомым. — Еще не знаю, кто вы, но вижу, простые люди. Я ищу своего брата... — он чуть не сказал «Баттала», но удержался, — Жансоха, пропал, дурачок, отец беспокоится. — Те переглянулись, и Каншау сказал: — Может, вы не те, за кого я вас принимаю, и гублю себя по глупости.

Те молчали, все так же держа винтовки наготове. Каншау узнал одного из них:

— Ако, это ты?

— Далеко путь держишь, Каншау? — сразу оживился тот. — Если Жансоха ищешь, считай, наполовину нашел.

— Брат Жансоха? — спросил другой. Его Каншау не знал, он был не из Жамауата. — Пошли, джигиты, обрадуем Жансоха. Ты, значит, из пары с ним? Похож, — он еще не видел братьев рядом и не знал, что братья похожи, как правая рукавица похожа на левую.

Каншау вывел коня, и они отправились туда, где находился красный отряд из Жамауата.

Баттал, только что вернувшийся из дальней поездки, спал. Каншау не стал будить его, пошел искать брата. Жансох мыл своего Вороного на берегу маленького темного озера. Увидев Каншау, он даже попятился от неожиданности, а потом, отбросив чесалку, побежал ему навстречу.

— Ты только посмотри! Ты только посмотри! — кричал он на ходу.

Долго держал Каншау брата в своих объятиях. Как изменился Жансох за какие-то две недели! Усы стали жестче, лицо посмуглело и вытянулось, взгляд спокойный и смелый — одно слово, партизан! Когда же прошел первый жар встречи, Жансох спросил:

— Ну, Баттала видел? — И вздохнул: — Хвала аллаху, теперь мы вместе!

«Так тому и быть!» — подумал Каншау. Выходит, не он брата уведет, а брат оставит его здесь. И, чтобы перевести разговор, сказал:

— Каков Вороной-то! Словно еще подрост!

— Не отстанет от Желтогривого, — похвастался Жансох, переводя влюбленный взгляд на коня.

— Ну, это еще посмотрим, — сказал Каншау.

— Хоть сейчас! — загорелся Жансох.

Нет, все тот же Жансох! Горячий, нетерпеливый. Но и тверже, острее, упрямей. Как он злился, когда Каншау уважительно говорил о князьях, как вспыхивал, но, почи-

тая брата, сдерживал свой гнев. И Қаншау понял, как много упустил, сидя годами в Глухом овраге. Он думал и думал, но так бы ничего и не понял, если бы не побывал на войне. Здесь, у озера, глядя в доброе решительное лицо брата, Қаншау словно прозрел: как, должно быть, оскорбляла Жансоха неприязнь Бурундуевых к его брату, как он переживал его унижение! Он-то ведь не испытывал той любви, что горела в нем, в Қаншау, и она не могла смягчить чувства обиды. И Қаншау, волнуясь, бросал камешки в озеро; ему хотелось сказать Жансоху, что он излечился от той боли, забыл княжну из рода Бурундуевых, пусть он не переживает. Но он представил Нальбике и лишь мотнул головой.

Тут сзади кто-то обнял его и, сильно прижав к себе, оторвал от земли. Қаншау удивленно посмотрел на Жансоха, но тот лишь улыбался. Он силился обернуться, разжать объятия, заглянуть в лицо, но обнимавший уводил головой и не давал узнать себя. Наконец тот поставил его на землю и встал перед ним как бы напоказ: вот он я, погляди, каков! Қаншау, узнав его, растерялся.

— Кочар?

— Он самый.

Много лет Қаншау не встречал его, пожалуй со своего отъезда в Дагестан. Когда он вернулся, Кочар уже батрачил где-то в Кабарде. Выглядел он старше своих лет, все тот же крепко сжатый рот и глаза с горячечным блеском, на нем была потертая кожаная куртка, туго перетянутая ремнями, и картуз, как у Баттала, на боку висела сабля — все это выглядело странновато, но придавало ему важность и особый настрой. Кочар отпустил усы и, как видно, тщательно за ними ухаживал.

— Где ты пропадад, Кочар, столько лет тебя не было в ауле?

— Это ты пропадад. А я в коше не отсиживался. Революцию готовить — не княжеских овец пасти! Хорошо, что и ты кое-что понял. Будем теперь вместе бороться за хорошую жизнь, — сказал Кочар и деловито похлопал Қаншау по плечу.

И еще одна встреча — и вовсе неожиданная, с Алиханом, сыном Адея-эфенди. Оказывается, Алихан вернулся в Жамауат еще весной, но, боясь, что отец запретит ему присоединиться к отряду Баттала, скрывался у друзей.

Он уже завершил учебу в Стамбуле и готовился уехать

домой, когда встретил археологическую экспедицию, отправляющуюся на раскопки в Сирию, в Гелиополь. Алихан загорелся мечтой побывать в сказочной стране и нанялся к ним рабочим. Встреча эта оказалась удачной. Через пару месяцев Алихан уже прилично объяснялся по-французски, руководитель экспедиции, француз, полюбил сметливого, любознательного и работающего парня, приглашал его в Париж, в свой институт. Алихан понимал, что второго такого случая в жизни не будет, удача, какая может только присниться во сне. Но надо было возвращаться домой. Он понимал, как беспокоятся дома, какую боль он причинил своим исчезновением отцу и матери.

Но и распроставшись с экспедицией, он не сразу поехал домой. Он побывал в Багдаде и Басре, совершил хадж в Мекку, семь раз обошел Каабу, поцеловал черный камень, распластавшись на раскаленных камнях пил воду из родника Земзем. А однажды от раннего утра до полуденного намаза бегал между холмами Сафа и Марва — как бегала однажды несчастная мать, когда ее младенец плакал от жажды, а в окрестностях, кроме пылающих от солнца камней, ничего не было, — то была Хаджар, жена пророка Ибрагима, изгнанная из дома вместе с младенцем Исмаилом; палило солнце, мальчик плакал от жажды, а мать в отчаянии бегала между холмами в поисках воды. И вот теперь он здесь, в этих баснословных местах. Алихану было радостно, что он просто, играючи совершил то, что тысячам людей дается с таким трудом; его отец так и не смог совершить хадж; теперь у Алихана было чем утешать заждавшихся отца и мать.

Он возвращался полный светлых дум и планов, с учеными книгами в переметных сумках. Но здесь, на родине, события разворачивались так, что никак нельзя было остаться в стороне, не определить свой берег. Он задержался в Темир-Хан-Шуре, еще несколько недель в Терк-Баши, а в Нальчике познакомился с Батталом, новоявленным своим земляком, которого прежде не видел, но знал о нем из писем отца. Алихана увлекло революционное обновление горских обществ — это было близко его мечтам о просвещении. Похоже, то, что для отца оставалось лишь мечтой, могло стать действительностью для него. Так он оказался в партизанском отряде, еще раз оттянув встречу с родителями. Адей мог бы заставить его сидеть дома — и все. А горцу преступить волю отца не так-то просто. Алихан все же дал знать, что он уже здесь, на родине, вот-

вот вернется домой. Адею пришлось развязать дорожные сумы.

Удивила Каншау и третья встреча, хотя она и не была такой неожиданной, как первые две. Странно было то, что Баттал нисколько не удивился его приходу в отряд.

— Я ждал тебя, — сказал он, — ты мог быть только с нами, своими людьми.

Через несколько дней партизанский отряд быстрым конным переходом из верховьев Малки вышел наперерез белым, которые, как стало известно, шли в Жамауат, и занял место для обороны. Это был холмистый склон над ущельем, где когда-то прошел каменопад — там и тут лежали уже поросшие мхом огромные валуны.

Коней отвели в лес на вершине холма, где за ними смотрели коноводы. И отряд, разбившись на три части, засел на этом склоне в засаде. Отсюда хорошо простреливался вход в ущелье.

Как в древние времена, когда люди еще не знали пороха, партизаны собирали камни и складывали из них стену. В теснине эта стена из валунов, на добрую сотню шагов протянувшаяся вдоль края отвесной скалы, могла заменить хороший залп артиллерийской батареи — стоит белым войти в ущелье, и вся эта каменная стена обрушится на них. Потому Баттал надеялся, что, несмотря на малочисленность красных бойцов, их необученность, на нехватку оружия и боеприпасов, отряд удержит рвущийся в горные ущелья сильный отряд врага.

Отряд белых приближался к ущелью. День был ясный и тихий. Скалы, омытые вчерашним дождем, казалось, улыбались в лучах утреннего солнца. Отряд шел усмирять далекие горные аулы, а если какой-нибудь аул не покорится им — они уничтожат его. А день будет таким же ясным, и скалы будут сверкать в лучах солнца. Наверное, там в отряде и Шабатай, и Заммай, крутится возле них и Карча, решил Каншау. Если их не задержать, они ни перед чем не остановятся...

А что, если бой сведет их, если они с Шабатаем столкнутся лицом к лицу? Сумеет ли он выстрелить в брата своей любимой? «Ведь он лежал в одной утробе с Нальбике, — подумал он. — Если я убью ее брата, как посмотрю ей в глаза?»

Отряд медленно втягивался в ущелье. Казалось, все в засаде затаили дыхание. И все же выстрел раздался не-

ожиданно — у кого-то не выдержали нервы. И тут же крик Баттала:

— Вали! Быстро!

Прикрытая ветками стена из валунов посыпалась вниз. Грохот камней и выстрелов, крики застигнутых врасплох людей, стоны раненых, ржание коней, свист пуль... А камни все сыпались и сыпались. Баттал перебежал с места на место, поторапливал, подбадривал, сам кидал тяжелые глыбы на головы врагов. И в то же время в действиях его не было суетливости, и он не так дрался сам, как руководил боем. Каншау порадовался, что за эти месяцы его брат стал настоящим командиром.

Желтая кремнистая пыль затянула дно ущелья. Спасаясь от камней, белые кидались в бурную реку, ища укрытия, забивались в расщелины. Казалось, еще немного, и они повернут обратно. Но тут сбоку, на склоне, возле края леса появился еще отряд. Видно, перед опасным переходом белые разделились. Этот, второй, отряд не успел вовремя, а теперь спешил на помощь своим. Бывает так: приснится тебе человек, а потом проснешься, откроешь глаза — перед тобой тот, который только что был в твоём сне. И возьмет оторопь — кажется, что человек этот вышел из твоего сна... И то же самое почувствовал Каншау, когда увидел, что отряд этот ведет Шабатай.

Баттал бросил тревожный взгляд на Каншау:

— Там был заслон... Неужели измена?

Положение партизан сразу стало уязвимым. Баттал по цепочке передал приказ: отходить к другому склону, туда, где в лесу были припрятаны их кони, где было удобнее принять бой, где позиции партизан снова оказались бы выше второго отряда белых. Баттал легко взвалил на себя единственный пулемет и, пригнувшись, побежал, следом, прикрывая командира, побежал Каншау. Он смотрел по сторонам, пытаясь найти Жансоха, но его нигде не было.

Отряд Шабатай открыл огонь первым. Партизаны, отходя, отвечали редкими выстрелами, сберегая патроны. Скупыми очередями заговорил пулемет Баттала. Каншау, лежа от него в десяти шагах, бил только наверняка. Отряд Шабатай залег. На минуту стало тихо, и Каншау услышал, как он кричит своим:

— Труссы! Вперед! За мной!

Шабатай вскочил и бросился вперед. Следом за ним побежали еще несколько человек. Пули высекали рядом с ним каменную крошку, но ни одна не попала в него. Кан-

шау не спускал глаз с бегущего Шабатая. Несколько раз он прицеливался, вдруг со стороны обрывисто, коротко пролаял пулемет Баттала, каменное крошево взметнулось под ногами наступающих. И они спрятались за валунами. Каншау, заметив, что Шабатай высунулся из-за камня и, подняв маузер, прицелился в Баттала, тут же опередил его с выстрелом. Рука Шабатая трепыхнулась, как тряпка на ветру, и он упал за валун.

А потом усталыми от напряжения глазами он видел, как раненный в руку Шабатай, подскользываясь и падая, побежал назад и куда-то в сторону. Каншау вел его петляющий бег на мушке винтовки, но каждый раз, когда можно было стрелять, перед его глазами вставала Нальбике, и он отпускал палец с курка. «Пес он, — думал Каншау, — но сын Айдарука, я танцевал на его свадьбе. Убью его — и как покажусь на глаза Нальбике? Аллах, пусть его убьет кто-нибудь другой...»

Каншау оглянулся и увидел, что, пока он следил за Шабатаем, Баттал с пулеметом и те, кто был рядом с ним, отошли уже далеко, и между ним и отрядом теперь были враги. Партизаны пробивались к лесу, где были их кони. А белые залегли, видимо ожидая подкрепления от тех, кто шел долиной.

Каншау перебежал к другому камню и, когда уже упал за валун, по камням щелкнуло несколько пуль. Его заметили. Он выглянул и увидел, что несколько врагов, перебегая от камня к камню, окружают его. Тогда он вскочил и, подгоняемый свистом пуль, побежал вверх. Он добежал до большого обломка скалы и без сил, без дыхания упал за ним. Теперь преследователи снова были ниже его. Тем временем бой ушел за гребень горы.

Он пересчитал патроны. Пять. Как пальцев на руке. А их там сколько? Тоже пять? Или четверо? Дальше бежать ему было некуда. Выше большой открытый склон упирается в отвесные скалы. Ему хотелось пить. На потрескавшихся губах был вкус кремня. Казалось, внутри его густой черный дым и потушить его может глоток воды. Далеко внизу неслышно бежала полная Юрду, вдали белели громадины ледников, а ему нужен был один-единственный глоток воды...

Он выглянул из-за камня. Преследователи торопливо поднимались вверх по склону. Пятеро. И патронов пять. Нет, шесть — шестой в стволе. Он выстрелил. Один вскрикнул — крик его прозвучал так же коротко и громко, как и

выстрел, — и упал. Остальные бросились за камни. Каншау выстрелил еще раз, но эта пуля ушла мимо. Каншау сухим языком облизнул губы — языку стало больно. Теперь их осталось четверо. Прячась за камнями, они открыли стрельбу. Состязаться с ними Каншау не мог, у него осталось лишь четыре патрона. Стрельба стихла. Он прислушался. Те о чем-то переругивались в своем укрытии.

Один из преследователей в рваной черкеске, без шапки, с чисто выбритой головой, обмотанной тряпкой рукой пополз вперед. Шабатай. И все же судьба свела их. Каншау взял патрон. Прежде чем загнать затвором в ствол, он рассмотрел его. Патрон как патрон, с царапиной на медном ободке. Смерть Шабатай. Он заложил патрон и перевел затвор. Поднял винтовку. Но его опередили — выстрелили сзади. Шабатай тяжело встал с винтовкой в руке, огляделся, не понимая, откуда пришла смерть, из последних сил повел винтовкой и упал.

— Бежим! Здесь за каждым камнем партизан!

Трое остальных, пригибаясь к земле, прячась за камни, побежали вниз. Несколько выстрелов раздалось им вслед — откуда-то сбоку, из-за большого обломка скалы. Но те благополучно добежали до поросшей кустарником гряды камней и скрылись. «Кто же стрелял? — подумал, вглядываясь туда, откуда раздалось выстрелы, Каншау. — Неужто... Жансох?» Тот, его спаситель, вышел из укрытия и, перепрыгивая с камня на камень, направился туда, где лежал Шабатай. Прыгать ему было неудобно, в одной руке он держал винтовку, другой придерживал висящую на боку саблю. Каншау тоже пошел туда. Возле тела Шабатай они и встретились.

— Ну, видел, как я князя свалил? — спросил Кочар. — Ни один кровопийца не уйдет от карающей руки пули революции.

Каншау молча кивнул.

Обильной княжеской кровью были залиты камни, трава, собственные его руки, побившие однажды сестру за то, что она хотела танцевать с пастухом. Всего-то станцевать! Сколько гордыни было в нем, сколько неприязни к простым людям, а умирал тяжело — это было видно по оскалу, по тому, как раскрыты большие вывернутые губы, как раскинулся коченеющим уже телом. Кочар прикладом повернул голову, чтобы взглянуть ему в лицо. Каншау отвел приклад, выправил тело и, сняв с себя чепкен, при-

крыл им князя. Кочар окинул его насмешливым взглядом, но ничего не сказал.

Вечерело. Закат был ярко-красным. «Будто от крови», — подумал Каншау. Отблеск его сливался с серыми сумерками. По пути нашли родник, попили. Потом они наткнулись на тела двух партизан, один из них был жамауатчанин, Адырай, сын Кайыта. Унести с собой они не могли, закидали ветками и травой, запомнили место. В лесочке, где коноводы прятали коней, никого не было. По всему было видно, что отряд пробился сюда и ушел на конях. Каншау подошел к дереву, к которому были привязаны Желтогривый и Вороной, на чешуйчатой коре остались следы от поводьев. «Может, Жансох и увел», — с надеждой подумал Каншау.

Они передохнули с полчаса и уже в темноте пошли в сторону верховьев Малки, туда, где был их лагерь. Они шли поросшей орешником ложиной, когда все время настороженный Кочар услышал звук, похожий на короткий стон, и остановил Каншау за руку. Держа винтовки наготове, они разошлись и с двух сторон вышли к тому месту, откуда послышался стон.

Там были двое. Один стоял и прислушивался. Другой, с винтовкой в руках, сидел на земле.

— Стой! — сказал Каншау, будто они бежали. — Шевельнется кто — стреляем!

— Алихан, беги! Пусть только сам шевельнется! — крикнул тот, кто сидел на земле. — Выстрелить я успею.

Каншау узнал голос и шагнул к нему — раздался выстрел, и пуля просвистела рядом; не дожидаясь второго выстрела, он бросился на землю.

— Стой, Жансох! — крикнул Кочар, выскочив сзади, он вышиб винтовку из рук стрелявшего. — Это мы!

— Так это же Каншау! Жансох, это Каншау! — вскрикнул Алихан.

— Он ранен? — Жансох попытался встать и снова упал на землю. — Алихан, скажи быстрее, он ранен?

Каншау вскочил на ноги.

— Алихан, что с ним? Жансох, почему ты сидишь? Ты ранен?

— Ранен, — сказал Алихан. — В обе ноги. Вот и ползем...

— Ранен-то ранен, — сказал Кочар, — а брата чуть не уложил.

Жансох не мог прийти в себя от испуга — чуть не убил брата!

— Где тебя ранило? Алихан, как это случилось? — спросил Каншау.

— Почти там, где стояли наши кони. Потом... эти ходили, искали раненых. Двоих нашли и добились. Езю и Адырая. Наверное, завтра за ними придут из аула.

— Мы их видели. Враг теперь в ауле, не дадут их похоронить. А вы?

— Мы с Жансохом спрятались в Ореховой лощине. Нас не заметили.

Каншау понял, что Алихан остался с раненым Жансохом, не захотел оставить его одного, и благодарно сжал его за плечо.

— Сколько же вы проползли... Ты, наверное, нес его на себе.

— Мы побеждены, Каншау, — сказал Жансох. — Мы не удержали их! Отца нашего расстреляют! — в отчаянии он ударил кулаком о землю.

— Мы отомстим им, — сказал Кочар. — Тут уже одного...

Каншау вскинул на него взгляд, и Кочар замолчал.

Где-то поблизости крикнул филин — и снова тишина, словно во всем мире никогда не было ни единого выстрела, птицы спали в своих гнездах, спали звери в норах, а филин кричал в тревоге за завтрашний день.

— Надо отнести его в аул — втроем мы сумеем. Вылечить его можно будет только в ауле.

Каншау с Кочаром срубили саблями два деревца, привязали к ним черкеску Алихана — получились носилки. Они уже тронулись в путь, как вдруг Жансох заупрямился:

— Нельзя в аул, там нас схватят... И мать — она умрет, если увидит меня таким.

— Она умрет, если с тобой что-нибудь случится. Куда же нам теперь? — сказал Каншау.

— А если узнают? Никого не пощадят. Пусть со мной случится что угодно, но с Рамазаном... Нет, в аул я не пойду. Зачем теперь жить? Зачем? Мы побеждены, какой смысл?

— Слабак! — буркнул Кочар.

— Враг как пришел, так и уйдет, а мы вовсе не побеждены, — нахмурился Каншау.

— Воином хочешь стать, а разнюнился, — сказал Алихан.

Всю ночь они несли Жансоха. Ему становилось все хуже и хуже. Поднимался жар, он несколько раз терял сознание, слова его порой походили на бред.

Они уже подходили к Юрду, когда на том берегу неподалеку от дома Коналия заметили всадников, видать, они охраняли мост.

— Туда нельзя, — сказал Алихан. — Через час уже рассветет. Надо к Бекболату. Хабай — вот кто вылечит Жансоха.

— Как можно, — сказал Каншау. — Если узнают — их не пощадят.

— А что делать? К вам нельзя. В отряд не донесем. А про то, какая Хабай целительница, — легенды ходят.

Жансох молча смотрел на них, глаза медленно, с трудом переходили с одного на другого, крупный пот проступил на лбу. Они повернулись и пошли к Нижнему броду. Они спрятались в кустах, а Кочар пошел через реку и уже с того берега махнул им рукой, путь был свободен.

А в доме Бекболата будто давно ожидали их. Быстро и без суеты Хабай, словно и не слыша стонов Жансоха, промыла его раны. Над самым огнем очага, так что затлели нитки по краям, подержала чистую холстину, разодрала на полосы. Жансох держал в руке пистолет и твердил:

— У меня три патрона! Прежде чем меня убьют, я уложу троих. У меня три патрона!

Хабай, которой наконец надоело это, вырвала пистолет и отшвырнула в сторону.

— Да уберите вы это железо!

Кочар подобрал его и хотел сунуть за пазуху, но Алихан взял у него и заткнул Жансоху под подушку.

Хабай положила какие-то травы на раны Жансоха, туго перевязала ноги. Бекболат, сидя на кровати в одной нательной рубашке, смотрел на все это и кряхтел. Хабай энергично убирала жыйгыч — настенные полки, где хранились подушки, тюфяки, одеяла. За ними оказалась маленькая дощатая дверца. Это был вход в закуток, где женщины обычно хранят съестные припасы и всякую утварь не на каждый день. В тусклом свете, падавшем сюда из полуоткрытой двери, они увидели хламье по углам, бочки с сыром и соленым айраном, на крючках висели хо-

рошо смазанные, смотанные кожаные ремни, косы без ручек и колец и другой железный скарб, выкованный Бекболатом. В колеблющихся тусклых полосах света металась холодная желтоватая пыль.

Хабай с тем же рвением убрала хламье, отодвинула бочки к стене, перенесла в закуток тюфяк и подушки, постелила и с помощью Каншау и Алихана уложила туда Жансоха.

— Теперь будет воевать со мной, — сказала она, выталкивая их из закутка. — Теперь ступайте домой и расскажите всем, где лежит Жансох с пропоротыми ногами... Срастутся жилы — сам пойдет, а куда ему никто не нужен.

Седые волосы и рыжие усы Бекболата странно растрепались, он кряхтел, довольный всем, что делает его жена. Однако ему хотелось узнать, почему партизаны не смогли задержать врага? Но что могли сказать ему партизаны? Они и сами не знали. Сражались стойко, но враг оказался опытней, больше числом, лучше вооружен, и, видно, проводники у них были знающие, провели их какими-то тайными тропами. Бекболат продолжал кряхтеть: что поделаешь, враг уже в ауле, наступает рассвет и трем джигитам надо бы поспешить.

— Негодный сын Адея, и ты партизан? — то ли с удивлением, то ли с одобрением спросил Бекболат.

— Да, — скромно сказал Алихан. — Передай отцу, Бекболат, что я жив, здоров и вернусь в аул с победой!

Бекболат улыбнулся — наверное, тому, что сын Адея говорит так напыщенно, чего не положено младшему перед старшим, но в то же время извиняя его — зря, что ли, человек в Стамбуле учился, на что вся эта учеба, если при случае и не поговорить красиво?

— Молоды, не понимаете — одним сражением свободу завоевать нельзя, — сказал он.

— Если с конем моим что-нибудь случится... — крикнул Жансох из закутка. Он стал бить кулаком в стену. — Каншау, если с моим конем что-нибудь случится! Бекболат, скажи ему, чтобы они моего коня сберегли... — у него начинался бред.

## Х. ГОРЬКИЕ УРОКИ ДОБРА

Той же ночью Каншау, Кочар и Алихан ушли в горы. Только на третий день нашли они отряд в Глухом овраге. О Жансохе сказали только Батталу.

Каншау брал Вороного и Желтогривого, которых из боя вывели коноводы, и уходил на склон, где когда-то он пас овец. Он думал о том, как порою удивляет судьба: вот опять он здесь, теперь уже партизан, враг княжеского сословия, и все равно не забыть ему Нальбике, вот здесь была она, здесь звучал ее голос, легкие шаги... И Каншау понял, что бессмысленны все запреты, которые он налагал на себя, желание забыть ее, вырвать из сердца. Грустные темные круги расходились по озеру Бычий глаз, на берегу которого он, воткнув свою пастушью палку, когда-то учился танцевать. Он шел к серой стене в разводах мха, где, заполняя собой всю скалу, появлялась она, смотрел и на белую каменную дорогу, которая вела туда, к большому дому под высоким полумесяцем.

Глухой овраг оставался глухим, и все так же не заходили сюда сквозняки, а едкий густой дым партизанского пристанища ничем не отличался от дыма пастушьего очага. Ночами он спускался к реке, подолгу сидел на берегу, холодные звезды мерцали вдали, он жалел, что не умер в том бою, пусть бы Шабатай убил его. Не умер, стало быть, и не разлюбил. Не разлюбил, но все же изменил. Если бы он вместе со своей верностью к ее отцу не потерял и положенного джигиту достоинства, он бы попытался увидеть ее, хоть как-то дал понять о своей верности. Он решил встретиться с ней.

Ему повезло, даже отпрашиваться не пришлось, Баттал поручил ему разведать, что творится в Жамауате, еще Каншау попросил разрешения навестить Жансоха. Он честно выполнит задание, навестит родителей и Жансоха, расспросит о чем нужно отца и Бекболата, но главным в этой поездке для него будет то, о чем никто никогда не узнает: узнают, если погибнет, а если погибнет, то и не осудят...

Уже за полночь, побывав у Бекболата, он оставил Желтогривого неподалеку от дома Бурундуевых и, крадучись, пошел переулком. Высокое небо глотало редкие синие дымки, которые выходили из плетеных дымоходов приземистых саклей и извилистыми тропинками поднимались к великому множеству мелких мерцающих звезд. Он перелез

через ограду и пошел садом. Во дворе сидели двое с свинтовками и мирно беседовали. «Охраняют дом, — подумал он, — значит, тут важные гости».

Комната Нальбике была наверху. Каншау обошел дом, слабый свет из ее окна падал на ветви. Он влез на дерево, дотянулся до окна и увидел за стеклом Нальбике, она в черном платье лежала на кровати и, скрестив руки на груди, смотрела на потолок, словно ждала или прислушивалась к чему-то. Каншау пригнул ветку и концом ее тихо постучал в уголок окна. Нальбике вздрогнула, вскочила, бросилась к окну. Ничего не увидев, она ушла и вернулась с лампой. Длинные волосы ее были растрепаны, глаза опухли, в лице ни кровинки.

— Это я, — тихо сказал Каншау.

Лампа задрожала в руке Нальбике. Она поставила ее на подоконник и заплакала.

Каншау прополз по ветке, прыгнул и повис, ухватившись за подоконник. С громким треском надломилась ветка. Нальбике обхватила его за голову, помогла влезть в комнату и тут же погасила свет. Внизу послышались голоса.

— Никого, — сказал один, — наверное, ветер сломал ветку.

— Дурак, какой ветер? — сказал другой.

— А что же треснуло?

— В голове у тебя треснуло. Может, к бийче залез кто-нибудь.

— Глупости ты говоришь. А мы тут! Кто посмеет?

— Ну, конечно, тебя испугались. Которое ее окно?

— Вон то. Что, хочешь к ней в гости?

— А ты бы отказался?

— Не болтай. Услышат если, по голове не погладят.

— Ладно, пойдем. Эх, кто-то там, у бийче! Им ласкаться, а нам ночь напролет ходить, как псам вокруг стада.

Ушли.

Нальбике перевела дыхание и подошла к Каншау, который так и застыл возле стены, и, припав к нему, беззвучно заплакала. Каншау гладил ее по лбу, по волосам, по мокрому от слез лицу, крепко прижал к груди. Нальбике целовала его небритое лицо, потрескавшиеся губы, глубоко запавшие глаза. Потом припала лицом к его груди.

— Каншау, бежим, — прошептала она, — бежим, куда хочешь! Ни на шаг тебя не отпущу! Ты думаешь, это чер-

ное платье по Шабатаю? Я его по тебе ношу, по своей жизни... Отец говорит, что Шабатай... Что он был укрыт ветвями. Это ты укрыл его? Ты был там? — Не дожидаясь ответа, она продолжила: — Когда отец привез его, Ерюз-мек закричал, что это ты убил его или твой брат Жансох, что надо сжечь ваш дом. Он убит в спину, отец знает, ты не мог убить в спину. Теперь отец ни с кем не разговаривает, читает по нему коран. Каншау, убежим! Моя жизнь здесь кончилась. Или умереть, или жить заново.

Нальбике была в черной одежде, он губами ощутил, как воспалено от слез ее лицо, но в этой ее скорби было больше тревоги за него, чем горя по убитому брату: та часть ее души, которая принадлежала брату, давно выгорела, если она и носила траур, то лишь ради отца — сестринской боли, терзающей памяти, не было. Нальбике думала об отце и плакала оттого, что был несчастен отец, что ничем не могла помочь ему в его безутешном горе. И все же сказала:

— Ни на шаг не отпущу!.. Хочешь, убежим куда-нибудь? Куда ты хочешь, а?

— Нет, Нальбике, я не могу сделать тебя счастливой. Я...

— В пещере буду жить, на камне спать, тучей укрываться — и буду счастливой. Убежим, Каншау! Прямо сейчас, ночью... У тебя хороший конь... где твой конь? Уже утром будет за перевалом. В Карачае живут родственники моего отца, они нас не оставят на улице. Жена Баттала, она ведь тоже дочь помещика, а убежала со своим женихом. Год они пробирались в Жамауат. И теперь счастливы... Каншау, убежим!

— Откуда ты знаешь все это?

— Я познакомилась с Ниной, — оживилась Нальбике. — Я спрятала ее с ребенком... я успела их спрятать... Если быть женщиной, то лишь такой, как она. С тобой я на все готова, на любые тяготы, даже на смерть. Не погуби нас, Каншау, себя и меня. Ты мужчина, у тебя есть конь.

Каншау молчал.

— У Баттала и коня не было! — в отчаянии почти выкрикнула она.

— Пристанище нашлось бы и ближе Карачая. Я не свободен, Нальбике. Я не могу покинуть отряд. Слышишь, не могу.

— Весь мир помешался. Неужели ты снова пойдешь в огонь?

— Отец твой отказал мне, брат твой... — он прикусил губу. — Не будет счастья нам, — твердо закончил он.

— Подлый мир! — в бессилье сказала Нальбике. — Ладно. Хватит об этом. Поешь чего-нибудь и ложись, отдохни.

Нальбике тихонько вышла, принесла чурек, айран и свежесбитое масло. Каншау съел все, что она принесла, и выпил айран.

— Дай-ка я сниму твои чабуры, — тихо засмеялась Нальбике.

Сонный, измученный Каншау погладил волосы любимой. Нальбике вымыла ему ноги и помогла умыться...

— Увези меня отсюда, — попросила Нальбике ночью. — Куда хочешь. Воюй, если ты без этого не можешь. Ты воюй, а я буду ждать тебя. А здесь я умру.

— Хорошо, моя ханум, я увезу тебя, — засмеялся Каншау. — Я и сам хочу. Теперь нам не стыдно.

— Тогда рана быстро зажила?

— Быстро. Ты думала обо мне?

— Думать о тебе? Ах ты, гяур! Опозорил девушку и спрашивает, думала ли она о нем! — Помолчав, она сказала: — Каншау, быть беде, ты должен спасти нас. Ведь ты можешь, зачем откладывать?

— Завтра ночью я увезу тебя. Я должен ехать в отряд, меня сюда послали с заданием. Я партизан, у меня — задание...

— Ты погибнешь, Каншау, если ты бросишь меня, тебя убьют. Бежим сейчас же!

Каншау молчал, она протяжно, со всхлипом вздохнула, поняла, что ей не переубедить Каншау. Они обнялись и заснули.

Крик петуха разбудил Каншау. Он переложил голову Нальбике со своей груди на подушку, встал и глянул в окно. Предраассветный ветерок раскачивал ветви за окном. Звезд на небе осталось совсем мало. Он оглянулся на Нальбике, она лежала, широко раскрыв глаза.

— Подожди этот день, а ночью я увезу тебя в Карачай.

— Самый длинный день в моей жизни...

— Счастья я тебе не обещаю.

— Все поровну, Каншау.

— Да, поровну, бог даст, поровну...

Каншау перелез с подоконника на дерево и тихо спус-

тился на землю. Он быстро перебежал через сад и пошел вниз по переулку туда, где оставил Желтогривого. Каншау вскочил в седло, конь, словно предчувствуя недоброе, громко заржал. Кто-то на посту проснулся, разглядел в полутьме удаляющегося всадника и вскинул винтовку. В предутренней тишине гулко ударил выстрел.

...Погоня настигла его на самом краю обрыва. Осадив коня, Каншау слетел с седла, прощально хлопнул жеребца по шее и прыгнул в пропасть.

«Пусть разобьюсь, но живым в руки не дамся», — думал он. Но он остался жив: съехав по ровному каменному склону вниз, он упал на россыпь прибрежной гальки. Он лежал возле самой воды. Наверху появились всадники: одни начали стрелять, другие искали, где спуститься. Пули раскололи несколько камешков рядом с ним и подняли два-три красивых фонтанчика на воде. Он встал и тут же со стоном упал на гальку. Правая штанина стала черной от крови. Он хотел пройти руслом реки к расщелине в скале и спрятаться там. Он запрыгал на одной ноге, упал и пополз, волоча покалеченную ногу. Его знобило, и тело наливалось каменной тяжестью. Всей силой тела, всей силой сердца он тянулся туда, к расщелине, но земля повернулась, как мельничный жернов, и сознание помутилось. Но он чувствовал, что ползет, что кинул в кого-то камнем, кого-то оттолкнул. Ему чудилось, что кто-то сражается рядом с ним и не подпускает к нему никого. Но кто-то черный тяжелый прорвался к нему, навалился и стал заламывать руки... Потом он почувствовал, что его волокут по камням. Послышалась песня о Сосуко:

Нарты в путь далекий собрались.

Они в пути без огня и пищи остались...

Все, больше он ничего не помнил. Связанного по рукам и по ногам, бросив поперек седла, его привезли в аул.

Первой, увидев перекинутого поперек седла Каншау, закричала Хабай.

С тех пор как в ее дом принесли Жансоха, она целыми днями простаивала на высокой веранде с пряжей, теперь она не выходила из дома, почти не спускалась с крыльца, стояла и прядла, пуская далеко вниз свое веретено. Если же нить обрывалась и веретено укатывалось, она спокойно, не торопясь спускалась вниз и так же спокойно, не торопясь, поглядывая по сторонам, склевывала щепотью соринки с пряжи и снова поднималась на веранду. Жен-

щины, которые прежде, стоило ей выйти на улицу, вилсь вокруг нее, как пчелы вокруг колоды, ломали головы: что с ней, отчего неумная прежде Хабай так бережет теперь свои ноги? Впрочем, не она одна в эти дни старалась сидеть у себя дома, время было тяжелое: белые, осевшие в ауле тяжелым туманом, на всякое хождение смотрели подозрительно, и редко кто без дела выходил на улицу.

А в тот день с утра у нее не ладилась пряжа — раны Жансоха опять воспалились, у нее кончилась нужная трава, и она послала за ней младшего сына к своей сестре на другой конец аула. И вот к полудню на подъеме дороги из ущелья появился конный отряд. Впереди на широкогрудом вороном с белой проточиной на лбу жеребце ехал Заммай, сын Ерюзмека, жеребец под ним, идя рысью, ровно выбрасывал высокие тонкие ноги, а всадник высоко держал голову. И лицо его было непривычно оживленным, словно он вез себе в жены первую красавицу ущелья. За ним беспорядочно, вразброд скакали, поднимая дорожную пыль, всадники. Один конь шел без седока, с какой-то поклажей, брошенной поперек седла. Почуввав недоброе, Хабай пригляделась и увидела, что это человек, связанный по рукам и ногам. И у нее затряслись поджилки, еле попадая ногами на ступеньки, она спустилась с веранды, как-то суетливо, неумело пробежала к воротам и встала у дороги. В человеке, перекинутом через седло, она узнала Каншау и, кажется, впервые в своей жизни растерялась. И не смогла придумать ничего лучше, как тут же с веретеном и пряжей в руке броситься к Кундуз. А Кундуз — что же она? Побелев лицом, так и повалилась на войлок, губы посинели, руки свело судорогой. Хабай с досады обругала себя: придумала же, прибежать к матери, которая и так день и ночь ждала беды. Так, ругая себя, она гладила руки бедной Кундуз, дала ей попить воды, все говорила и говорила, успокаивала и, не выдержав, запричитала в голос: надо же такому случиться, вместо того, чтобы побежать и встать им поперек дороги с непокрытой головой, плюнуть им в лицо, Хабай, дура окаянная, бросилась сюда! Онемевшими губами Кундуз чуть слышно спрашивала: «И Жансоха тоже? И Жансоха связали, Хабай?» — «Да нет же, с чего ты взяла? Жансох далеко, Жансох не дастся им в руки ни за что...» Никто в округе не знал, что в своей кладовке она возвращала жизнь и здоровье другому ее сыну.

Вечером того же дня Хабай взяла Кундуз, еще двух

женщин и пошла к главе новой власти в Жамауате. Князь, командир белого отряда, встал, встретил женщин приветливо. В белой черкеске, с золотыми, соединенными цепочкой газырями, украшавшими широкую сильную грудь, не смотря на почтенный уже возраст, он был строен, черные серебряные подвески почти касались друг друга — так туго был затянут его пояс. Длинный узкий кинжал с золотой рукоятью в тонких позолоченных ножнах казался на его поясе стрелой на туго натянутом луке. Хабай подумала, что князь этот, чем-то напоминающий Айдарука, совсем не похож на злого человека.

Но, прежде чем сказать слово, Хабай встала перед ним во весь свой внушительный рост и обнажила седые волосы. Кундуз стояла рядом с Хабай, опустив голову, не зная, куда спрятать трясущиеся от страха и волнения руки. Другие две женщины стояли сзади и смотрели на Хабай.

— Когда на дорогу выходит женщина, и кровавое полчище отступает, — сказала она тоном человека, полагающегося на извечные законы чести. — Мы женщины, мы обнажили перед тобой головы и просим лишь свободы пленнику, негодному сыну Коналия и вот этой женщины.

Князь долго думал, прохаживаясь по комнате. Сказал: — Если женщины пришли с просьбой, то просьба эта священна для меня. Я не стану его вешать. Я могу и отпустить твоего сына, — князь обратился к Кундуз, — если он... э-э, признает свою вину, поймет свое заблуждение...

Женщины не понимали, что этот спокойный, почтительный человек был в гневе: старшины Жамауата во главе с Айдаруком и Адеем не позволили ему установить на площади виселицу. Переступить их волю он мог: власть была неограниченна, но он был опытный военный и понимал, что идти наперекор воле этого горного селения было бы спрочетливо. Олицетворяющий эту волю Айдарук не отступал: «В бою как хотите, воля ваша, но в моем ауле, куда я жив, виселице не быть». Айдарук понимал, что бий, не сумевший защитить своих подданных, не бий, Ерюзбек же думал иначе. Если мусульманство, объявил он, в Жамауате началось с керагача, то мир и спокойствие наступят лишь с виселицей. Если бы наши предки были такими же робкими, как Айдарук, мы бы и сегодня поклонялись лошадиному черепу. Но Айдарук знал: если он, бий, нарушит завет отцов и допустит, чтобы в ауле встала виселица, то отныне она, виселица, и будет хозяином. Так он и сказал и с теми словами покинул управу. Вот тогда

и загорелся в этом пришлом князе гнев, но он так хорошо скрывал это, что женщины ничего не заметили и с надеждой смотрели на него. Он знал законы намыса — чести своей земли. Нет большего позора для мужчин, чем не уважить седину женщины. Что ж, можно и оказать честь этой женщине, отпустить ее сына. Но завтра придут остальные. Нет, намыс хорош только в мирное время, когда судьбы народа и веры не висят на волоске. Что ж, тогда можно было бы поступать и по намысу. Если князь в мирное время, оказывая честь женщине, помилует преступника, он не затронет интересов народа, его судьбы, но сейчас, когда чудище большевизма раскрыло пасть, готовое проглотить твою землю, это будет изменой. «Если я уважу этих четырех балкарок и отпущу преступника, я предаю интересы всех пяти балкарских обществ», — думал князь, прохаживаясь перед женщинами. И, глядя поверх обнаженных седых голов, сказал:

— Человек, когда молод, может сбиться с пути, пойти не той дорогой... Но если он вовремя поймет и раскается...

— Мы женщины, — сказала Хабай, поняв смысл слов князя, — и одного мы не понимаем в жизни — это мужчин. Если он повинится и если ты не забудешь, что ты князь, ты, может, отпустишь его... Но мы женщины, мы не знаем, что скажет сын — вот ее. Ведь он мужчина.

Тут Хабай задумалась на короткое время. Она была женщина волевая, не то чтобы на все искусница, но все у ней ладилось, и если брала работу в руки, на половине не бросала, обычных женских пересудов не любила, была прямая, славилась своим хлебосолецством, умела примирить поссорившихся, взбодрить приунывших, никто никогда не видел, чтобы Хабай суетилась, жаловалась, никто не слышал ее проклятий. Где Хабай — там и пища обильна, и слово приветливо. А на больших торжествах она успевала и для застолья приготовить, и молодых женщин попутностряпне обучить. Женщины шли к ней со своими бедами, делились горем и радостью, искали ответа сомнениям, объяснения непонятному.

Рыжеусый Бекболат, кузнец и певец, не походил на мужа такой женщины, скорее можно было подумать, что вот скитался бездомный поэт в дальних странах, искал что-то: счастье ли, неведомую ли красоту, но все попусту, наконец вернулся он в родные края, остановился у состоятельной милосердной женщины да так и прижился в ее доме. Женившись, Бекболат обнаружил, что Хабай жен-

щина, которая умеет делать все, и это было воспринято Бекболатом как божий дар лично ему, и сознание этого освободило его от всех семейных забот. И он зажил в свое удовольствие. Голова-то у Бекболата была с ветерком, но руки были золотые, как любил он кутить на дальних свадьбах и петь песни, так любил и работать. И ничего не делал наполовину, натура была что ливень в горах: то ни капли и даже воздух сух, а то грянет — и все вокруг одна вода. Случались у Бекболата долгие загулы, но если уж он разжигал горн в кузне, то подручные, дни и ночи сменяясь, исходя потом, поддували мехи, из кузни его далеко были слышны смех, звон молота, кипение воды и шипение пара в корыте, где закаливались очередные серп или коса. Говорили: руки Бекболата поют так же красиво, как его горло и язык. Он ковал всякую железную утварь впрок, на любые нужды, на все случаи скудной жамауатской жизни, и двери его кузни неделями не знали замка. На луга же в пору сенокоса он выходил скорее для виду. Косили сено сыновья, копнили снохи и дочери, а он при них был вроде оленя-вожака, который стоит на взгорье и охраняет свое стадо от нападений. Сидя на верхнем краю луга, он крутил усы и в основном хвалил своих снох. По вечерам приходил к косарям, и если у них оказывалась достойная певца буза, пел до утра. Порою сыновья проявляли недовольство, но не тем, что он не косит, так говорить сыновья не смели, они ворчали на отца за то, что в такое горячее время он оставляет кузницу. Но Хабай не давала им и слово вслух сказать. «Вырастил он вас зрячими, здоровыми — не хромые, слава богу, не кривые, пора теперь и отдохнуть ему», — говорила она.

Дом Бекболата стоял на краю площади перед самой управой. И хотя Бекболат не имел близкого родства с Жандаровыми, жили они в большой дружбе. Особенно дружил Бекболат с Жанмирзой, поскольку тот тоже любил кутить и ездить по свадьбам, они и на войну с Жапоном отправились вместе. В быту же дом Бекболата был ближе к дому Коналия. Хабай принимала все роды Кундуз, была повивальной бабкой и Каншау, и Жансоха, и подрастающего Рамазана. Дети двух домов росли вместе, в чей двор заносило, там и играли, где настигал их голод, там и ели, им было все равно, кто накормит — Кундуз или Хабай. После первых тяжелых родов Кундуз часто болела, и заботы о ее детях нередко ложились на плечи Хабай. И теперь один из близнецов Кундуз томился в подвале упра-

вы, в двух шагах от дома Хабай, а другой лежал, тяжело раненный, в закутке за ее жыйгычем. Князь же намеревался отделаться от женщин красноречивым назиданием.

Хабай, не умеющая петлять, посмотрела князю в лицо.

— Кто почитает женщину, почитает и народ, — это мы знаем, — сказала она твердо. — Мы пришли просить, чтобы ты отпустил нашего сына... Если ты это сделаешь, седые наши головы лягут к золотым твоим ногам. Если же нет... Вот эта слабая женщина родила Каншау, в Жамауате есть женщины и поздоровее. Человек умирает и рождается. Народят нам джигитов еще лучше, чем Каншау. Только честь, потерявши раз, больше не найдешь.

Князь в белой черкеске не нашел что на это сказать. Но по его молчанию женщины поняли, что беда неотвратима, и смирились с судьбой Каншау.

С тех пор Хабай старалась быть рядом с Кундуз. Она ободряла ее, утешала, ругала. Ночью, когда в ауле стихали голоса и все отходили ко сну, она промывала раны Жансоха, перевязывала заново. Днем она порою стояла на высокой веранде своего дома, пряла шерсть и наблюдала за тем, что делается на площади. Люди видели, как спокойно, невозмутимо стоит на своей веранде Хабай, прядет шерсть, мерно опуская крутящееся веретено до земли, и спокойствие, выдержка и бег ее веретена немного успокаивали их.

Но у Азинат, дочери Бекболата, когда она занесла Жансоху поесть, вырвалось: «Бедный Каншау, и его...» Она осеклась на полуслове, но и этого уже было достаточно. Жансох схватил девочку за руку и заставил рассказать все. А на следующее утро он заметил, что, перевязывая его раны, Хабай была непривычно угрюма и молчалива. Сегодня казнят брата, понял Жансох. «Гляди, — сказал он себе, — ты забился в закуток, словно зверь в нору, а твоего брата собираются казнить». Ярость и негодование охватили его, и он закричал, требуя, чтобы выпустили. Но в доме, казалось, не было ни души. Он приподнялся на руке, перекинул тело ближе к двери. Ударил плечом в дверцу, она была заперта. Он всем телом бросился на дверь и вместе с ней вывалился в комнату. Он долго лежал, оглушенный болью в ноге, но когда встал, то боли не почувствовал. В доме никого не было. Жансох вспомнил про пистолет: молодец Алихан, он тогда, уходя, сунул ему под подушку. Жансох взял его, и на одной ноге пропрыгал к окну: на площади было много народу, за столом

перед управой сидели хорошо одетые незнакомые люди. Первым вон того, в белой черкеске. Потом того, в чалме... Именем аллаха, наверное, судит, вот и я именем аллаха застрелю его!

Он скатился с крыльца, выдернул из ограды жердь и, одной рукой опираясь на нее, а в другой держа пистолет, поковылял через огород. Только бы добраться до площади, там он не промахнется, жизнь брата и свою так просто не отдаст.

Кружились перед глазами недавно окученные грядки картошки, кружилась вместе с ними земля, он лишь сильнее спирался на жердь и, до крови закусив губы, до боли зажмурив глаза, останавливал это кружение. Добежав до каменной ограды, опустился на колени и, чтобы унять гудение в голове, уперся лбом о камень. Когда вернулись силы, он поднял голову и увидел привязанного к дереву Каншау. Он заслонял тех, кого Жансох собирался убить. Чтобы стрелять наверняка, надо было перелезть через забор. Он примерился, перехватил жердь повыше, отступил, прыгнул — и грудью упал на край ограды. Площадь осветилась зелеными огоньками, приблизилась к нему вместе с людьми, столом и деревом, запахами конского помета и мочи, подступила к самым глазам...

...Утром Каншау привели на допрос в управу. Здесь были Ерюзмековы, таубии соседних аулов и какие-то незнакомые люди. Опираясь на палку, в разодранной одежде, с бледным лицом, он стоял перед этими хорошо одетыми людьми. Когда он поднял на них взгляд, в глазах его не было ни раскаяния, ни страха. Вся его вина в том, что он лишь встал в защиту своего достоинства. А для них он — предатель, враг собственного народа, поднял оружие на тех, кто защищал незыблемость гор, чистоту веры, неприкосновенность обычаев. И они, эти хорошо одетые люди, хотели, чтобы он раскаялся, повинился во всем этом.

— Отступник! Ты изменил нашей вере, нашей земле, — говорил никогда не знавший его хаджи в белой чалме.

Отступник был воспитан в почитании к старшим и никогда не перечил им. Теперь он спокойно смотрел на человека, у которого была длинная борода и недобрые стеклянные глаза. Давно уже жил этот человек на земле и собирался жить еще. И Каншау ни в чем не был виноват перед ним, он лишь повторил любимую молитву Адея-фенди:

— Аллах не взыскивает с них за пустословие в их

клятвах. Ибо в сердце их болезнь. Пусть же аллах увеличит их болезнь! Для них — мучительное наказание за то, что они лгут...

Блеснули недобрые стеклянные глаза старика:

— Сто ударов! Сто ударов плетью!

Посреди широкого двора, опустив глаза в землю, сидел Айдарук. Адей, который ходил к управе, молча сел рядом с ним.

— Что там... с ним... — не поднимая глаз, спросил Айдарук.

— Шестьдесят ударов плетью. Тот хазрет хотел сто. Но князь назначил шестьдесят, — тоже глядя в сторону, ответил Адей.

— Хватит и этого.

— Хватит.

Оба понимали, для чего хватит — чтобы убить.

Они долго молчали. Прежде это были большие люди в ущелье, а теперь — две большие щетки, которые уносит течением.

Айдарук тяжело вздохнул.

— Перестань, — сказал эфенди. — Потерявший коня по камче не плачет. Теперь терпение нужно более, чем когда-либо.

Айдарук поднял красные опухшие глаза. Да, Адея не обожгло горе, паводок, смывающий протоптанные отцами дороги, опрокидывающий каменные ограды, пронесся мимо его дома.

— Терпение, говоришь. Отчего же не потерпеть? Еще одного сына не выращу, еще одну дочь не взлелею. Уйдем в пещеру, спрячемся там. Теперь можем быть спокойными, Адей, очень спокойными. — И воплем отчаяния у него вырвалось: — С каким лицом я теперь буду жить? Скажи ты — со своим кораном в руках, с каким лицом я выйду к людям?

— У каждой пули сейчас своя правда, а всю правду знает лишь бог! Вышний всему судья.

— Нет никакого вышнего судьи, Адей! Вот что я понял!

— Аллах милосердный! Что ты говоришь, Айдарук? Кайся! — ужаснулся эфенди.

— Нет его, и не было в помине. — В лице его была такая отрешенность, такая тоска, что Адей растерялся. — Я жил несбыточным. Хотел сеять хорошие семена, но земли для этих семян не вспахивал, не сажал деревьев, не пас

овец. Из-за княжеской спеси, бийского моего достоинства я сделал несчастной свою единственную дочь. И вот теперь я стою на краю оползня, а ты, Адей, возьми коран в руки и скажи, что я сделал для облегчения участи сотен бедных моих земляков? Сказал ли ты хоть раз мне, таубию: «Князь, так жить невозможно!» Оттого, Адей, я стою на краю оползня. А в моем доме — черное горе...

— Именно такой возлюбил бог землю, — тихо ответил эфенди. — Есть олени и есть кроты, одни в темной яме, другие на высоких холмах, есть кони и есть ослы, а также есть могучие чинары и есть кустарники... И людской род устроен точно по такому же подобию. Как бы мы жили, если б вдруг все стали князьями?

— Опять ты читаешь суру корана, Адей, в такой-то час! — перебил его Айдарук. — Правда корана кончилась. Мы потеряли свою правду... А новой мы не видим. Ты говоришь, кроты и олени. Наверное, так. Но если я князь, я князь своего народа. А он кто, крот или олень? Если крот, то я князь кротов и сам крот. Нельзя быть оленем, если народ почитаешь за крота. А мы так и считаем. Полагаем, что мы, гордые олени, бийствуем над слепыми кротами. А что мы без народа? Ты со своим кораном, я со своим бийством? Ничто. Мы не исполнили назначенного нам, и если гнев народа обрушится на нас — будет только справедливо.

— Как не быть справедливости, — буркнул Адей, — если придет какой-нибудь сын Шамуюка и вздернет на виселице такого человека, как Айдарук. Я пойду, — сказал эфенди вставая. — Ты прав, мы не сумели облегчить участи народа. Но ты уверен, что они облегчат его?

— Не знаю, Адей. Я ничего не понимаю. Все черно передо мной, словно я ослеп. — Айдарук неловко, как-то по-мальчишески опустив голову, словно его сохта, подошел к эфенди, положил обе руки ему на плечи и, не поднимая глаз, глухо сказал: — Спаси Каншау, хочу, чтобы он остался в живых. Ради дочери... Не суди меня. Адей, иди туда, скажи им, ведь у тебя в руках коран...

Но Адей ничего не ответил ему, он поднял руки, тоже положил князю на плечи. «Четыре руки на четырех слабых плечах», — подумал Айдарук и понял бессмысленность своей просьбы.

Хабай решила сбегать домой — посмотреть, все ли в порядке с Жансохом. Она еще издали увидела странно ковыляющего по огороду человека и, насторожившись, ос-

тановилась. Глаза ее были не так остры, как прежде, но все же ей показалось, что это Жансох. Она положила веретено на забор, заново перевязала гульменди — нижний платок с узелком над лбом — скорее не по надобности, а чтобы выгадать время и убедиться в том, что этот, бегущий так странно, Жансох и есть. Убедилась. Как молодуха, резво перемахнула через ограду и побежала наперерез. «Кто же сказал ему? — думала она, задыхаясь в беге. — Чтобы кровь из глаз пошла у того, кто это сделал! — Но тут же взяла свое проклятие обратно: ведь сказать Жансоху мог только кто-то из домашних. — Бедная Кундуз, за одного боялась, теперь и этот к беде бежит!»

Жансох продолжал свои странные прыжки, словно какая-то сила подталкивала его снизу и одновременно тянула на невидимой веревке, волокла по огороду, и лишь нечеловеческая сила, которая была в самом прыгуне, не давала ему упасть. «Аллах, сколько он может», — подумала Хабай.

Доковыляв до ограды, Жансох встал, повиснув на жерди. Она тоже остановилась, не зная, что дальше делать: кричать она не могла, бежать тоже не было сил. Жансох отступил, собираясь, как она поняла, перепрыгнуть через ограду, подпрыгнул и, ударившись о край, повалился оземь. Тут на дороге появились четыре всадника, Хабай не помнила, как побежала, как очутилась возле лежащего на земле Жансоха. Она успела раньше, чем подъехали всадники, и бросила на Жансоха свой бота<sup>1</sup>. Присела рядом на корточки и стала собирать коровьи кизяки в свой передник. Всадники остановились над ней, по ту сторону забора. Они с подозрением смотрели, что делает эта женщина, что у нее в переднике? Коровий кизяк, что еще может быть в переднике у старой женщины! Кони крутились на месте, всадники удивленно глядели на кизяк в переднике Хабай. В это время на площади Карча протащил сквозь сжатый кулак длинную витую плетть и громко шелкнул ею. Хабай через мельтешащих всадников, а всадники, повернувшись в седлах, одновременно посмотрели туда.

— Эй, что ты тут делаешь? — повернулся к ней один из всадников.

— Оставь ее, чего пристал к старой женщине? — сказал другой. — Не видишь, кизяк собирает.

---

<sup>1</sup> Б о т а — плед.

— А ты не верь, особенно старым женщинам,— сказал другой.— Все на площади или по домам сидят, а эта тут что-то возится.

— Эй, старуха, а ну-ка подними свой бота! — крикнул третий.

Хабай схватила с забора камень.

— Может, и подол свой поднять? Если вы не от такой женщины родились, как я, может, мне перед вами и подол свой поднять, сукины дети? — Ноги не держали ее, и, сказав это, она снова опустилась на корточки рядом с бота.

— Ладно, Танай, не позорься! Чего ж мы теперь, с женщинами начнем воевать?

Танай еще раз с подозрением оглядел ее и тронул лошадь. Хабай была вся мокрая от пота. Пошла в дом, принесла тулуп мужа и, чтобы не лежал на сырой земле, с трудом перевернула Жансоха на тулуп. Накрыла бота, принесла из халжара сено и забросала сверху. Теперь надо было стеречь его до темноты. Она сидела рядом на корточках и посматривала по сторонам, словно орлица, оберегающая повредившего крыло птенца. Только на майдан она не смотрела, но слышала, как там истязали Каншау. Стонал ли там под ударами Каншау, она не знала, но горько и безутешно стонал Жансох.

...Карча навсегда запомнил вкус и запах конского зада. Всю жизнь он был унижен своим ростом, своей бедностью, даже своими широкими выпирающими скулами. Но унижение, которому в час торжества, в час, когда он почувствовал себя человеком, подверг его Каншау, не шло в сравнение ни с какими унижениями прежде. С того дня его не радовали ни сегодняшнее богатство, ни завтрашняя его жизнь, исполненная славы и могущества. Какая слава, какое могущество, если во всем был *тот запах!* Ему казалось: вся его жизнь теперь, когда он сам стал хозяином,— гоппан с чистым пенистым айраном, но в этом айране плавают катышек овечьего помета — память о том, что сделал с ним Каншау. Он крутится, выскальзывает из пальцев, и ради того, чтобы избавиться от этого катышка, он даже готов расплескать айран.

Что ж, пусть теперь и Каншау поцелует зад его коня! Ради этого он купил лошадь. Сначала он заставит Каншау поцеловать зад своего коня, а потом застрелит его. Но Каншау забрали в «дикую дивизию». Когда же Карча узнал, что тот вернулся и ушел к Батталу, он тоже отправился в горы. Он выслеживал его, стыл в засаде, волком выл в

ночи, но так с ним и не встретился. Теперь Каншау был в плену. И когда ему вынесли приговор, он увидел перед собой Карчу. Тот приветливо улыбнулся ему и, протаскив сквозь сжатый кулак ременную плеть, громко шелкнул им. Он шел рядом с Каншау, когда его выводили на площадь, стоял рядом, когда привязывали к дереву, и все время протягивал плеть через кулак и шелкал ею.

После первых ударов народ стал уходить с площади. Остались только охрана и человек двадцать любопытствующих.

Накануне был дождь. Теперь туман поднимался к вершинам, день обещал быть хорошим. Карча не торопился. Каншау молил про себя: «Мужество, не покидай меня, не срами перед этими изуверами».

...Четыре, пять, шесть...

«Терпение, терпение, терпение».

...Семь, восемь...

«Я вынесу, я все вынесу! Пожить бы еще хоть недельку!»

...Одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

«Раб мой, Карча, не срамись — бей как мужчина. Баран пытается стать волком. Но волки не признают его. Черная у тебя кровь, несчастный, черная кровь...»

...Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

После двадцати ударов Каншау уже ничего не чувствовал. Ему показалось, что он обнял огромный камень и старается сдвинуть его с места, но земля уходит у него из-под ног, проваливается, и теперь уже камень опрокидывается на него.

После пятидесяти ударов Карча присел отдохнуть. Майдан был пуст. Часовой с винтовкой торопил его, но Карче нужна была сила, чтобы не продешевить, чтобы расплатиться и насладиться сполна. Как ребенок оставляет самый сладкий кусок напоследок, так и Карча сидел и предвкушал их — десять оставшихся ударов. А когда отдохнул и поднялся с камня, на площади показался Адей-эфенди, он шел потупившись, ведя коня в поводу, в правой руке его была сложенная вдвое камча. Он решил, что в последние, скорее всего смертные, минуты своего сохты должен быть рядом с ним. Он шел, опустив глаза в землю, и перед взором его стояло лицо мальчика Каншау, когда он в день испытаний в мечети читал коран, лицо юного пророка, в котором была вся скорбь и надежда мира.

Карча глянул на эфенди и, встревожившись, расправил

плеть. Он поспешил ударить, но бич zaseкся и упал на окровавленную спину Каншау сдвоившись. «Эх, смазал!» — застонал про себя Карча, и чуть было не закричал: «Не считается, не считается!»

Тонкий голос мальчика Каншау пропел в ушах эфенди: «Вкусите же, нет для несправедливых помощника!» — из суры «Ангелы». Вся слабость, вся печаль эфенди вылилась в гнев, его плеть обрушилась на Карчу, и он хлестал, куда Карча не свалился на землю.

Часовой, пораженный неожиданной яростью уважаемого его начальством человека, не знал, как поступить, только переключивал винтовку из руки в руку. Опомившись, Адей-эфенди дал знак часовому и Карче, чтобы унесли Каншау.

Бедному Карче опять не повезло, так он и не наслаждался ими, десятью последними ударами, самыми отрадными.

\* \* \*

Около полуночи Нальбике пришла к подвалу, где лежал Каншау. Часовой хотел было оттолкнуть ее прикладом, но, разглядев в протянутой руке золотую монету, быстро огляделся по сторонам и открыл дверь.

Каншау ничком лежал на охапке соломы. Нальбике кинулась к нему, потрогала его лоб, послушала сердце. «Живой мой илячин, мой сокол, живой...» — чуть не вскрикнула от радости.

Она вышла и вскоре вернулась с буркой, расстелила возле Каншау и перетащила его, лапами укутала босые ноги. Натерла спину мазью и накрыла большим чистым полотенцем, еще теплым от раскаленного утюга. Вышла и снова вернулась с кувшином воды. Намочив платок, вымыла ему лицо. Каншау задвигался, попытался приподнять голову, но тут же упал лицом на бурку.

— Воды, воды, русская женщина... — прохрипел Каншау, — один глоток, — видно, ему казалось, что он с раненой ногой лежит в госпитале и к нему подошла сестра милосердия.

Нальбике напоила его, и он опять забылся. Она сидела рядом и сторожила его сон. Два этих дня она жила в страхе, два этих дня, лишенных милосердия, две эти ночи, лишенные сна, проходя друг за другом, не приносили ей ничего, кроме отчаяния и тоски. Сейчас, сидя возле Кан-

шау, она знала: под страхом и яростью, под великой измозжившей сердце обидой в ней зрела другая, никаким страхам и никакой ярости не подвластная сила — сила жизни, и Нальбике сидела, прислушиваясь к ней. Чувство продолжения жизни было в ней безошибочным, как у всех женщин, и здесь, в подвале, она хотела передать ему эту силу, веря, что лишь она может вернуть ему жизнь. Сидя рядом с ним, сторожа его предсмертный сон, она чувствовала биение этой жизни, благодарно глядела на искаженное лицо родного человека, на его сильные руки, густые черные волосы и представляла сына таким, каким она увидела его отца впервые...

— У тебя будет сын, — прошептала она.

Она рождена была для того, чтобы дать ему счастье. Они могли бы улыбаться друг другу каждый день, смотреть в глаза своему ребенку. Муж и жена...

Вот ее муж, навьючив дровами десять ишачков, будет возвращаться из леса, усы его обледенеют на морозе, повиснут сосульками... Вот же он отправится в дальний путь, и в горах разбухнет гроза, она будет молиться и просить бога уберечь его, ночью не будет спать, будет то и дело, накинув бота, бежать к двери, при каждой вспышке молнии, ударе грома будет останавливаться ее сердце. Видно, слишком многого они хотели от жизни, не хватило у аллаха, милостивого, милосердного, могущества на такой дар.

И все же он милостив: Қаншау не ушел не простившись.

— Нальбике, я был... — сказал он и надолго замолк.

— Ты был и есть добрый и смелый! — сказала Нальбике.

— Иди домой, уже светло... Иди в мой дом, месть моя, теперь лишь он твоя крепость.

— Мы убежим... У меня есть золото, я золотой ниткой зашью страже глаза...

Қаншау застонал. Нальбике вытерла ему лицо платком.

— Это Қарча бил тебя... Уж очень он старался.

— А так жить хотелось...

— Ты будешь жить! — пообещала Нальбике. — Сначала мы будем жить втроем: ты, я и наш сын. Потом нас будет много. Ты слышишь, у тебя будет сын...

— Ночью мы убежим, — уже бредил Қаншау. — Я предупредил Баттала... У нас на огороде будут расти рябины...

Часовой торопил Нальбике — надо было уходить. Она в последний раз обняла голову Каншау. Волосы его были мокрыми от ее слез.

Она взяла кувшин и пошла к реке. Когда с полным кувшином подходила к дому, возле ворот увидела сидящего отца и Карчу, который стоял рядом с таким видом, словно попросил о чем-то и теперь ждал. Он действительно пришел проситься обратно в пастухи к Айдаруку вместе со своим стадом. Всю ночь не спал Карча, думал о том, что ничего ему в жизни не удастся — даже десять последних ударов, выношенная его месть, не удалась. И он понял: хозяином-то он стал, а вот человеком, мужчиной так и не удалось. Смутное, страшное время в горах — люди гибнут, словно от мора, где уж тут спасти свои отары? Вот и решил он вернуться к Айдаруку, переждать бурю возле сильного человека. А станет спокойнее — тогда можно и попросить своих овец, вместе с заработанными вновь, обратно и попытаться стать хозяином еще раз. Подумал было прибиться к Ерюзмеку, он-то вроде будет посильнее, но быстро сообразил, что принять-то Ерюзбек примет, но вот отпустит ли потом? Ерюзбек разом его проглотит вместе с его овцами, с чабурами, с бараньей шапкой и не поперхнется.

Таков был план Карчи, когда он пришел рано утром к княжескому дому, увидел Айдарука возле ворот и изложил свою просьбу. Но Айдарук молчал, даже глаз от земли не поднял.

— Добрый день, бийче, — подбежал Карча к Нальбике.

Он уже снова чувствовал себя жалчи Бурундуевых.

Нальбике молча прошла мимо с кувшином на плече.

— Не приболела бийче? — повернулся Карча к Айдаруку, но, не получив ответа и там, обиженно поник.

Но тут Нальбике, словно вспомнив что-то, остановилась и заговорила сама:

— Карча, кувшин тяжелый, помог бы.

Айдарук удивленно покосился на дочь, а Карча со всех ног бросился к ней и принял кувшин из ее рук. А когда он опустил кувшин на крыльцо, Нальбике поразила его еще больше:

— Карча, как растрепался ремень твоей винтовки! Дай-ка я замену его.

— Лишь одно добро видел от вас, бийче!

— О чем тут говорить! А ты пока сходи посмотри, как там этот... Каншау.

Айдарук с рассветом пошел к князю, который командовал захватившим Жамауат отрядом, и добился, чтобы родственникам разрешили забрать домой истерзанного Қаншау. Он уже готов был пойти посмотреть, как там Қаншау, что с ним, но одна мысль остановила его. Он вернулся домой, поднялся в комнату к дочери, там ее не было. Он сел у ворот и стал ждать. Теперь, когда дочь вернулась, он встал и направился к Қоналию.

...Из чердака высокого айдаруковского дома были хорошо видны площадь, управа, дверь подвала, где лежал Қаншау.

Растерянный Карча пошел, как велела Нальбике, взглянуть, как там Қаншау. Он шел и ломал голову: зачем это понадобилось бийче? Войдя в подвал, он оторопел: Қаншау лежал на добротной бурке, в какой не стыдно ходить и бию... Так и есть: бурка айдаруковская — Карче ли не знать одежды своего хозяина? И полотенце их!

Он выскочил из подвала и, увидев идущего через майдан Айдарука, закричал:

— Бий, бий, у тебя в доме враг! — Он набросился на часового: — А ты куда смотрел? Тебя что? Отцовскую могилу охранять поставили? Бий, бий! Я не зря говорю!

Но догадка, которая с такими усилиями вызревала в нем, наконец озарила его, пораженный, он застыл в проеме дверей. И тут где-то прозвучал выстрел.

Карча схватился за левое плечо. Стукнул еще выстрел. Карча согнулся в поясе, покрутился на месте и грохнулся у порога.

Айдарук, даже не дрогнув лицом, круто повернулся и зашагал домой.

Нальбике сидела на веранде, зашивала новый ремень на винтовке Карчи, иголка прыгала в ее руке. Потревоженная выстрелами, вышла из своей комнаты Акбийче. Айдарук посмотрел на чердак своего дома, перевел взгляд на дочь...

— Вот, крепкий теперь ремень, не скоро износится, отдайте ему, — сказала Нальбике. — Он старательный, старательных надо поощрять!

Айдарук, разом постаревший, обнял Нальбике.

— Прости, дочь, не смог быть тебе опорой, будь я человеком, не сделал бы тебя несчастной. Я плохой отец, слабый человек... Прости, дочь.

Акбийче презрительно фыркнула и захлопнула за со-

бой дверь. Айдарук, переборов свое волнение и княжескую гордость, сказал:

— Возьмем его к себе. Позовем самых лучших лекарей. Я обещал выкуп.

Но Нальбике его не слушала. У нее было свое решение, свой откуп от судьбы.

— Не горюй, отец. Горе пуще прежнего впереди.

## XI. МУКИ ПРОБУЖДЕНИЯ

В дни тяжелого непокоя, когда два его сына разом находились в отряде, Коналий спускался к реке и долго бродил вдоль берега. Уже по склонам дрожало и растекалось марево, и тишина была такой древней, такой неизменной, что казалось: пророк Ибрагим<sup>1</sup> только здесь мог пасти свои стада; и еще Коналию казалось, что ничего с тех пор не изменилось: и беды людские, и тревоги отцовские все те же, и за мировые неполадки все так же приходится расплачиваться сыновьями. Но тогда бог избавил Ибрагима от мук, не принял жертвы, отпустил его сына Исхака; тронутый верностью своего пророка, бог тогда отменил обычай приносить в жертву людей. Но повторит ли великий заступник свое милосердие, вернет ли Коналию живыми двух его сыновей?

...Теперь он уже не спускался к реке. Он сидел во дворе, люди приходили и выражали ему соболезнование, могильный холм его сына быстро зарастал травой. Коналий больше не верил в историю Ибрагима, истинными божествами для него отныне были Айдарук и Адей. Они вырвали умирающего Каншау из рук истязателей. Благодаря князю и эфенди он умер в своем доме, на старой деревянной кровати, под стук черной капели в каменной нише. Нет, историю Ибрагима Коналий не вспоминал, в эти дни он думал о Якубе<sup>2</sup>: нежнее всех из двенадцати своих сыновей Якуб любил Юсуфа и потерял именно его. Но Якуб от горя ослеп, а Коналий держался стойко, не выказывал своего горя. Он лишь крепче прижимал к груди палку и кивал, когда в утешение ему приводили в пример горестную

---

<sup>1</sup> Ибрагим — библейский Авраам. Он хотел принести своего сына Исаака (мусульм. Исхак) в жертву богу, но в последний момент подменил жертву, послав вместо Исаака барашка.

<sup>2</sup> Я куб — библейский Иаков, отец Иосифа.

участь пророков и шейхов, а по вечерам, когда расходились люди и поднималась вечерняя звезда, он брал в руки коран и читал Ясин<sup>1</sup>.

Не много грехов снимал Ясин — Каншау не был повинен перед богом, он был чист, этот сын Коналия, почтителен и слишком добр, чтобы иметь грехи. Но Ясин на время снимал тоску. Приходил Адей, подолгу сидел с ним. Приходил и Айдарук. Он крепко сдал, сгорбился, глядя в его тусклые запавшие глаза, Коналий думал: он еще несчастней, у меня остались два сына — Жансох и Рамазан, а он схоронил единственного.

Смерть Каншау была воспринята Жамауатом с особой скорбью, и похороны продолжались дольше положенного. В дни поминальных обрядов ушел принесший столько бед враг. Отступила и ушла непонятная война, и все осталось на своих местах: богатые стали затыкать и латать бреши в своем хозяйстве, бедняки были озабочены тем, к какому князю или богатею пристроиться в батраки. Шли бестолковые сумятливые месяцы, а жизнь в Жамауате все оставалась двойственной, неясной, точно сдвинутый наводнением мост, — люди гадали, спорили: восстановить его или выстроить новый? Время шло, а мост все стоял на новом месте, и люди уже привычно обходили щели и проломы, перепрыгивали через провалы — так делали и те, кто кричал, что надо восстановить старый мост, и те, кто хотел поставить на новом месте новый.

Вернулся в Жамауат Баттал и набрал пополнение в свой отряд. Жансох, уже почти здоровый, присоединился к нему. Исчезли из аула Заммай, сыновья других богатых людей, хотя сами отцы этих семейств оставались дома. В аулах создавались Советы, комиссии крестьянской взаимопомощи, ими руководили в разные дни разные люди, и странно: эти люди (замечали в Жамауате) ничем раньше не приметные, вдруг начинали проявлять такую живость характера, что все только диву давались. Не проходило и недели, чтобы народ Жамауата не собирался на сход, и такой стоял там спор, что крики, вероятно, долетали до ледников. Адей не признавал этих крикливых сборищ и не ходил на майдан. Но когда однажды все же пришел, то одним своим словом решил все споры.

— Мы хотим спокойствия, — сказал он. И оглядел собравшихся вопрошающим взглядом. — Разве мы не устали

<sup>1</sup> Ясин — сура корана, считается сурой искупления грехов умершего.

от волнений? От ссор и неизвестности? Если мы хотим закончить с угнетением и восстановить справедливость, то управлять нашей жизнью должны люди, знающие труд. Верно я говорю, жамаат?

— Верно, верно,— кричали собравшиеся.

— Пусть пастух не умеет писать, читать, но он прекрасно поймет другого пастуха, другого трудящегося человека. Верно?

— Верно, верно,— загалдели снова.

— Так вот, не лучше ли поставить в управу Бекболата?

— Бекболат не бедняк!

— Зато он певец и говорить умеет!

— А Ерюзмека? — спросили из толпы.

— В шею! Пусть отдаст ключи,— из толпы же и ответили.

Так был избран первый председатель Жамауата. Но никто — ни сам Бекболат, ни предложивший его Адей, а уж те, кто поднял руки за него, и те, кто поднял против, тем более — не знали, чего и кого он председатель.

До Жамауата дошли вести, что отряд Баттала слился с частями Красной Армии. Что это за армия, тоже не понимали, видать, в нее объединились все большевистские отряды Северного Кавказа. Но пока что армия воевала где-то вдаль, и знамена ее реяли над другими землями и на других склонах эхом отдавался рев атакующей врага красной конницы. В общем — Баттал был там.

И вот белые снова были здесь.

И они сожгли дом Баттала — и опять подворье Гитчуелана стало пустошью. И тесный двор Қоналия окружили всадники во главе с офицером.

Против них встал Рамазан. Из рваных его штанин торчали худые коленки. Қоналий стоял, облокотившись на кладку дров. В тесном переулке собирался встревоженный народ.

— Связать! — приказал офицер, показав на Қоналия.— И привяжите его к коню.

Двое схватили Қоналия за руки, заломили назад. Рамазан волчком бросился на одного из них, ударом ноги тот отбросил его.

— Чтобы твоя мать стала твоей женой,— сказал Рамазан.— Погодите, вернется Жансох...

— С ребенком-то справились! — сказал кто-то из стоящей вдоль ограды толпы.

Офицер подъехал к Рамазану, склонился над ним. Рамазан схватил камень с земли, оцетинился:

— Тейри, запушу этот камень в твою рожу...

— Что мне с тобой, ребенком, делать? — Офицер обернулся, крикнул стоявшим в ожидании его приказа солдатам: — Ну, чего стали? Сжечь это проклятое гнездо!

Невысокого роста солдат, все это время стоявший с опущенной головой, пошел в хлев и вышел оттуда с охапкой сена, понес в дом. Но тут же вышел обратно и в растерянности встал у дверей.

— Чего встал, почему не горит?

— Там... Там лежит женщина...

Со дня смерти Каншау Кундуз не вставала с постели.

— Пусть не лежит, жги!

— Разве мы не мусульмане... — Солдат пытался еще что-то сказать, но офицер наехал на него конем, втокнул обратно в дом.

— Вы с партизанами воюйте! А не с женщинами! — раздались выкрики с проулка.

— Заткнитесь,— сказал белый офицер. — Заткнитесь все, если не хотите, чтобы сожгли и вас.

Угроза подействовала, и гневно загудевшая было толпа примолкла. Люди по одному, по двое стали переходить с этой стороны проулка на другую.

Дом загорелся. Рамазан бросился в дом. Маленький солдат, перехвативший его, чуть не упал вместе с ним.

— Не держи, пусть этот выродок сгорит вместе с домом,— сказал офицер. Он повернулся к толпе.— Разве она женщина? — Конь его вставал на дыбы, танцевал в тесном дворе горящего дома.— Разве она женщина? Она же сука, вырвавшая отступников.

— И пусть твоя мать так сгорит! — крикнули из проулка.

— Пусть сгорит! — в ярости выкрикнул офицер.— Пусть сгорит, если я стану врагом своей земли, как ее сыновья!

Рамазан, силясь вырваться из рук солдата, бился ногами о землю.

Огонь разгорался.

Связанный по рукам Коналий, которого с двух сторон держали два солдата, закричал:

— Люди! Неужели больная женщина сгорит в огне?

Всадники, опасаясь, что люди бросятся в горящий дом, встали в воротах. Тщедушный солдат поднял голову, бешеными глазами оглядел своих товарищей и, отпустив

вопящего без остановки Рамазана, бросился в дом. Он вышел, неся на руках укутанную в одеяло Кундуз, отнес ее в хлев и опустил на солому.

Кундуз силилась поднять голову, найти Қоналия и Рамазана. Лицо ее было влажным, блестело от жары. Рамазан бросился к матери, крепко обнял ее.

— Ана! Ана! Пусть убивают! Всех нас они все равно не убьют, не смогут! Вот увидишь!

Кундуз не могла даже слова произнести, она лишь изо всех сил старалась покрепче прижать мальчика к груди.

Печальный солдат отошел в сторону и, готовый принять любое наказание, встал перед сидящим на коне офицером. Тот презрительно взглянул на него и, ничего не сказав, полоснул его нагайкой.

Солдат упал. Из рассеченной шеи брызнула кровь. Никто из товарищей не подошел к нему.

Ветхий деревянный дом Қоналия занялся сразу. Вскоре одна за другой стали падать балки. Кундуз не смотрела на свой горящий дом, но чем выше поднимался огонь, тем сильнее она прижимала мальчика к груди. Она не плакала, не звала на помощь, лицо у ней было такое, словно она напряженно обдумывала какую-то свою догадку. Казалось, огонь вместе с домом выжигал и ее болезнь. Когда уже ввалился внутрь дымоход, она встала и, все так же прижимая к себе Рамазана, подошла к всадникам. С обнаженной головой она стояла перед ними, мокрые редкие волосы ее были взлохмачены.

— Огня! — крикнул офицер, не обращая внимания на Кундуз. — Дайте мне головешку.

Ему дали дымящую головешку, и он бросил ее в хлев.

С минуту он смотрел на занявшийся пламенем хлев. Конь его все танцевал и вставал на дыбы.

— К лошади собачьебородого! — крикнул он. — Привяжите его к лошади!

Кундуз, прикрывавшая собой Рамазана от огня, не проронила ни слова. Солдаты привязали конец веревки к седлу и выехали со двора. Сначала Қоналий пытался бежать, потом упал.

— Ой, безбожные насильники, — голосили женщины. — Язычники бездушные! С немощным стариком сладили! Чтобы сами своих матерей так волокли!

— Жандаровы не Жандаровы будут, если простят им это! — сказал кто-то.

— Сидел бы дома Жансох, как бедному пастуху поло-

жено,— злорадно возразил другой.— Ружье взял, в партизаны, видишь, пошел!

— И всех Жандаровых надо спалить! Они всегда мутят воду! И Баттала следует поджарить! — распаялся третий.

— «Поджа-арить!» — передразнили его и посоветовали: — Если так широко рот разинул — зараз уже проглоти чего-нибудь.

— Как еще проглотит! — тут же уверили советчика.— Еще горячей головней с этого пепелища подавятся!

— Коль смерть подступит, у муравья крылья вырастают.

— Весь-то аул не уничтожат. А весь аул поднимется — тогда увидят!

Люди стояли вдоль каменных заборов и глядели, как по главной улице Жамауата волокут Коналия. Похожий на туго стянутую вязанку хвороста, он то катился боком, то волочился спиной или на животе. Рубаха его разошлась в нескольких местах, лохмотья сбились к подмышкам, и когда он переворачивался, видны были новые кровавые ссадины, потеки на тощем, измазанном дорожной грязью теле. Он волочился, крепко зажмурив глаза, стараясь спрятать лицо, бороду, задыхался от пыли и песка; что с ним творилось в этот час, какую муку и стыд он испытывал, одному богу было ведомо. Протащив через аул, его заперли в подвале под управой.

...Теперь уже Бекболат, оказавшийся в самой гуще горячей жамауатской каши, прятался в чужом закутке за жыйгычом. Спрятал его тот, кто удружил ему с председательством, — Адей. Туманным вечером, когда враг вступил в аул, Бекболат постучался в двери эфенди и сказал:

— Ты посади меня за красный стол, посади теперь в свой закуток. Чтобы потом Хабай тебя при всем народе не прокляла.

Он был веселый человек, в закутке ему хотелось петь. От него Адей узнал о своем спятившем сыне. Однако, хвала аллаху, Алихан, хоть спятить-то спятил, но оказался хитрее простодушных сыновей Коналия — никто в Жамауате не знал, что Алихан не в священных землях постигает мудрость корана, а в партизанском отряде таскает винтовку. Адей, как и все, горевал, сомневался, искал свой берег, камень, на который мог бы опереться. Его как учителя и эфенди почитали, не беспокоили, обходили и те, и другие. Но Алихан... Погиб Қаншау, теперь Адей ждал

погибели и на свой двор,— он не принимал, не допускал даже мысли о своем участии в этой кровавой борьбе, но поток уже схватил его и нес, кидая от берега к берегу.

— Надо же такому случиться,— говорил он Бекболату, когда тот ночью вылезал из-за жыйгыча.— Мы все охвачены потоком, одна река несет нас — тех, кто с аллахом, и тех, кто без него!

— Ты прячешь у себя дома красного председателя, тебя за это повесят,— отвечал на это Бекболат.

— Но ведь повесят и красные!

— Конечно, ты же считаешь их неправыми...

— Что же делать?

— Идти по одной дороге с народом. Пусть даже повесят тебя — народ похоронит тебя с почестями!

— Ха, завидная участь! — восклицал Адей. Потом, после некоторого раздумья, разводил руками: — Я учил людей, а впору самому начинать с алифа...<sup>1</sup>

Так они сидели и разговаривали — или через дверь закутка, или поздно ночью за ужином. И каждый подолгу размышлял наедине, времени хватало у обоих, особенно у Бекболата, ведь он не мог даже петь.

Этот второй приход белых не был похож на первый: когда они после боя в ущелье заняли Жамауат, то не так свирепствовали — истязание Каншау было их единственным вселюдным судилищем. Тогда князь Айдарук смог отворотить виселицу на майдане. А эти уже никаких порядков не знали, никого не спрашивали и виселицу поставили сразу. Эфенди они не тронули. Адей понимал, что они его не боятся, — опасаются корана в его руках, хотя не в пример тем, первым, о вере и не вспоминали. Теперь — вешали.

Видно, Коналия тоже ожидала виселица.

Беда приносит горе, но дает и терпение. Первая рана — особенно жгучая, боль следующих уже не так остра. Но терпение не притупляет чувств, не подавляет воли, не оглушает, — наоборот, поднимает на ноги, отрезвляет и объединяет; малых делает взрослыми, взрослых заставляет взять в руки ружье, вилы, топор — кто что имеет.

Адей, хотя Бекболат и предлагал в простодушии своем быть вместе с народом, и без того считал себя камнем и

---

<sup>1</sup> А л и ф — первая буква арабского алфавита.

деревом этой земли, хозяином, а не кунаком Жамауата и потому, уже втянутый в борьбу, раздирающую аул надвое, страдал, и страдал не за себя, а за эту землю, камнем и деревом которой считал себя.

Бекболат же сидел в своем закутке, измученный долгим вынужденным молчанием, и думал о том, что тысячами людьми пели о свободе, о вольной богатой жизни. И в нынешних речах о том, что старый мир падет, а на месте его встанет новый, правильный, лучший мир, была та же окраска, тот же цвет надежды, что и в старинных песнях о свободе.

Тут ему каждый раз хотелось затянуть какую-нибудь старинную песню, но он спохватывался и размышлял дальше. Пусть в руках у этих оружие, думал он, пусть танцуют под ними самые резвые кони — Хабай приходила и рассказывала, что ходят они по переулкам Жамауата с оглядкой, поджав хвосты, винтовки всегда наготове. Освободители! Освободители так не ходят, им нечего и некого бояться! В прежние времена женщины Жамауата, вынося воину-победителю холодный айран или студеную родниковую воду, стояли не поднимая глаз, покуда воин не напьется, а воин, хоть и был истерзан жаждой, лишь того боялся, как бы не намочить усы и тем не опозорить себя в глазах женщины. Женщины — всегда женщины, *этим* они тоже выносили айран — но как они пили! Словно под дулом, словно каждый миг готовы были отпрыгнуть. Не столько пили, сколько лили на землю и себе на грудь. А тот, кто уверен в себе, не рассыпает угрозы, не волочит на аркане мирного крестьянина! Но если жажда справедливости перешла в открытую борьбу, — ясно, этим в ауле долго не удержаться.

— Но где, когда и в какой стране, у какого народа надежды не были связаны с утратами? — спрашивал Бекболат у Адея, он сидел в закутке за жыйгычем, а эфенди возле самой дверцы на стуле, и так они разговаривали часами.

Говорили об очистительной буре, что нескончаемо долго таилась в неведомых далях и глубинах; не в силах она была прорваться в ущелье, не могла пробить дорогу, чтобы взломать, раскидать залежалую окаменелость жизни во всем — в хлебах и загонах, в темных, со щелями вместо окон, саклях, в заплесневелых жыйгычах и дымных очагах, в тесных крутых дворах, в залежалых, перепревших горках навоза, в узких переулках и каменистых на-

делах земли, в потных сгорбленных спинах людей... Эта затхлость, неподвижность жизни лишала их смелости, воли к свободе, к борьбе. Теперь прорвалась эта буря, она хлещет и бьет прочно слежавшуюся жизнь, точно ножом выскобливает, водой промывает ущелья. Как же может такая буря отгреметь без жертв? Даже аллах не делает добра, если не принесешь ему жертву. А кто справедливей и добрее аллаха? Сколько человеческих жертв было принесено языческим богам, чтобы вымолить у них дождь в летний зной? А тут речь идет о свободе!

Бывало, они подолгу молчали. Луч солнца тогда, пробившийся сквозь щель и здесь, в темноте, блестевший как меч, осторожно ощупывал стену, резал легкую пыль, и в доверительном задумчивом безмолвии вдруг рождались высокие слова, и Адею казалось, что дар пророчества в такие минуты касался Бекболата. Кузнец обращался к тем, кто в горе опустил головы, вещал о буре, подбадривал робких — и все вроде про себя, ни к кому не обращаясь и в то же время обращаясь ко всем. Видно, нестерпимо палил его внутренний огонь, и жарким словам было тесно в груди, и Адей по эту сторону дверцы усмехался и качал головой: как верно, что он предложил поставить во главе Жамауата в это смутное время Бекболата, — он и пошутить может, и спеть, и если уж отругает, то отругает как следует, и даже высокое слово высоко взлетит из его шутивых вроде бы уст. Человек ковал железо, ездил по миру, танцевал и пел, а глянть, какой мудрости набрался. Было радостно Адею, словно он наконец-то разглядел, узнал свой берег и вырвался из потока. А Бекболат продолжал:

— Те, кто приносил себя в жертву богам ради того, чтобы щедрый дождь пролился на землю, — разве они не были такими же здоровыми и сильными парнями? И все в мире связано. Что было когда-то — будет снова, а что свершается сегодня — повторится в будущем, — сказано немной, а пророками. Не верь затишью, ветер вечно кружит вокруг наших гор! Ветер тысячи бед и тысячи надежд. Жамауат всегда был ветвью мира, и потому на долю его детей выпало все то, что испытали люди в мире, и каждую каплю своего человеческого достоинства они оплачивали своей кровью.

## ХІІ. ПЛАЧ О ГИБЕЛИ НАРОДА

И тоже было странно: если взглянуть на князя Айдарука так же, как смотрел на него аул,— Айдарук, который так хорошо разбирался в путанице жизни, так складно все растолковывал, был заботлив, внимателен к нуждам аула, вдруг, словно затаив обиду на Жамауат, замолчал. Что же случилось с князем? Или в час, когда пестрый мир начал межеваться на черное и белое, бия потянуло к своим?

Что ж, тоже урок, тоже перевал. Когда начались роды, он выбрал своих — все ясно. Не было единства между бием и жалчи и не могло быть. И старики, уже было снарядившие послов к Айдаруку за советом, остановили их: если почтенный князь не увидел их, когда они сидели, так надо ли вставать, чтобы он увидел их стоящими?

Но ведь и его согнуло горе! Погиб Шабатай. И он был молод, как и Қаншау, и ему бы жить и жить счастливо. А что же Жамауат? Быстро же он забыл, что князь потерял единственного сына!

Нет, Жамауат помнил это. Но Шабатай чужую кровь лил и свою выплеснул — не ради других, ради себя одного. Ради себя бесчинствовал. Князь же, видать, был осенним солнцем, грел только в ясный день, и доброта его была не от полного сердца, а от полного закрома, не милостью, а милостыней одаривал он. А теперь, когда нужно было встать вровень с народом? С теми, кому он отсыпал свою милостыню? Не-ет! Как бы не та-ак! Он бий, и с бийства своего не сойдет. И хотя он не вышел навстречу с дарами, но все же белый предводитель поселился именно в его доме. Так рассуждали в Жамауате.

«Спящий проснется — обманутый поймет», — говаривал Жарнес. Это была его поговорка, им самим придуманная, а кто не знает, что старик, перешагнувший за сто, зря слова не вымолвит. Но пока не ткнулись всем аулом о Жарнесову мудрость лбом, никто этих слов в расчет не принимал. «Есть у нас такие люди, а может, и у других народов есть, не знаю,— Жарнес, что говорил, говорил просто,— есть люди, которых обманывают всегда. Тысячу лет обманывайте таких, все сойдет. Есть и другие, но и их можно обвести вокруг пальца. А народ? Весь народ? Знайте, куда я жив: никто не обманет народ. Давно я это сказал князю. Сказал: помни мои слова, а забудешь — погубишь себя. Спящий проснется — обманутый поймет».

Что и говорить, сгорела жизнь князя Айдарука, опро-

кинулась его арба. Многолетние его труды, доброта, богатство стали его же врагами. Перестав быть надеждой своего аула, он перестал быть хозяином своего дома и самого себя. Хозяином теперь был тот белый командир, и слово, и сила теперь были его.

Нальбике смотрела на отца, полная дочернего сострадания, она видела его боль, его смятение, его тоску по достойной смерти.

— Не теряй веры, отец! Не к лицу нам в такой день отчаиваться!

— Чему верить? Чему я могу верить, дочь? Что осталось? Мы сами разрушили свою крепость.

Айдарук словно впервые увидел эти развалины, Нальбике же видела их еще тогда, когда побежали первые трещины, еще когда брат, швырнув ее на пол, избивал в последний день своей свадьбы... Что же теперь-то об этом горевать? Живому о жизни нужно думать. Выход найдется, лишь бы человек в самый трудный свой час оставался человеком.

— И в смертный час человек не теряет надежды,— сказала Нальбике.— У многих так — дома сгорели, сыновья погибли. Правда, не князья они, просто люди. И у них сердце — такой же комочек, и одинаковый вкус горя и тишина смерти. Не ты ли говорил о человечности, всю жизнь искал ее? Кусок в горле застревал от жалости к бедным. Что же теперь, отец? Не смела спросить, пока жив был твой пастух, теперь могу. Что же теперь? Или же щедрость только тогда, когда уже добро не влезает в хурджин? С высокого крыльца говорить хорошо? Коли так, то и стертый грош — слишком высокая им цена. Или же... Или же не только других, но и меня, единственную дочь, обманывал всю жизнь? Так глубоко была спрятана истина, что я, твой ребенок, готовая ради тебя умереть, не могла добраться до нее?

Айдарук сидел склонив голову и с изумлением думал: а ведь для счастья было достаточно и того, что он отец такой дочери. О, как хотелось князю, в уста которого смотрел весь Жамауат, да что Жамауат — из других ущелий приезжали, дальние дороги, высокие перевалы преодолевали, лишь бы услышать его совет,— как хотелось ему, чтобы кто-нибудь вывел его из этой душевной тьмы, сказал ему хоть какое-то слово! Но кто скажет это слово, кто поведет князя, если его смятенный ум, осиротевшее отцовское сердце хотят видеть одного лишь Каншау... Сам под-

рубил свое дерево, сам лишил влаги его корни, а эти корни жаждали дать жизнь, зеленое цветение его дочери...

— Что же мне делать, дочь моя? Что делать?

Не зная, что сказать отцу, Нальбике долго молчала.

— Я не сын, князь, и посоветовать, как сын, не могу, я дочь,— наконец сказала она.— Волос длинный — ум короткий. Знала бы что делать, не сидела бы сложа руки. И все же... Будь с ними, с народом. Вот все, что я могу понять.

Теперь молчал Айдарук. Опершись спиной о большие тюки с приданым дочери, он долго думал над ее словами.

— Нет, дочь! Нет у меня силы... не осталось больше. На это Нальбике не сказала ничего.



Княгиня жила своей отдельной жизнью. До мужа ей не было дела, а дочь сама не подпускала ее к себе. И чем сильнее сгущались сумерки над нею, тем величественней становилась она. По утрам она тщательно одевалась, так и ходила весь день — в строгом с золотым шитьем одеянии. Весь свой великий гнев, всю ненависть и жажду жестокой мести несла она в своей сухой, словно бы совсем не дышащей груди. Жила — ни с кем ни говорила, ни к чему не притрагивалась. Трудно было представить, что она тоже ест и спит. Не на мать, оплакивающую своего сына, не на княгиню, лишившуюся княжеской власти, — она походила на хищника, не знающего чем утолить свою ярость. Но живя так, больше других она казнила себя. Все перебарывала Акбийче — голод, жажду, болезнь, горе и даже смерть сына перемогла — все перемалывала она в своей душе, и все шло на подкормку ее гордости.

Но мерзость, бесстыдство дочери лишили ее самоуважения, и вся она — душой и телом — была разбита отчаянием. Она была готова вырвать свое сердце, сжать его так, чтобы оно спеклось в черный камень, и бросить этот камень в дочь. Когда бы дочь упала бездыханной, она подняла бы этот камень и швырнула его во всех людей — в каждого, не разбирая, богат ли он, беден ли, прав или виноват. Но Акбийче не могла этого сделать, оттого сохла и чернела на глазах, и день ото дня лицо ее все больше сливалось с черным платком, что был на ней.

Она не зналась и с предводителем отряда, живущим в их доме, не замечала его солдат, даже мужа и дочери не

видела она. И притом Акбийче ничего не забывала, все готовилась куда-то, собирала, укладывала, увязывала. Старинные, обшитые серебром сундуки набила она всяким добром и замкнула на замки. Золотые монеты были защищены в сафьяновый мешочек, а мешочек она повесила себе на шею. С грустью поглядывал Айдарук: довольно-таки увесист был сафьяновый мешочек — не для княгининой шеи кладь. И все же княгиня ходила прямо, шею не гнула. Много лет они жили рядом, спали в одной постели, были и счастливые дни, и неужто мешочек — все, что осталось от тех дней, и был дороже всего? О них ли должна думать княгиня древних кровей, если она хоть что-нибудь, кроме золота, унаследовала от своего славного старинного рода? Иногда Айдарук пробовал что-то ей сказать, сомнение какое выразить, но слова соскальзывали с нее, как стрелы с гладкого камня.

В один из таких дней Акбийче подошла к Айдаруку, села рядом, положив тоненькие сухие ручки на колени. Вся в черном, тихая, как облитый смолой камень. То ли обдумывала, что скажет, то ли удерживала подступившие слезы, сидела прямо, голова ее не клонилась ни под тяжестью золота, ни под тяжестью горя. Айдарук смотрел с тоской на нее, давно он не видел княгиню такой смиренной.

— Отрекись от дочери своей! Отрекись и выгони из дома! — вдруг сказала она.

Айдарук иной раз думал: хорошо, что Шабатай умер, так и не узнав о позоре сестры. Хоть в этом было маленькое утешение. Будь он жив, он бы долго не раздумывал: всадил бы нож в самое сердце своей свихнувшейся, позабывшей о чести сестры, в ее все больше и больше округляющийся живот. И ничего бы он, беспомощный отец, не смог сделать. Но и Айдарук был человеком, и ему было стыдно перед людьми, и он чувствовал унижение перед лицом аула и рода. Однако любовь к дочери была сильнее всех законов и заповедей. Он не мог допустить, чтобы людская жестокость, пусть и освященная обычаями, обрушилась на его и без того несчастную дочь. Тогда в Глухом овраге он оторвал, оттолкнул Қаншау от шеи коня, оттолкнул ногой, оторвал с волосами из конской гривы, и не от конской гривы оторвал он его, а от дома своего, от своей души, от дочери, которая хотела быть с ним счастливой и достойно родить дитя. А теперь от него требовали отречения от дочери.

— Княгиня, это дочь твоя... И враг бы такого не пожелал!

— Она смрадная! Или ты хочешь, князь, чтобы в судный день на мосту Сират тебе в ноги бурдюк с кровью подкатился?<sup>1</sup>

— Нет,— вскинулся Айдарук в ужасе.— Нет... — И тут аллах ли, святой ли пророк, ангел ли хранитель Нальбике подсказал ему, и он быстро повторил следом: — Адей соединил их браком! Ты слышишь, княгиня? Мы боялись и скрыли от Шабатая и от тебя! Адей-эфенди прочитал им никах<sup>2</sup> — ей и сыну Коналия из Жандаровых.

— Нет! — с воплем вскочила Акбийче.— Аллахом не дано, чтобы княжна сошлась в браке с рабом! Адей не посмеет обмануть аллаха, как ты хочешь обмануть меня. Довольно, князь! Довольно принимать меня за дурочку! Или пусть бесстыжая дочь твоя избавится от скверны, и мы скроем свой позор. Или же... отрекись от нее!

— Нет, я не стану противиться тому, что самим аллахом наказано.

— Что ж, ты увидишь, смогу я убрать ее из своего дома или нет! — Акбийче снова стала сама собой, блеснула полными ненависти глазами: — Тебе-то все равно, ты ведь никогда не различал запаха дерьма!

— Мы люди, не звери,— сказал, не поднимая головы, Айдарук.— Но и звери не терзают собственных детей.

— А то, что сделала она? А то, что совершила эта тварь... разве это не насилие над отцом и матерью? Дочь, несущая в девичьем чреве своем ублюдка, от черни зачатого? Это ли не истязание мне? — Акбийче так и не смогла подавить слезы, голос ее задрожал, губы скривились.— И я от отца с матерью родилась. Но не в подоле принесла тебе сына и дочь, в достойном доме они родились и выросли... В чем я была проклята перед богом, чтобы стать матерью нечестивой дочери? Чтобы в почтенном своем доме увидеть нагулянного ребенка? — Она согнулась от боли в сердце, и мешок, раскачиваясь, бил ее в грудь.

День ото дня разлад становился глубже, уже и dna его не было видно, там была чернота. Они избегали друг друга: муж — жены, дочь — отца с матерью, точно в доме бы-

---

<sup>1</sup> По поверью, незаконное дитя дочери на мосту Сират кровавым бурдюком падает под ноги ее родителям, и те, споткнувшись о него, проваливаются в ад.

<sup>2</sup> Н и к а х — венчальная молитва.

ла чума, и они боялись заразить друг друга. Так и жили, каждый своим горем.

Вещи, которые не вместились в сундуки, Акбийче заворачивала в кийизы и туго перевязывала, домашнюю утварь укладывала в огромные мешки из грубого домашнего сукна, зашивала толстой пряжей и ставила по углам. Айдарук уже ясно понимал, к чему готовилась жена, но оставался равнодушным к ее сборам. И снова первой сдалась княгиня.

— Чего ты ждешь? — спросила она однажды, подавшись разлившейся своей желчи. — Нет сил покинуть счастливый свой дом?

— Ты о чем?

— Если ты уже вконец отупел, тогда ступай к своим каратабанам, тебе так хорошо в их вони! Меня же... освободи.

— Говори же, черный джинн, говори еще! — вскипел Айдарук. — Ты ведь, коли начнешь, не остановишься! Что ты еще задумала?

— Собирайся же в путь! Собирайся, уедем из этого проклятого края! Уедем в Тюрк, куда каратабаны не станут играть твоей головой в мяч.

— Куда, куда? — Айдарук с удивлением уставился на жену. — Что за чушь ты выдумала, княгиня? Мне со своей земли уехать? В старости лет покинуть край моих отцов? Не-ет, княгиня, меня Тюрком не заманишь! Я останусь! Пусть не с добром своим, не с бийством, не с домами, — останусь со своей землей. На ней буду, пока жив, в ней буду, когда умру...

Не зная что сказать, Акбийче разрыдалась от досады. Пока она ломала сухие пальцы, Айдарук продолжал:

— Хорошо же ты придумала! Споткнулся, говорят, впервой — по неведению, споткнулся во второй — по дурости. Толкаешь, чтобы я споткнулся во второй раз? Пусть в твоём Тюрке двери в рай открыты настежь, я останусь здесь. Дверь там, да порог здесь. Даже те, кто грозят отнять у меня все, такой беды мне не сулят.

Айдарук замолчал, увидев, что княгиня от гнева готова дерево грызть, заговорил мягче:

— Земля, где нет твоих покойников, где крики матери, родившей тебя, не сливались с шумом дождя, поливающего твои пороги, земля, которая не пропиталась потом твоего отца, — будет чужой всегда. И покоя там не будет. Даже посмертного. Не слепой, видел тех, кто уезжал в Турцию.

Я знаю дорогу лучше их. И вера моя была сильнее веры любого. Но в Стамбуле нет моих покойников. Вон Алау, там лежат мои предки. И я там буду. Могила твоего сына еще не заросла травой, а ты уезжать надумала...

— Сгинь ты, сгинь! Всем родом своим и землей! Останься ты на поле Алау! На поле Алау, слышишь?

— Потерпи немного, очень скоро я буду там,— сказал Айдарук с горькой усмешкой.— Да, дочь Карабия, недолго ждать, скоро я буду там. Горцы в проклятиях будут поминать меня. «Сгинь, как сгинул бий Айдарук!» — будут говорить они.

— У-у, моя душа, ставшая жертвой тупоумного деспота! — вдруг непривычно заголосила Акбийче.— О, аллах, пусть на том свете свиной пасет тот, кто отдал меня в этот дом! Пусть свиной пасет! Не княжеская в тебе кровь! Слыл ты князем, а кровь твоя рабская! Рабская! У-у!

— Я, может, и не князь, у тебя же, бедняжка, и душа черная, и кровь черная! — Тут Айдарук со стыдом понял, что вслед за женой впал в тот же вздор.— Несчастливая, изнутри и снаружи закоптилась, как очажная цепь.

Акбийче зарыдала.

— Пусть плачем изойдут те, кто довел меня до такой жизни! Пусть ад будет твоим пристанищем!

— Пусть! Ад — рядом с тобой. Куда бы ни попасть, только от тебя подальше.

— Перед аллахом предстань в виде свиньи!

Акбийче стала еще ретивее готовиться к отъезду. Одного не могла она себе простить: так позорно расплакалась при этом ничтожном мужчине! Не война, не беды, не смерть сына и уже не позор дочери — эти слезы жгли теперь ее душу. Одна отрада: скоро она перестанет видеть их, мужа и дочь, там, куда она уедет, никто не узнает о позоре дочери, о ничтожестве и глупости мужа, только и будут знать, что она — княгиня. Она останется княгиней до смертного часа, а золота на ее век хватит. Не станет же Айдарук делить с женщиной, матерью своих детей, золото.

Она собиралась взять с собой овдовевшую родственницу с двумя сыновьями, одарила ее двумя телками и кое-какими деньгами на дорожные расходы. Сыновья женщины снаряжали лошадей и телеги, укладывали тюки. Сначала она поедет в Баксан, к своей родне, оттуда, вместе с родственниками, которые присоединятся к ней, отправится в Стамбул. Там, как она знала, хорошо устроились два

ее двоюродных племянника. Если они поддержат ее, то зачем ей этот тупой, безвольный Айдарук, а тем более — дочь, с малолетства чужая, ни разу за всю свою жизнь не приласкавшаяся к своей матери? Пусть вынашивает в чреве своего ублюдка, зачатого не в чистой, богом благословенной постели, а на грязной подстилке собственного раба. Акбийче будет далеко от всех этих падших и ничтожных, от этих проклятых гор!

Однако и этому желанию княгини, как и многим прочим ее желаниям, исполниться было не суждено. Мудрая змея, она не могла ринуться в путь со всем своим добром, не разузнав сначала дороги. Она послала одного из своих племянников разведать, что творится в Баксанском ущелье. Племянник вернулся с плохими вестями. Пришлось разгрузить телеги, развязать тюки. Дорога была отрезана.

\* \* \*

Ерюзбек не простил сыну, что при нем, на его глазах Жандаровы унизили и искалечили его, а потом как ни в чем не бывало ходили по долине Юрду и, конечно, посмеивались в усы. Ходили по долине Юрду и два князя, отец и сын, — один с висящей на повязке рукой, втоптаный чернью в грязь, другой с русским крестом на груди, будто дали этот гяурский знак в награду за позор отца. И впрямь — с блестящими погонами и тусклыми глазами он был похож на отцеубийцу — никто не останавливался, чтобы поговорить с ним, и он ни с кем не заговаривал, слонялся по аулу без дела, не ведая стыда, без тени раскаяния на лице. Ходили два князя хоть и врозь, но одними тропками, на виду у одних и тех же людей, и, к удивлению Ерюзбека, земля еще держала их, отца и сына, камни не лопались от досады и река при виде их не сжималась в своих берегах. Люди при встрече кивали головой, не отводя от них долгого взгляда. Трудно было понять, что при этом испытывал Заммай, но Ерюзбек ясно видел: на этих лицах играли издевка и злорадство попеременно — памятная ухмылка, которой люди встречали и провожали Ерюзбека в его далекой юности. Самое страшное — у Ерюзбека не было сил даже кричать на них, злоба не вспыхивала в нем, как прежде; лишенный сна, он лишь ворочался в своей жесткой постели, глаза его опухали и гноились. А сам бог покарать никого не собирался.

Тихая набожная жена Ерюзмека никогда не вмешивалась в дела мужчин, жила себе в сторонке, ютилась бессловесной приживалкой в темном безлюдном доме Ерюзмековых.

Стоя где-нибудь в углу двора или у дальней загородки в полузабытьи-полузадумчивости, бий только теперь сознавал в полной мере всю тяжесть потери сына, настоящего, плоть от плоти его, сильного, достойного, беспощадного к врагам рода. В своих бессонных ночах он заново хоронил Мурая, заново переживал его гибель и был глубоко несчастен. В дни похорон Мурая утешался мыслью, что у него есть еще сын, более сильный, потому что находится на службе у могучего царя; защитник и продолжатель рода вернется полковником, и тогда равного ему в ущелье не будет никого. Но той в дурную минуту задуманной попыткой разбудить в нем священную месть Ерюзбек окончательно оттолкнул его от себя и сам оттолкнулся от него сердцем. До того часа, когда он послал Заммая, чтобы он отомстил за кровь брата и вернулся очищенным, он еще видел себя с ним — пьянчужкой, но сыном, который носит погоны и крест за храбрость, а на боку его, на длинном кожаном ремне висит маузер, и маузер этот всегда готов, думал он, выстрелить в защиту отца и чести рода.

...Когда много лет назад они ночью шли в балку Семи родников, Заммай был подростком, и воля отца была для него свята. И отец был горд им, не мог нарадоваться готовности сына защитить честь отца, что в нем, еще мальчишке, уже горит взрослая жажда мстить. Заммай крался по темному лесу, как волчонок, спешил расправиться с обидчиками отца, а когда они подошли к кошу, он, не дрогнув, выстрелил в спавшего возле стада пастуха. Отец воскликнул: «Эр балам — смелый мой сын!», а он успел перезарядить ружье, чтобы выстрелить еще раз. Потом, когда Ерюзбек бежал по склону вниз, скользя в ольховую опаль, он, задыхаясь, повторял эти слова ликования: «Эр балам! Эр балам!» Заммай еще слышал крик пастуха, выстрелы вслед, но теперь они ушли далеко, брели по воде — Ерюзбек впереди, Заммай следом. Потом они, вспугнув каких-то птиц, забились в расщелину в обрыве, отец, насытившийся местью, быстро уснул, сын же, пока сидел в расщелине, не сомкнул глаз. Он прислушивался к шуму реки, к жалобному щебету изгнанных птиц и порой вздрагивал — он вновь слышал оглушительный свой выстрел и вопль пастуха: проснувшись от выстрела, пастух еще не

чуял боли, он только понял, что-то неладно в стане, хотел встать, вскочить на ноги, но тут его пронзила боль, и он упал, как показалось Заммаю, замертво.

В ранние сумерки отец и сын вышли к своим лошадям и потаенными тропами достигли аула раньше, чем прибыл недобрый вестник из балки Семи родников. Ерюзбек, как считали все, находился на излечении в Теркбаши, поэтому и всадника, прибывшего в полдень сообщить о горе, как старший в доме, принял Заммай. Он быстро собрался и поехал в балку Семи родников.

То, что увидел там четырнадцатилетний Заммай, много лет потом стояло перед его глазами. Мальчик не в силах был и представить, что один выстрел может так обезобразить человека, что смерть может быть так страшна. Пастух еще был жив, он лежал на бурке, пропитанной кровью. Он бредил, в напряженных складках его лба пылали капли пота, они стекали по лицу, смешивались с идущей изо рта кровью. Пастух тяжело дышал. Порою большой красный пузырь надувался и лопался над провалом его широко раскрытого рта, он силился поднять голову, разглядеть окружающих его людей, найти среди них своего убийцу. Заммай отпрянул за спины сгорбившихся пастухов. Но умирающий уже ничего не видел и не узнавал этих людей. Голова падала на землю, и хриплый возглас вырывался из окровавленного рта: «Эр балам!» Камнем по голове ударили эти слова Заммая, их, ликуя, говорил отец, и с этими словами умирал пастух! Знак ли подавал пастух живым, силился ли понять, откуда пришли к нему эти последние, слышанные им в жизни слова,— Заммай понять не мог, только чувствовал, как угаром тянет от этих слов и красными углями выжигают они порыв и восторг прошедшей ночи.

Когда отец вернулся домой, сын ничего не сказал ему. Все то время, покуда Ерюзбек, словно ночной хищник, отсиживался в своем логове, Заммай ни разу не подошел к нему, не заговорил с ним. Стоило ему забыться на миг, он слышал «Эр балам!» и видел лопающийся красный пузырь.

Так и шли годы. Заммай уходил от отца, отец гнался за ним — прося и негодуя, надеясь и ненавидя. Работящий, как бык, но и злой, как голодный пес, Ерюзбек требовал от сына верности и не догадывался, что с того самого часа, как он сделал сына убийцей, не отец он ему, а его заложник. И Заммай исправно пользовался этим своим

преимуществом — он обирал отца, как может обирать мошенник другого мошенника, попавшего к нему в зависимость. Но это было потом, сначала же, прожив десять тоскливых несчастных лет, он уехал, лишь бы не видеть того, кто отнял у него радость юности, обмакнул его руки в кровь и не дал взамен ничего, кроме страха и ненависти к людям.

Теперь Ерюзбек должен был искать себе пособника на стороне. Он уже не мог выходить ночами, как зверь, чтобы выследить свою жертву, мог только ждать, терпеть до своего часа, чтобы ударить из засады без промаха, наверняка. Рука заживала, она была еще крепка — могла погонять кнутом, могла стрелять, но сам он теперь словно сидел на чужом возу, лицом к задним колесам; эта неуверенность сбивала его, он не знал, что надо делать. А Заммай, вернувшись с таким видом, будто и не из армии пришел, а из острога, знай гулял, все было ему нипочем, и порою ненависть к сыну Ерюзбек ощущал до тьмы в глазах. Все эти дни и месяцы ненависть между отцом и сыном усиливалась и твердела, подобно тому, как срасталась и твердела кость руки; сталкиваясь дома, во дворе, на улице, в управе, они, не поднимая глаз, старались обойти друг друга. Сырой, затхлый, нелюдимый дух делал их жилище похожим на те каменные могилы, что остались в верховьях Юрду от старого поселения, люди которого были скошены чумой. Кюйген эл — Сгоревшее селение — называли это урочище неподалеку от балки Семи родников. Ерюзбек часто вспоминал эти древние развалины и когда ругал крестьян, то непременно желал им участи тех, кого страшный мор загнал в те могилы. Но шли дни, проклятия его становились тише, голос же тех крестьян — крепче, а дом Ерюзбековых сам все больше походил на каменную могилу для зачумленных.

И могилы снились ему: Адей-эфенди одевал его в белое, Заммай с киркой в руках копал яму. Проснувшись, Ерюзбек обдумывал, как убить сына... Убить было просто — Заммай редко являлся домой трезвым, а пьяный валялся так, что его легко было прикончить даже обыкновенным шилом. Ненависти и злобе отца в самый раз подходило шило — сына, который стоял прислонившись к стойке ворот, скрестив руки на груди, когда с треском ломали руку отца, можно убить только шилом, один лишь раз вонзить его в сердце предавшего отца ублюдка, почувствовать, как острие пронзает кожу этого выродка, про-

ходит сквозь пустоту и снова впивается во что-то мягкое, и вверх по железу взбегают струйка крови, одной только большой каплей выходит из раны и ободком обтекает рукоять...

Ерюзбек вскакивал с постели, доставал шило и подходил к спящему сыну. Заммай храпел, раскинувшись на кошме, вымучивал, выталкивал вонючее дыхание из простуженной груди, а вокруг рта вздувалась пена. «Свинья!» — говорил отец, и шило в ту минуту словно вонзалось в грудь его самого, и он, дрожа, отходил в бессилии. И утро встречал во дворе или где-нибудь за огородом, прижавшись к холодной каменной кладке. Он уже не верил, что убьет сына собственной рукой, а шило все-таки носил в кармане, он наточил его и опробовал на живом теленке, обрадовался, когда подумал, что Заммай вот так же взмычит и забьет ногами.

Но началась война. Заммай вдруг очнулся, протрезвел, снова стал прежним офицером. Ерюзбек воткнул шило под застреху сарая. Между ними установилось молчаливое согласие. Теперь Ерюзбек был готов сгореть со стыда, когда вспоминал, что совсем недавно хотел убить собственного сына. Наконец его сын стал походить на князя! «Эр балам!» — думал Ерюзбек. Он храбр, он настоящий офицер, истинный защитник порядка и ислама. Не сдуру же белое командование дало ему солдат и так высоко его ценит!

Ерюзбек приходил в управу, снова крепок и уверен был его голос. Все, кто ухмылялся ему в лицо, опять были в его власти. Теперь он доберется до тех, кто почтенным аксакалам ломает руки! Ерюзбек говорил с сыном не глядя на него, стоя к нему спиной; он называл, кого еще в Жамауате следует припугнуть, а за кого взяться всерьез, а Заммай молчал или коротко огрызался. Ерюзбек не обижался, был доволен и этим, сыну следует молчать перед отцом, а чего теперь стоит Заммай, он видел сам и знал от других. Уже поквитались с Қаншау, с тем, который погубил его младшего сына. Но это еще не все, рассчитаются и с остальными Жандаровыми, сожгут их дома и их самих проволокут через аул на аркане!

Но жизнь в долине оставалась шаткой. Много их, Жандаровых, развелось на земле, где-то затаился Жансох, снова собирал силы Баттал. И хотя стригли овец в Глухом овраге и в балке Семи родников, свозили сено в зимние загоны, а в ауле хватали и казнили врагов порядка и ислама, все равно спокойствия не было. А к исходу месяца

абустол<sup>1</sup> отряд был вынужден уйти из Жамауата, вместе с ними ушел и Заммай. Так было лучше: не сравнить же целыми днями слоняющегося по аулу бездельника и пьяницу с этим, который ушел верхом на коне, в строю с теми, кто еще имел самолюбие и готов был спасти землю от большевиков-безбожников.

И снова Ерюзмек почувствовал, будто он сидит на чужом возу, смотрит назад на уходящую дорогу, вот-вот хозяин скажет ему, чтобы он слез с воза. Боясь всего, он снова залег в своем логове, и снова долгими ночами и одинокими днями поднималась и кипела в нем злоба, как варево в забытом котле. И ночами Адей-эфенди одевал его в белое, а Заммай копал могилу, за ними стояли какие-то плосколицые люди; они двигались как тени по стене, ровно, бесшумно, и лопата Заммая все глубже входила в землю. По утрам, в забытьи, по привычке он шарил по карманам, искал шило, и вдруг вспоминал, что Заммай копал могилу не лопатой, а шилом. И еще что-то там было связано с шилом. Он напрягал память, и перед глазами возникали те, плосколицые, они тоже попеременно точили шило и пробовали друг на друге его остроту. Шило по рукоять входило в их бесплотные тела, и они, не испытывая боли, впадали в неистовство, в восторг и, увлекая Адея-эфенди, уходили вдаль. Ерюзмек думал, уж не сходит ли он с ума, разве может один и тот же сон, совершенно не меняясь, сниться постоянно, из ночи в ночь, и весь день стоять перед глазами? Он знал, что его отары разобраны пастухами и угнаны, а землю собираются делить между собой крестьяне. Но на все это Ерюзмек смотрел, как смотрит выхолощенный бык на стадо коров — мог кидаться, рыть копытами землю, вставать на задние ноги, но вдохнуть жизнь не мог.

Иной раз тоска заносила его к Айдаруку.

— Мне худо, а тебе хуже в сто крат,— говорил он, намекая на беременность его дочери.— Мы оба потеряли власть и богатство, а ты еще и честь...

Айдарук не звал его к себе, потому и на его слова не отвечал.

— Мне-то аллах воздаст, все назад вернет,— продолжал Ерюзмек,— а вот тебе придется держать ответ за падшую дочь. Помнишь, однажды в твоем коше говорил о худом человеке, о худой скотине. Не божье слово, всего лишь пословица. А гляди, как вышло.

<sup>1</sup> Абустол — октябрь.

— Уходи, Ерюзбек! — говорил Айдарук. И сам уходил раньше.

В глубине души Айдарук признавал злую правду Ерюзбека, но он, этот Ерюзбек, свою зудящую опухоль, нарывающую рану тер о лицо ближнего, чтобы задушить того вонью, а самому успокоить зуд и утишить боль.

Как-то пришел Ерюзбек и к Адею-эфенди.

— Каково Айдаруку,— злорадно сказал он.— Какую дочь вырастил...

Но здесь ему пришлось прикусить язык.

— Хорошую дочь вырастил Айдарук,— сказал эфенди спокойно,— а если ты имеешь в виду, что княжна беременна, то так и положено замужней женщине.

— Как?!

— А так... Зло закрыло тебе не только глаза, но и уши,— ровно, наставительно, словно читал по корану, ответил Адей.— Все в Жамауате знают, один только ты не знаешь: я словом аллаха соединил сына Қоналия и дочь Айдарука. Аллахом и мною они соединены. Ты что-то еще хотел спросить?

Но Ерюзбека обвести вокруг пальца не так просто, понятно: Адей хочет зашить ему уста. Айдарук, пытаясь спасти свою честь и имя своей беспутной дочери, подговорил эфенди, а этот ни перед чем не остановится, ради выгоды даже на коран встанет, чтобы ноги его отсохли! Вот какие нечестивцы окружают Ерюзбека, какая мерзость и грязь таится под опалыми листьями его одиноких дней! Но нет, если и Адей с кораном в руках стал мажюси — язычником, его же, Ерюзбека, обмануть не просто, это худую лошадь взнуздать легко.

— Из-за таких, как ты и Айдарук, мы потеряли мир и власть в наших ущельях,— сказал он.— А теперь вы предлагаете правоверным потерять и доброе имя. Ну нет... месите грязь сами, месите грязь, с дерьмом каратабанов смешанную. Рано хороните! — закричал он.— Рано хороните! Недолго Бекболату сидеть в моей управе!

И на этот раз сбылось пророчество Ерюзбека.

В ущелье снова вступали белые, и Ерюзбек, чтобы не застали его врасплох, решил привести в порядок свою разоренную управу. На майдане перед управой паслись коровы; портрет царя, когда-то висевший на вдетом меж насупленных бровей самодержца ремне, Ерюзбек нашел на задах управы, на нем растянулось большое кружево коровьего кизяка.

Ерюзбек, выругавшись, поплелся домой. Но участвовавшие за ночь выстрелы в ущелье заставили его на следующий день снова прийти к портрету. Он хотел очистить его, подбить раму и повесить на прежнее место. Но теперь на портрете головами друг к другу стояли два ишака, черный и серый, и с взаимной услужливостью чесали друг другу шеи. Ерюзбек поднял руку, чтобы согнать ишаков, но, увидев, что теперь уже один глаз царя выбит копытом какого-то из ишаков, только безнадежно махнул ею.

В конце концов, он сам говорил на сходе, что царя нет. Так этому гяуру и надо, если не сумел удержаться на троне, защитить своих верных нукеров. Обрато он шел мимо пасущихся коров, играющих детей, мимо двух вцепившихся друг в друга соседок, которые при этом вопили на весь аул непристойные слова,— жизнь шла, река Юрду катила свои воды в неведомые счастливые края, и лишь кляча, Ерюзмекова дума, не зная, как спастись, билась в водовороте.

Белые пришли. В этот раз они сожгли дом Коналия Жандарова, а самого его проволокли по аулу на аркане. Но Ерюзбек уже не верил в незыблемость мира и божьих установлений. И действительно, повернулся жернов и вновь накренился мир.

В полдень, накануне наступления красных, в Жамауате стояла тишина. Заммай готовился к отъезду. Ерюзбеку очень хотелось поговорить с сыном, не ради разговора — так просто они не разговаривали уже двадцать лет. Надо было решить, что делать, как жить дальше,— с кем же, если не с сыном, говорить об этом?

— Что же, молчание любимого сына терплю,— сказал он, имея в виду Мурая.— Стерплю и такое. Нам бы решить, как быть дальше. А ты... пропил состояние, а все дуешься...

— Я верну все! — сказал Заммай.— Согнем красных в бараний рог, и все тебе верну, золотом верну! Хоть вместо глаза золотые червонцы вставь.

— Ха, золотом! Слышал я, чем нищие долги возвращают! Из-под носа упустил своего кровника, а еще красных в бараний рог скрутить собираешься.— Несколько успокоившись, он сказал: — Давай лучше решим, как быть дальше. Надо уйти...

— Нечего мне с тобой решать, Ерюзбек,— сказал жестоко Заммай.— И уйти тебе некуда. Сиди и помалкивай. Он встал и пошел к матери.

— Ана, открой мне свой сундук,— голос Заммая дрогнул,— открой мне сундук, как в детстве...

Та посмотрела на мужа. Ерюзмок испуганно шагнул вперед.

— Зачем тебе сундук женщины? — спросил он.

Но Заммай, не слушая отца, попросил снова:

— Ана, открой мне сундук...

Мать стояла и смотрела в пол. Тогда Заммай, словно жалея, что попросил, стал подталкивать мать к сундуку. Она увернулась от него, отошла к стене и встала в углу, возле дверей, там, где над ее головой уже много месяцев висел маузер с единственной пулей. А Ерюзмок быстро прошел и сел на сундук. Заммай, проводив глазами мать, наткнулся взглядом на маузер. Он шагнул, над головой сжавшейся женщины снял его с гвоздя и, будто найдя давно потерянную вещь, с любовью оглядел его. Еще раз, наверное в последний, попросил:

— Ана, открой сундук или дай ключи.

Но женщина молчала. Тогда Заммай, держа в руке маузер, словно проникший в чужой дом грабитель, пошел и толчком ссадил Ерюзмека с сундука. Но он еще медлил. Если бы мать подала голос, если бы она вспомнила, а вспомнив, открыла сундук, он ушел бы, не причинив зла родителям. Он с болью ждал ее оклика. Но и женщина, безмолвно стоящая в углу, и старик, все лежавший на полу, не поняли сыновьего порыва, как не понимали его всегда.

Заммай присел перед сундуком на корточки, словно бы для молитвы. Он с детства любил этот маленький замок, спрятанный в глубине потемневшего дерева; когда мать открывала его, он издавал чудесную мелодию, а потом мать доставала из сундука большие с красным налетом яблоки. Он с замиранием ожидал и звона этого невиданного таинственного замочка, и запаха желтых с красным налетом яблок. Это была единственная радость, которая осталась в душе от детства. Единственное светлое, дорогое в этом доме, с чем он хотел попрощаться, может быть, навсегда. Но теперь тот уголок души, где светлел лучик детства, наполнился темной злобой. Ударом кулака он разбил крышку сундука и начал быстро выбрасывать оттуда вещи. Он достал золотые украшения матери, подержал их в руке и бросил обратно. Пошарив в сундуке еще, достал суконный мешочек с чем-то увесистым и пошел к выходу.

Ерюзмек побежал следом, уже на крыльце нагнал и вцепился ему в руку:

— Оставь, сын, не будь таким жестоким! Не разорь нас! — взмолился он. — Оставь деньги, больше у нас ничего нет. Даже на похороны... — и, не выпуская руки сына, заплакал.

Заммай с силой отбросил его и стал отвязывать коня. Ерюзмек вырвал из ножен кинжал и бросился на сына. Тот вдевал ногу в стремя. Но выстрелил он уже с седла.

Заммай не спешил выехать со двора, с трудом удерживая вспугнутого выстрелом коня, он смотрел, как с проклятиями корчится на земле отец. Женщина, неподвижная, черная, как дымоход сожженного дома, спрятав руки под передником, стояла у дверей. А потом он ударил и без того взбешенного коня, тот на дыбках прошел рядом с умирающим Ерюзмеком и боком вынесся со двора.

\* \* \*

В ожидании родовых мук Нальбике не раз задумывалась о том, где достигнут они ее, лишнюю людского сострадания, где потом она укроет себя и своего младенца. При каждой встрече князь сникал, словно дочь его была смертельно больна и он уже видел ее скорую кончину. Айдарук старался подбодрить ее, что-то говорил, заглядывал в лицо, — сам заглядывал и сам же отводил глаза. Мать же издалека обходила ее. Нальбике казалось, что она только потому оплакивает Шабатаю, что он погиб, не успев покарать бесстыжую свою сестру.

Акбийче не скрывала этого. «Почему ты не выкопал глубокую яму, — взывала она к Шабатаю в своих проклятиях, — почему не бросил туда свою сестру, почему не закидал эту яму камнями до краев?» Сорвав голос в плаче, Акбийче становилась у дымящего очага, опустив руки в длинных нарукавниках. И Нальбике была с ней согласна. Пусть бы и отец так же проклял ее. Ни отец, ни мать, ни весь их род не заслужили такого позора, чтобы дочь Бурндуевых вынашивала в своем чреве ребенка — не выйдя за порог отцовского дома, не сняв с себя девичьих запретов, не встав перед посланником бога с опущенной головой. Будь в сердце князя чуть меньше доброты, чуть меньше сострадания, ей бы и впрямь не ходить по земле. Все свершилось бы по суровым законам гор, и, может, теперь уже люди бы забыли ее и успокоились.

Долгими бессонными ночами, когда она растравливала память о Каншау и его раны начинали гореть в ее груди, когда в чреве, вызывая тошноту и головокружение, зрела, набирала силу оставленная им жизнь, когда комки ненависти, брошенные в нее днем, обжигали лицо, она решалась оставить этот дом, освободить его от позора, разом освободить всех — и себя, и дом свой, и род свой. Она ходила из угла в угол, грея коченеющие руки под мышками. Так и встречала рассвет, утром же видела смятенного отца, и жалость заставляла ее забыть о своем решении. В другой раз она собиралась броситься со скалы. И так, чтобы труп ее поганый не нашел никто и не пришлось бы думать, что делать с самоубийцей, в какой земле ее хоронить. Случалось — она и выходила. Но тонкий голосок из чрева останавливал ее и вел обратно в дом. Без очей, без слуха, еще не рожденная, эта сила была чутким стражем.

И тогда она проклинала Каншау. На какие страдания обрек, на какие муки оставил! Может ли мужчина, если есть в его душе хоть капля сострадания, если хоть раз держал он в руках коран, может ли он не подумать о том, что станет со слабой женщиной, единственный грех которой — любовь к нему! Пусть она сходит с ума от любви, не ведает, что творит, — но ведь дана мужчине воля, разум, святой долг быть ответственным за честь любимой. А Каншау? Пошел на поводу у потерявшей голову девчонки, не обжег ее лицо пощечиной... Будь и ты опозорен в судный день! Не привел в свой дом в белой шали, а сделал своей женой и, позабыв об этом, погиб! Погиб — и весь счет!

Уходила ночь, и проклятия возвращались к ней самой, новой болью отзывались в груди. Да, неверной, беспамятной женщиной была она, если позабыла свою любовь, свою клятву, вместо того, чтобы беречь его аманат, стараться быть достойной его имени, она ругала его, сулила ему наказание...

Порою она встречалась с Ниной. Нина рассказала Кундуз, что Нальбике носит под сердцем дитя Каншау. Весть обрадовала несчастных родителей, словно это была весть о самом Каншау. Кундуз послала к ней женщин с благодарным поклоном. Она и сама бы хотела прийти к Нальбике, взять на себя все заботы о беременной, однако крута была дорожка к княжескому дому. И Нальбике не могла пойти к ним. Как же войдет она в достойный дом Жандаровых женщиной на сносях, коли не вошла чистой неве-

стой? Нет, такого она себе не позволит, чтобы черви ее съели!

А дитя росло, не ведая мерзостей мира, было чисто, спешило увидеть белый свет, и чрево Нальбике округлялось. Стоило теперь ей заплакать, дитя начинало смеяться, щекоча ее как раз там, где начиналась боль. Она прислушивалась к этому смеху и, угадывая правоту растущей в ней жизни, с удивлением открывала для себя всю вздорность мирских условностей. Весь этот вздор, сваленный в одну кучу, не стоил и одного-единственного шевеления ее ребенка! Все обычаи, законы, установления — шевельнулся, и их нет! Тогда руки сами находили лоскутки, иголку и нитки, вдевали нитки в ушко, а там, за работой, приходили и позабытые песенки из детства; никогда не думала, что старые песенки так живы в ее памяти; она пела колыбельные, которые никогда в жизни не слышала. Нальбике была счастлива, казалось, нужной этому миру — и все, что она пережила, все беды и радости казались игрой, сном, глупостью. Ее выстрел в Карчу, ее любовь к Каншау, ее дружба с Ниной, ее страдания — в этом была она, и счастье ее было своим, особым; и беды, и лишения, и судьба ее — только свои. Она родит сына, и он будет, как отец, стоять за добро и справедливость. Вместе с молоком матери он получит память о долгом ее ожидании, когда она читала во взглядах людей жалость и злорадство, осуд и восхищение, когда ей не спалось, когда тошнило, когда кружилась голова и не хотелось жить, но когда просыпалась она со светлым сознанием того, что может вынести еще большие страдания ради любимого, ради жизни сына, ради правоты мужа! Так Нальбике брала на себя всю кару за несправедливость своего сословия, своего дома, своего рождения. Оттого она вставала утром раньше всех и бралась за работу. Она даже гордилась про себя: княжна, белоручка длиннополая, на которую, как думал карахалк, и прямой луч солнца никогда не упадет, а со всякой работой справляется не хуже любой женщины, а может, и немножечко лучше; и солнца не боялась, и в подоле своего платья не путалась. Ни одна девушка в округе не выходила на улицу раньше ее, не подметала двор, не ходила по воду раньше ее. Вот вам белоручка, вот вам неумеха из княжеского дома! На злорадство высокомерием не отвечала, жила просто, смиренно, сознавая тяжкую долю свою, и росла вместе со своим сыном, стирала, колола дрова, топила печь, то ткала, дубила и красила овчину, валяла кийизы. Рядом

с этими людьми она открыла и другую сторону жизни. Оттого они были простыми, что говорили и смеялись просто, ругались, ссорились, делили мир, но и это делали они просто. Может, от этой простоты здесь не мучились, подыскивая слова, не боялись задеть неучтивым словом, прослыть грубияном, если кто эту грубость заслуживал. Но, повздорив, они снова садились вместе, ели вместе и вместе смеялись, кто-то пел, кто-то подпевал...

...Нальбике проснулась оттого, что кружился топчан. Во дворе кричали. Где-то шла стрельба, она подходила ближе, тряслись в доме стекла. Балки под потолком то спускались к ней, то снова поднимались, точно она качалась на качелях. Потом она поняла, что не топчан кружился, не балки качались, а ее саму трясло, как в приступе лихорадки. В страхе она закусила губу: неужели начались схватки? Холодный пот потек по спине, силясь остановить кружение, она вцепилась в край топчана. Она сошла на пол и, ползая на коленях, на ощупь искала приготовленные на этот случай тряпки, когда же узелок очутился в руке, почувствовала облегчение. Вскоре она была во дворе, но теперь казалось, что все было во сне, в растревоженном ее сознании — никаких криков, никакой стрельбы. Полная луна уже подплывала к горе Сырбыт. В голове было ясно и покойно. Она шла при лунном свете, держась о камни забора, не знала куда шла, но шла, потому что оставаться было нельзя. Снова закружилась голова, и она присела, думая немного отдохнуть. Но опять загрели выстрелы. Нальбике ясно ощутила холодное, пахнущее скалами и еще почему-то свежим помолом дыхание поднявшейся воды. Надо идти. Она встала, и тут же ее поддерживали руки, уверенные и знающие, и Нальбике поняла, откуда шел запах свежего помолы: это была Нина. Вот куда она пришла, сама того не сознавая, — на их мельницу, где она опять прятала Нину.

Всю ночь, пока в ауле шел бой и лилась кровь, исходя криком, металась Нальбике. Когда она пришла в себя, то увидела, что лежит на мельнице, на сене, накрытая овчиной. Кричало дитя. Собрав силы, она прислушалась. Догадалась, что плачет мальчик. Она успокоилась и уснула, спала долго и крепко — может, первый раз за три последних года.

Давно уже не ведал сна Айдарук, но в ту ночь вздремнул в какой-то час и тоже проснулся от выстрелов. Он вскочил и, предчувствуя беду, замер. Снова слышались выстрелы, теперь уже в Нижнем конце аула. Айдарук понял, что бои идут по всему Жамауату. Он решил одеться и выйти. В комнату вошла Акбийче, увидела, что муж спешно одевается, дернула плечами и вышла. Поразительно, у Айдарука сразу отпало желание идти и что-либо узнавать, словно Акбийче своим презрительно-уничтожающим взглядом сняла с него все тревоги и все обязанности. Он лег обратно.

Опять прогремели выстрелы, посыпалась штукатурка. В комнату снова вошла Акбийче. Увидев, что муж спокойно лежит в постели, она издала глубокий стон, полный негодования и тоски, и захлопнула дверь. Айдарук облегченно вздохнул: слава аллаху, ничего не сказала. Все стало по своим местам. Если еще одна из пуль, что вышибают стекла и бьют в потолок, попадет ему в грудь, тогда и желать больше нечего.

О смерти Айдарук думал давно, с тех пор как погиб Шабатай. Но он был верующим человеком и терпеливо ждал своего конца. Наложить на себя руки?.. Не было по корану более тяжкого греха. Что ж, если конец его и оказался бесславным, он все же не имел права отягчать свой путь, который, как он все же надеялся, приведет его в рай. Если уж пуля — так чтоб волей аллаха. Он лежал на спине и читал иман-шаадат — предсмертную молитву; мысленно совершал весь похоронный обряд. Он понимал, что в такой час его смерть не будет оплакана, как положено, как того требует обычай; не сумеют отнести его на доброй лестнице в добром саване и опустить в добрую, выкопанную по всем правилам могилу, не будут потом сидеть в его широком дворе, читать по очереди коран, рассказывать хадисы и, воскрешая в памяти благодеяния пророка, петь прекрасную поэму о его дочери Фатимат, о внучке Зайнаф, в честь которой была воздвигнута самая красивая мечеть на священной арабской земле... Всего этого, возможно, и не будет, скорее всего — вовсе не будет, надо было позаботиться самому и хотя бы в мыслях совершить весь обряд.

Уже светало. Уже в окнах не осталось ни одного стекла, на потолке не было живого места. Распахнулась дверь,

и вошел человек в кожаной куртке и с саблей на боку. Винтовку он держал, положив дулом на плечо. Следом вошли еще двое, в белых башлыках, концы которых накрест через грудь были завязаны на спине.

— Вот он, кровопиец. Лежит,— сказал тот, в кожанке и с саблей. Он снял винтовку с плеча и дулом постукал его по груди.— Вставай. Молитву дочитаешь на ходу.— Он понял, что Айдарук про себя читает молитву.— Видишь, Газраил перед тобой, а эти — Накир-Мункир<sup>1</sup>,— кивнул он на своих товарищей.

Айдарук поднялся. Действительно: Газраил и Накир-Мункир. Вот кто принес ему смертную весть. Он взгляделся в лицо первого, словно пытался запомнить. Возможно, последнее человеческое лицо, которое он видит в этой жизни. Там он будет его вспоминать.

— Что смотришь, князь? Запомнить хочешь? Теперь ты будешь вспоминать меня вечность. Кочар я, сын Шамуюка.

«Сын Шамуюка...» — Айдарук усмехнулся, вспомнив слова Адея-эфенди: «Придет какой-нибудь сын Шамуюка и вздернет на виселице». Не ради примера были сказаны эти слова, то было пророчеством.

И даже внутреннюю усмешку бия заметил Кочар. Глаза его с горячным блеском притушила гневная муть:

— Нет, мой господин! — сказал он.— Нет, мой бий, не жди легкой смерти. Свой долг народу ты заплатишь сполна. Ты должен увидеть в последний свой час, каков он, тобою обездоленный народ.— И с дрожащей усмешкой обернулся к своим товарищам: — Ну-ка, Накир-Мункир, свяжите ему руки за спину. Ха, умереть хочет! Нет, князек! Сблуй сначала то, что высасывал веками из нашей груди. Походи и ты в ярме! И тогда поймешь, что легче: умереть или быть в ярме... Ведите во двор. Пусть сначала поглядит, как будет гореть его дом.

Айдарука вывели во двор, поставили у забора лицом к дому. Следом привели Акбийче, поставили рядом. Айдарук ждал, что приведут и Нальбике. «Или же... Бог послал ей спасителя, и он увел ее куда-нибудь...»

Огонь быстро охватил дом изнутри, язычки огня уже вытягивались из окон. Сначала Акбийче стояла смирно, потом стала рваться к дому; но партизаны придерживали ее и толкали назад. Но когда огнем занялись комнаты, где было собрано все ее богатство, все ткани, шелка, ши-

<sup>1</sup> Газраил — ангел смерти. Накир-Мункир — два ангела, допрашивающих покойника о его жизни.

тая золотом одежда, она рванулась со всей силой, ее не смогли удержать, и она бросилась в горящий дом. Все видели, как металась в пламени ее тень, Акбийче с невероятной силой хватала тюки и выбрасывала их из окна. Потом, пригнувшись, поволокла что-то тяжелое. Айдарук понял, что она тащит свой сундук. Еще немного, и она бы успела, но когда княгиня, полусогнутая, задыхаясь от дыма, закидывая голову, уже подползла с сундуком к двери, прямо перед ней упала горящая балка и заперла ее в огне. Стоявшие кучками партизаны глядели, как горит княжеский дом. Айдарук стоял широко расставив ноги, чуть дрожала его борода, он молчал, но когда охваченная огнем княгиня рухнула рядом с горящей балкой, из глаз его брызнули слезы.

Со связанными за спиной руками он стоял на широком дворе у горы Сырбыт и в последний раз видел, как восходило большое красное солнце. Он стоял там, где родился и вырос, где провел много радостных и горестных дней, откуда вынесли тела матери и отца, где родились Шабатай и Нальбике, он стоял и видел, как горел некогда счастливый дом его отца. Еще трескались камни могучих стен, когда его повели со двора. Что же, если она, эта жизнь, и не получилась такой, какой он хотел ее прожить, обиды нет. Не с Айдарука началась эта жизнь, не Айдаруком и кончится. И, выходя из своего двора, он понимал, что уходит навсегда, возврата сюда нет, как нет возврата к прожитой жизни.

Узкая тропа извивалась среди скал. Его не захотели вести через аул и повели по склону горы Сырбыт. Он был благодарен за это. Вон там, за двумя валунами, на лужайке, он играл в детстве. Теперь он покидал эти склоны, эти турьи тропы и ущелье внизу. Когда он поднимался сюда мальчишкой, эти склоны были такими — такими же и остаются. Он что, он камень, упавший со скалы, скатился, и все. Горы же пребудут всегда. На месте его сгоревшего дома построят другой. Горы и этот дом станут свидетелями и бед, и счастливых дней. Зло, жестокость — это буран, град; слава аллаху, не всегда метут бураны и бьет град. Что ни говори, а солнце больше светит над нами, луна сияет чаще. Так будет и после него.

За крутым поворотом начинался спуск к долине. Здесь и скатился сверху камешек и впереди возле скалы мелькнула тень. Конвоиры насторожились, вскинули винтовки. Прозвучал выстрел, и тот, кто шел впереди Айдарука,

упал. Айдарук же смотрел не туда, откуда стреляли, а на упавшего партизана, грудь его залила кровь. Другой партизан, ведший Айдарука, отпрыгнул за камень и начал стрелять. Видно, они столкнулись с небольшим отрядом бежавших из аула и затаившихся здесь белых. Пуля обожгла грудь Айдарука, и он упал рядом с партизаном. Тот еще был жив, искал себе спасения и, когда рядом с ним упал Айдарук, руками обхватил его за шею. Айдарук хотел было помочь ему, хотел выправить тело, закрыть глаза, но руки его были связаны. Другая пуля пробила ему плечо, сразу же третья — ногу. Теперь Айдарук силился, пока не потерял сознание, уложить свои руки и ноги. И начал биться — это не были судороги, он бился, стараясь освободиться. Так, корчась, оторвался от умирающего и скользнул вниз, за камень, к тому, кто отстреливался. Он пытался сказать ему, попросить, чтобы тот развязал его. Но партизан был занят тем, что отстреливался, и не видел, что у умирающего князя руки связаны за спиной.

В гаснущем своем сознании Айдарук почувствовал, что руки свободны, и обрадовался. Но теперь он не помнил, что надо их выпрямить. Чувствуя рядом дыхание другого человека, живого и здорового, он успокоился совсем — умирал среди людей.

### ХIII. ЦВЕТ КРОВИ, СОЛНЦА И ЗНАМЕНИ

На исходе кровавой недели, в день жума, тот же босоножий глашатай, теперь он подросток, стал старше на два года, опять созывал всех на майдан. Все те же стояли дымоходы, и сквозь те же щели в чинаровых дверях проникал в дома его крик. Опять сначала выбегали мальчишки; все эти дни они сидели взаперти в холодных темных саклях, изныли от скуки и, вырвавшись на волю, вместе с пыльной поземкой неслись туда, куда глашатай созывал взрослых. Мало мужчин выходило из домов, и то больше старики; в эти дни мужчины то отпевали, то хоронили — всего хватало, так что на площадь шли прямо с похорон. Но зато выходили женщины. Высокие, суровые, в темных платьях и платках они спускались по крутым узким переулкам. Вблизи площади они сливались в одно темное гудящее облако, точно пчелы в единый рой; никто не оста-

навливал их, никто не гнал обратно, как раньше, но раньше они и сами не решились бы идти туда, где собираются мужчины. Раньше — это было раньше, тогда в долине Юрду женщины занимались женскими делами, им не запрещали только танцевать и плакать — того, считалось, достаточно, чтобы не оглохнуть в тени вольных мужчин; мужчины, высоко ценя уступчивость своих жен и старательно затыкая им рты, не хотели, чтобы женщина к тому же была и глухая, это уже лишнее, от этого могли быть и неудобства. Оттого-то они были такими чуткими — женские уши в долине Юрду; в последние годы они слышали не только выстрелы, до них доходили разные толки о свободе, называемой Советской властью; и они уловили, что она, эта власть, обещает поставить их наравне с мужчинами. Как и все женщины мира, они не знали, хорошо это будет для них или плохо, что этим обретут и что потеряют, — но было заманчиво, ласкало их самолюбие, сулило нечто новое — а перед этим ни одна женщина не устоит. И потекли они по узким переулкам к площади, весело созывая друг друга. Мужчины, глядя на них, кричали и удрученно отворачивали лица.

Народ заполнял майдан. Теперь тоже кучились по родам и сословиям, но сами кучки поменялись местами на площади, самые бедные норовили вперед, и чем ближе к крыльцу они стояли, тем выше сдвигали со лба свои мохнатые шапки, крепче держались за свои пастушьи ножи. Уздени в молчаливом ожидании стояли позади карахалка, они не переговаривались, как прежде, уже не так, казалось, блестя кинжалы на поясах, а висели уныло, как и растрепанные усы на помятых лицах.

Здесь, на этой площади, был заложен когда-то первый камень мечети и установлен керагач, на котором был сожжен Эльбуздук, непокорный язычник, отказавшийся сменить своих богов на аллаха. Отсюда, с минарета мечети, пять раз в день звучал голос муэдзина, напоминая правоверным об их долге перед аллахом. Здесь тѐре решал важные для Жамауата вопросы, судил, приговаривал или оправдывал. Здесь был сожжен Жашу, вздумавший познать иные науки, нежели коран. Здесь был забит насмерть Каншау. Его, привязанного к дереву, истязал Карча и каждый удар наносил именем аллаха. До появления мечети здесь молились камню, потом обращенные в мусульманство язычники, чтобы показать свою преданность аллаху, проходя в мечеть, плевали на этот камень. Видно, в

глухой неподвижности жизни в долине Юрду рождались такие плевки, что и камень раскалывали. И этот камень с годами расколосся надвое.

Теперь на расколоте плевками камне сидели старики: Коналий, которого лишь четыре дня назад чуть живого вытащили из подвала управы — уцелел он только из-за спешки белых. Слева от него сидел Жанмирза, справа — младший брат Дебош, дальше тоже сидели достойные из аланов: Омар, Гейтмырза, Ачау, бедняк из бедняков Эсау, вечный нахлебник Шамуюк.

На крыльце управы появился Адей-эфенди. Сохты внесли два стола и поставили под орешинной.

Бекболат, до сих пор ни разу не исполнявший своих председательских обязанностей, для начала командовал сохтами. Усы его пламенели, был он в лучшей своей черкеске, на голове возвышалась каракулевая шапка, ее он когда-то в Кумыхе получил в награду, когда в состязании победил всех тамошних певцов. Он дорожил ею и редко надевал, она была очень дорогой и сразу придавала не очень-то видному Бекболату княжескую степенность. Под стать ей была и палка. По поводу этой палки Бекболат иной раз «валил скалу» — так говорили в Жамауате, когда человек совсем уж завирался. Палка была самшитовая, дорогой кубачинской работы, с серебряными узорами по бокам и набалдашнике. На баксанском базаре Бекболат отдал за нее бычка-двухлетку. Но потом, когда его в Кумыхе наградили шапкой, он решил и палку свою возвести в сан дара. Дескать, ее тоже ему дали за его прекрасное пение. Но хвост вруна короток и в Жамауате. Были люди, которые видели торг и даже того бычка хорошо помнили. Но как бы там ни было, только Бекболат имел в Жамауате такую палку, и теперь на майдане он этой палкой указывал, кому что делать.

Мальчишки же собрались у околицы и, кто с дерева, кто с горки, высматривали дорогу. Наконец появилась конница. Те, которые четыре дня назад взяли Жамауат и среди которых оказался Кочар, были передовыми частями. Теперь в Жамауат входил сам отряд.

Впереди на буланом жеребце ехал Баттал, за ним, высоко держа красное знамя, — Жансох, следом Алихан, Тапырай, Мусса... Мальчишки узнавали многих, с криками бежали к ним и брались за их стремяна. Одни из всадников узнавали мальчиков, другие нет, но каждый поднимал их и сажал на гриву коня. У последнего проулка вои-

ны спешили и, ведя коня за повод в паре с кем-нибудь из мальчишек, пошли к площади. Там они стали в ряд, каждый впереди своего коня. Таков обычай в долине Юрду: покуда воин, вернувшийся из похода, не будет принят старейшинами аула, он не должен выпускать повод коня.

Старики встали. Адей поднес Батталу — командиру отряда — чашу с бузой. Баттал принял чашу, молча, по-нартски, отпил глоток и передал дальше. Когда чаша была выпита до дна, Адей сказал:

— Возвращение ваше да будет радостным!

Кто с громкими приветственными криками, кто с тихим плачем, кто молча — народ хлынул к ним. Рамазан, взяв Жансоха за руку, подвел его к отцу.

— Не надо, что подумают люди, — забеспокоился Коналий, когда сын крепко обнял его. Но и сам прижимал его к груди. Старик прятал глаза от сыновей, не хотел, чтобы они увидели его слезы. — Иди, ступай поздоровайся с людьми... Иди, а то подумают...

— Прости, отец... — с трудом выговорил Жансох. — Дом наш сожгли, тебя на аркане волокли... Я... я не сумел похоронить брата...

— Иди поздоровайся с людьми, — тихо повторил Коналий. Он прятал руки, чтобы Жансох не увидел следов от веревок, которые только-только начали заживать. Наконец справился с волнением, сказал твердо: — Я доволен вами. Доволен.

— Ничего, ничего, можно и обняться после такой разлуки, — к ним, смеясь, подошел Бекболат, обнял Жансоха, постучал кубачинской палкой по его ноге. — Ничего, зажило. — Жансох молчал. Заметив его волнение, Бекболат сказал: — Ладно, ладно, легко еще твой отец отделался! — Он помолчал, подумал. — Однако не так прост он, как кажется. Пытали старика, не пожалели, чтоб чума их скосила! А согнуть не смогли. Ишь чего захотели, чтобы перед всем народом отрекся от своих сыновей! Не на такого напали! Живи, Коналий, ты достоин жить!

Адей, стоявший за красным столом, призвал народ к порядку. Когда на площади установилась тишина, он сказал:

— Наши джигиты, наши красные всадники, которых мы год назад провожали на войну, вернулись с победой... Если победу одержал народ, значит, это хорошая победа. Теперь вот сын Коналия держит в руках красное знамя... Жамаат, теперь всем будет хорошо, и у меня в медресе

отныне будет хорошо, потому что сохты мси больше не будут батрачить,— сказал он с воодушевлением, хотя и не знал, как они будут жить, если не будут батрачить.— Пусть аллах продлит жизнь джигитов, приносящих нам свободу!

— Пусть аллах продлит жизнь всех бедняков,— добавил кто-то.

— Жамаат, пусть же и Баттал скажет нам свое слово,— сказал Адей.

Баттал вышел вперед, встал рядом с ним. Народ затих в ожидании. Но Баттал вдруг растерялся и обратился не к майдану, а к Адею — точно в недоумении, зачем тот вызвал его сюда:

— Вот так, Адей-эфенди, кончилась война...

— Говори, Баттал, говори...

Баттал помолчал и, кажется совладав с волнением, повернулся к народу.

— В Жамауате сегодня торжественный день,— начал он.— Мы собрались здесь, на древней площади, чтоб водрузить над Жамауатом знамя свободы! — Окончательно справившись с волнением, горячо заговорил: — И мы являемся народом! Как и у многих народов мира, у нас есть имя и у нас есть своя земля. Хоть числом нас и немного, но земля наша богата. Мы еще не знаем, что она таит в своих недрах. Пусть не на золоте стоим, не на серебре, но нам достаточно и травы ее! Слышите, травы ее! Не за серебром и золотом шли сюда враги. Их было много, охотников отнять наши пастбища и леса! За молоконосные травы сжигали и вешали нас, но так и не покорили никогда. Теперь же к нам пришла своя власть — да, да, отныне и мы государство, как большие народы! А это и есть свобода!

Он махнул рукой, и Жансох со знаменем в руках выступил вперед, Большое красное полотнище, колыхавшееся большими складками, горело, как огонь в руках нарта Сосрука.

Жансох оглядел здание управы. Слева от дверей темнело единственное окно с выбитыми стеклами. Справа на подпорке веранды белел лошадиный череп — хранил благополучие дома и стерег от бед. Дом, видно, когда-то принадлежал роду, который поклонялся лошади. Интересно, подумал Жансох, чему поклонялись Жандаровы? Они с Каншау так ни разу и не спросили у деда.

— На череп смотришь, джигит? — спросил его Бекболат.— В древности поклонялись и лошади. По мне, хоро-

шие были времена — каждый выбирал бога, какого хотел.

— Как сказать... — пожал плечами Жансох. — Человек, если он свободен, не станет поклоняться... — Он еще хотел сказать «даже лошади», но, вспомнив про своего Вороного, замолчал; Вороному он поклонялся. — Но череп здесь на месте. Убери череп, и дом станет другим, будто ослепнет.

Баттал прикидывал, как же это будет — лошадиный череп под красным знаменем.

Заметив, что большевики смотрят на последнего свидетеля языческих времен в долине Юрду, Адей усмехнулся:

— Что, Баттал, не годится рядом — череп и знамя?

— Отчего же, — усмехнулся и Баттал. — Если он не мешал мусульманам, большевикам помешать не может.

Но тут вперед выступил Кочар.

— Пустые разговоры о пустом черепе, — сказал он и, прицелившись, выстрелил с руки. Иссушенный ветром, солнцем и временем череп рассыпался в прах, а дом сразу оголился, опустел, словно гнездо, из которого вспугнули птицу. — Повесил кто-то сдуру. А тут серьезные люди такие речи ведут.

Никто не ответил красноармейцу Кочару.

Алихан подтолкнул Жансоха, и он вспомнил, что стоит со знаменем. Сохты, притащив длинную лестницу, поставили ее у боковой стены. Жансох со знаменем в руке поднялся на крышу. И вдруг застыл на месте. Он увидел отсюда пепелище родного дома. Сразу над пожарищем поднимался зеленый склон и упирался в скалы. Жансох напряг зрение, стараясь увидеть тропинки своего детства. Теперь он не слышал шума на площади. Он был весь там, где играл мальчиком, где они устраивали «скачки каменных коней» — пускали вниз по склону камни, а однажды он скатился вон с того откоса под скалой, расшиб голову и разодрал колени, и, когда явился домой, мать вскрикнула от ужаса, но без ругани, без причитаний промыла и перевязала раны. Жансоху и сейчас хотелось прийти к матери, как в тот день, плача, с разбитой, расшибленной головой, чтобы она промыла и перевязала его раны. Он не слышал шума, не видел ликующего народа, а бежал за тем мальчиком, снова скатывался с крутого склона, плакал и смеялся...

В поздние сумерки он пришел к дому Дебоша, где теперь жил Коналий с семьей, и теперь стоял на пороге, не решаясь войти туда, где его ждала мать. Сколько горя он принес ей! Конечно, если бы тогда мать воспротивилась,

он не преступил бы ее волю. Что свобода? Она готова была бы в темном зиндане сидеть, лишь бы чего не случилось с сыновьями. Но когда женщины оплакивали Каншау, она сидела среди них так, словно и не ее сын был замучен извергами — слезы горели в груди, и не было в мире воды, чтобы погасить огонь, что жег ее нутро, но обычаем был выше всего: сын погиб не в позоре, так пусть и о ней не скажут, что слаба. Ее сына оплакивал весь род. Но и все слезы мира не смогли бы утешить ее, хоть на миг снять боль с души. И если бы тогда Кундуз не удерживала слез, не глушила бы свою боль в себе, а выплакала их, слезами смыла боль из сердца — может, и не слегла бы потом на долгие месяцы. Но она была горянкой и горских обычаев преступить не могла.

На войне Жансох часто вспоминал один случай. Однажды мать сшила им — ему и Каншау — рубашки из белого полотна, украшенные по краям ворота и кармашков черной тесьмой. Мать согрела воду, искупала их и, одев в новые рубашки, отпустила играть. Куда только не заносило их в тот день, где только не лазили, и когда вечером, утомленные, они вернулись домой, нельзя было понять, какого цвета были их рубашки прежде, и даже черная тесьма уже не была черной. Но мать ничего не сказала, вздохнула только и сказала: «Ну, наигрались?» Другие матери за малейшую провинность, за пятно на новой одежде ругали детей и отбирали обнову. А они, когда утром встали, то увидели, что рубашки их выстираны и снова ждут их. Никогда Кундуз не заставляла раскаиваться за прожитый день, не омрачала их маленьких детских праздников.

Уходя на войну, он не спросил разрешения у матери. Вдруг бы она сказала: останься — или отрекись от моего молока! И он ушел без ее благословения. Когда он, раненый, лежал в доме Бекболата, сильнее мучили его слезы матери. Он мечтал вернуться домой, начать новую жизнь, он не понимал еще, какой она будет, эта новая жизнь, но, думая о ней, всегда видел, как, нагрузив ишачков березовыми дровами, он приходит из леса и, обнимая мать, обдает ее лесными запахами.

Но теперь от него пахло войной. Враг не жалел его, и он не жалел врага.

Он вошел и встал в двух шагах от лежащей в постели матери. Кундуз привстала на локте и провела рукой по глазам. Жансох шагнул вперед и опустил перед матерью на корточки.

— Вернулся ли живым, дитя? — она опустила голову на подушку и большими запавшими глазами смотрела на него.

Сгорели, растаяли все слова, которые он в долгом пути готовился сказать матери, словно этот вопрошающий взгляд превратил его в полый сухой стебелек. Странное обессиливающее чувство отдаляло его от матери, будто он не он, будто вернулся не тот, что ушел когда-то от матери, а другой — надел его одежду, отрастил его усы, назвал его именем и вернулся. И ей казалось, что на корточках возле кровати сидит не ее сын — добрый, чистый, ничем себя не запятнавший, знающий только дорогу в кош и в лес за дровами, любящий мать, отца, братьев, в руки не бравший ружья... Оттого-то он и опустил лицо, хотя бушевала в нем тоска по матери, желание обнять ее, поцеловать ее глаза, руки, прильнуть к седым ее волосам.

Кундуз смотрела в потолок, словно пытаясь удержать надежду на то, что этот пришелец, может, все же и настоящий ее сын.

— Ай, сынок, так ли я тебя растила? — услышал Жансох. — Так ли я воспитывала вас, чтобы вам хотелось стрелять?

— Я воевал за свободу, — глухо сказал Жансох. — Я был рядом с такими же бедными людьми, чтобы принести свободу нашим горам...

— Что бы ты ни принес людям, теперь ты не чист, как молоко мое. Вскормив тебя чистым молоком, я оберегала и кровь твою в чистоте...

— Не за власть, не за богатство я сражался, как сражался пророк, а за свободу, за достоинство. За кровь брата моего. Мать, мог ли я забыть, как замучили Каншау?

— Пусть ты прав, пусть и воевал за справедливость, но теперь ты не можешь резать курман<sup>1</sup>.

— Но жить так, как жили мы... Вечно так жить невозможно, мама.

— Отца твоего на аркане волокли по аулу. Какой свободой ты возместишь это унижение?

Мать и сын глядели друг на друга, и оба страдали. Первым сдалось материнское сердце:

— Ты мужчина, ты и прав, наверное...

---

<sup>1</sup> Курман — жертвенное животное на курманлыке, резать его может лишь человек, не бывавший на войне, не проливший чужой крови.

Слезы разом хлынули из глаз Жансоха, но теперь он не стыдился их. Он плакал на груди у матери, а мать горячими руками гладила жесткие выгоревшие волосы сына...

Сидя у очага, Коналнй вырезал деревянную ложку, он начал вырезать ее давно, еще до гибели сына. Рядом сидел Рамазан и из корневища ольхи вытесывал заготовку для чаши, видно, не впервой, руки его приладились к работе. Возле кровати Кундуз спал в колыбели четырехдневный сын Қаншау. Его называли Муратом. В тусклом свете керосиновой лампы и очажного жара лица сидящих казались суровыми и углубленными, а тень от колыбели занимала всю стену.

Из комнаты вышла Нальбике. Жансох встал ей навстречу, по-братски обнял ее.

— Пока я буду жив... никто не обидит тебя,— он выпустил ее из объятий, но руки с плеча не снял.— Ты аманат моего брата и сестра нам... Ты единственная сестра наша на всю жизнь...

Нальбике с опущенной головой выслушала слова Жансоха, но в ответ не сказала ничего.

Рамазан собрал стружки и бросил их на угли. Огонь, вспыхнув, осветил лица сидящих, но это был огонь чужого очага. Жансоха тянуло к родному дому, к его камням.

— Пока приготовят ужин, я пойду, с домом повидеюсь. Мы с Рамазаном пойдем...

При лунном свете покрытые копотью камни казались еще чернее, еще холодней. Капель в нише падала, со звоном расплескивая воду в чаше. Два брата, замерев, слушали этот звон, только одному хотелось молчать, а другому опять спрашивать все сначала...

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<i>I. Земля и род</i>	3
<i>II. Корни и побеги</i>	51
<i>III. Глухой овраг</i>	92
<i>IV. Свадьба</i>	111
<i>V. Иные времена</i>	137
<i>VI. Распутье</i>	159
<i>VII. Рана излечимая и рана неизлечимая</i>	189
<i>VIII. Короткие слова песни</i>	200

<i>IX. Возвращение</i>	206
<i>X. Горькие уроки добра</i>	223
<i>XI. Муки пробуждения</i>	243
<i>XII. Плач о гибели рода</i>	252
<i>XIII. Цвет крови, солнца и знамени</i>	275

**Алим Магометович  
Теппеев**

**ВОЛЯ**

Роман

Редактор **М. Ишков**  
Художник **В. Шорц**  
Художественный редактор **О. Червецова**  
Технический редактор **В. Фёдорова**  
Корректор **Г. Панова**

ИБ № 4151

Сдано в набор 19.05.86. Подписано к печати 21.07.86.

Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая.

Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,54.

Уч.-изд. л. 16,53. Тираж 30 000 экз. Заказ 132. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник»  
Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

**Теппеев А. М.**

**Т34** Воля: Роман/Пер. с балкар. И. Каримова.— М.: Современник, 1986.— 285 с.— (Новинки «Современника»).

Алим Теппеев — автор хорошо известных книг «Яблоки до весны», «Тяжелые жернова», «Мост Горбатого Геуза». В новом романе писатель обращается к нелегким драматическим событиям революции и гражданской войны, которые межой отделили суровые прошлые годы от сегодняшней яви балкарского народа. Действие романа происходит в горном ауле, где в непримиримом, кровавом столкновении побеждают те, кто верит в светлое будущее своих земляков.

Острота сюжета, колоритные описания нравов и обычаев, оригинальные, запоминающиеся характеры отличают прозу Алима Теппеева.

**Т** 470210000—295  
М106(03)—86 253—86

**БК84Кав7**